

А. ФИДЛЕР



НОВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ:
Г В И Н Е Я



АКАДЕМИЯ НАУК СССР



А. ФИДЛЕР

НОВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ:
Г В И Н Е Я

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



Москва 1968

Arkady Fiedler

NOVA PRZYGODA: GWINEA

Warszawa 1962

Перевод с польского
Л. С. МАЛАХОВСКОЙ

Ответственный редактор
А. М. АНХОВ

Фидлер А.

Ф50 Новое приключение: Гвинея. Пер. с польск.,
Главная редакция восточной литературы, издательство «Наука», М., 1968.

263 стр.

Польский писатель-путешественник Аркадий Фидлер уже известен советскому читателю. Его книги «Маленький бизон», «Тайна Рио де Оро», «Канада, пахнущая смолой» получили широкое признание в нашей стране. Книга о Гвинее — новая работа автора, результат последней его поездки в Африку. От селения к селению, от города к городу, от приключения к приключению ведет за собой читателя талантливый польский писатель. О чем бы ни рассказывал Фидлер — об экзотических животных и растениях, об обычаях и культуре различных племен Гвинеи, о традиционных танцах и музыке, — все это дано в занимательной, приключенческой форме и написано живым языком.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Советских читателей, интересующихся Африкой, можно поздравить с выходом в свет одной из самых интересных работ популярного у нас жанра путевых впечатлений.

Автором этой работы является известный польский натуралист, путешественник и писатель Аркадий Фидлер, книги которого пользуются широкой и заслуженной популярностью не только на его родине, но и далеко за ее пределами. Несколько книг А. Фидлера уже издавались в переводе на русский язык и получили высокую оценку у советского читателя*.

«Новое приключение: Гвинея» — это увлекательный и вместе с тем глубоко содержательный рассказ о поездке автора в Гвинейскую Республику. С первых же страниц книги читателя захватывает и покоряет живая, динамичная и вместе с тем удивительно человеческая манера изложения, в которой без труда угадывается настоящее мастерство автора. Достоинством книги является точное следование объективным фактам, стремление отразить жизнь африканского общества такой, какова она есть, со всеми выигрышными и невыигрышными моментами. Читая книгу Фидлера, ощущаешь преданность ученого-исследователя его материалу и вместе с тем удивительную наблюдательность автора, который почти с фотографической точностью и огромной любовью этнографа и естествоиспытателя к своей «натуре» фиксирует малейшие детали социальных и природных условий одной из африканских стран. Может быть, именно поэтому Фидлеру удалось то, что не всегда удается другим авторам, — создать у читателя впечатление присутствия в стране.

Очень скрупулезно, остроумно, с мягкой и доброй улыбкой

* См книги А. Фидлера: *Горячее сердце Амбинанитело*, М., 1959; *Канада, пахнувшая смолой*, М., 1961; *Рыбы поют в Ука-яли*, М., 1963; *Тайна Рио де Оро*, М., 1958.

рассказывает автор о Гвинее, об успехах и трудностях этого государства, о заботах и проблемах, которые его волнуют.

Однако далеко не со всем из того, что пишет А. Фидлер, можно безоговорочно согласиться. Многие суждения автора носят поверхностно-субъективистский характер. Это неизбежное следствие того обстоятельства, что А. Фидлер часто базирует свои выводы исключительно на личных впечатлениях. Некоторые встречающиеся в книге саркастические замечания об африканцах объясняются, по-видимому, либо желанием автора придать своему изложению сатирико-юмористическую окраску, либо некоторой склонностью абсолютизировать личный опыт. Но в то же время нельзя не отметить искреннего сочувствия и любви автора к простому африканцу, которого он называет «человеком в высшей степени приятным». Фидлер с неподдельным восхищением отзывается о «врожденной африканской вежливости, отзывчивости — черте приветливого характера», «быстроте ума» и «ярко выраженном интеллекте» африканцев (стр. 26).

«Такую же стремительность ума,— пишет автор,— я встречал повсюду в глубине страны, среди различных слоев населения, в том числе и у тех простых деревенских жителей, с которыми, если они знали французский, я мог разговаривать. Их здравый ум и способность к ассоциативному мышлению явственно проявлялись в бесчисленных поговорках, которые свидетельствовали о незаурядной наблюдательности» (стр. 27). Особенно привлекло внимание Фидлера чувство коллективизма африканцев. Так, например, по его словам, «среди водителей на дорогах Африки процветало такое чувство братства, о каком на других континентах не имеют понятия... Эти борцы за новую Африку были товарищами по оружию, связанными общим фронтом, своего рода джентльменами, творящими современное понятие рыцарства. И это не только в Гвинее. Несколько месяцев спустя я нашел подтверждение этому в Гане. По сравнению с тем пренебрежением (очень хочется сказать — хамством), с которым нередко приходится встречаться на дорогах Европы, в частности Польши, обходительность африканских водителей могла показаться просто ошеломляющей. Это была вежливость абсолютная, безусловная, не знающая исключений» (стр. 97).

Автор весьма оптимистически оценивает перспективы развития Гвинейской Республики, которая, по его словам, является уже «не мотыльком-однодневкой, а настоящей бабочкой с ножками и крылышками» (стр. 28).

С большой теплотой написаны страницы книги, посвященные красоте и изяществу гвинейских женщин. В то же время царящая

в этой стране суровость нравов отнюдь не относится к числу тех черт гвинейской жизни, которые вызвали восхищение Фидлера. А сколько прелестного юмора и искрящегося остроумия в блестяще написанной сценке с рыночными торговцами, проявляющими «философскую неприязнительность терпеливых рыболовов» (стр. 53). Великолепна также сценка, описывающая французов — посетителей ресторана «Парадиз» — и их реакцию на появление в зале двух гвинеек (стр. 60). Эти и многие другие исполненные тонкого и ненавязчивого юмора и свежего остроумия главы невольно вызывают ассоциации с произведениями О. Генри, И. Ильфа и Е. Петрова и других лучших мастеров юмористического жанра.

Большой познавательный и научный интерес представляют этнографические зарисовки автора, описания быта, нравов и обычаев фульбе, малинке, кониаги и других народов Гвинеи, а также обстоятельный рассказ о социальных отношениях в современной гвинейской деревне.

С большим знанием дела и с тщательностью влюбленного в свою профессию естествоиспытателя рисует автор причудливую флору и фауну африканской «страны чудес». Описания природы, встречающиеся в книге, показывают, что А. Фидлер — художник редкого и строгого вкуса, хорошо знающий тропическую природу и умеющий наслаждаться ее экзотическим очарованием.

Весьма любопытны то и дело встречающиеся в книге Фидлера обстоятельные экскурсии в историю народов, населяющих Гвинейскую Республику, — результат добросовестных и скрупулезных исследований. А. Фидлер не ограничился описанием того, что он видел и что лежит на поверхности. Блестящий писатель и серьезный ученый, А. Фидлер, прежде чем опубликовать свою книгу, не только полагал по гвинейским джунглям и саваннам, но и провел не один час за письменным столом, изучая старинные манускрипты. Особенно интересно изобилующее малоизвестными подробностями эссе о выдающемся государственном деятеле и полководце Самори, создавшем в 1870—1875 гг. независимое африканское государство Уассулу, долгое время успешно противостоявшее натиску французских колонизаторов.

К сожалению, А. Фидлер относительно меньше внимания уделяет описанию политической организации и экономической структуры современной Гвинеи. Собственно говоря, этого мы и не вправе требовать от автора, который ставит перед собой задачу дать некоторые зарисовки, основанные главным образом на личных впечатлениях о пребывании в стране.

Поэтому для лучшего понимания путевых впечатлений А. Фидлера мы считаем целесообразным дать хотя бы самые об-

щие сведения о Республике Гвинея, с тем чтобы ввести читателя в круг вопросов, без знания которых трудно будет ориентироваться в книге.

Гвинейская Республика находится в Западной Африке, на побережье Гвинейского залива. Ее территория составляет 246 тыс. кв. км, население — более 3 млн. человек. Основные народности, населяющие страну: фульбе, малинке, сусу, кисси, герзе. Кроме того, там проживает также около 10 тыс. европейцев. Государственный язык — французский. 80% населения исповедуют ислам. Столица — Конакри. Крупнейшие города: Канкан, Киндиа, Лабе, Сигири, Кисидугу.

Гвинейская Республика появилась на карте Африки 2 октября 1958 года. До этого в течение долгих десятилетий народы Гвинеи испытывали гнет французских колонизаторов. Завоевание независимости было плодом длительной и упорной борьбы гвинейцев за свержение колониального господства. Эту борьбу возглавила Демократическая партия Гвинеи, которая возникла в 1947 г. (тогда она называлась гвинейской секцией Демократического объединения Африки). Демократическая партия Гвинеи с самого начала провозгласила своей целью уничтожение колониализма, для чего она призывала к объединению всех этнических групп и слоев населения страны.

Под нажимом освободительного движения в африканских колониях французское правительство вынуждено было пойти на уступки. Оно ввело новое законодательство, которое внесло некоторые изменения в структуру управления колониями. Была выработана новая французская конституция, упразднившая старое название французской колониальной империи — Французский союз — и введено в обиход новое название — Французское сообщество. Делая вид, будто вопрос о принадлежности к сообществу будет решаться самими народами колоний, французское правительство 28 сентября 1958 г. провело в колониях так называемый референдум по поводу новой французской конституции. В отличие от других колоний в Гвинее большинство избирателей (95%) проголосовали за выход из сообщества. Эта победа была обусловлена тем огромным авторитетом, который к этому времени завоевала Демократическая партия Гвинеи. Еще до референдума эта партия сумела добиться от Территориальной ассамблеи проведения важных реформ, результатом которых было снижение налогов с крестьян, повышение заработной платы рабочим, уничтожение института вождей, ликвидация родо-племенной верхушки, сотрудничавшей с колонизаторами.

2 октября 1958 г. Территориальная ассамблея провозгласила

Гвинею независимой республикой. Первым президентом Гвинейской Республики стал лидер Демократической партии Секу Туре.

Высшим законодательным органом страны является Национальная ассамблея, избираемая всеобщим голосованием сроком на пять лет. Исполнительная власть осуществляется правительством, которое возглавляет президент, наделенный широкими правами и избираемый на семь лет.

Правящей и единственной партией в стране является Демократическая партия Гвинеи (ДПГ), которая объединяет народ Гвинеи и играет руководящую роль во всех сферах жизни гвинейского общества.

ДПГ поддерживает дружественные контакты с КПСС. Делегации ДПГ присутствовали на XXII и XXIII съездах КПСС.

Гвинейская Республика проводит миролюбивую внешнюю политику. Она активно выступает против колониализма, за единство африканских народов и государств, за дружбу и сотрудничество со всеми странами на основе взаимного равенства и уважения.

Демократическая партия и правительство Гвинеи выбрали некапиталистический путь развития и ставят своей задачей создание общества без эксплуатации человека человеком.

Однако с самого начала правительству молодой республики пришлось столкнуться с большими трудностями, создаваемыми действиями империалистов. Французское правительство делало все для того, чтобы помешать Гвинейской Республике встать на ноги. Оно предприняло попытку организовать политическую и экономическую блокаду республики. Сразу же после референдума оно объявило о своем отказе предоставлять экономическую помощь Гвинеи, а также о своем решении отозвать в течение двух месяцев французских чиновников, работавших в стране.

Однако все эти провокации и интриги колонизаторов не принесли желаемого результата. На помощь гвинейскому народу, подвергнутому грубому нажиму со стороны империалистов, пришли социалистические и братские африканские страны. 5 октября 1958 г. независимую Гвинею признал Советский Союз. Большую помощь Гвинейской Республике оказала Гана, которая предоставила ей кредит в сумме 10 млн. ганских фунтов. В декабре 1958 г. Гвинея была принята в Организацию Объединенных Наций, что укрепило ее международное положение. Таким образом, планы империалистов изолировать Гвинею и задуть ее с помощью экономической блокады потерпели полный крах. «Гвинея не изолирована, — говорил Секу Туре, выступая 26 октября 1958 г. в Конакри, — Гвинея и не будет в изоляции, можете быть уверены в этом. В любом случае, каков бы ни был избранный ею путь, Гви-

нея больше не будет колонией; каким бы путем она ни пошла, Гвинея сохранит свою независимость и свое достоинство»*.

Гвинейское правительство в то же время провело целый ряд мероприятий, которые позволили упрочить внутривластическое положение страны. В марте 1960 г. Гвинея вышла из зоны франка. Была введена национальная валюта — гвинейский франк, создан Национальный банк, что значительно подорвало позиции французских монополий в стране. Не менее сильным ударом по французскому капиталу явилась национализация иностранных банков, страховых, транспортных и некоторых горнодобывающих компаний, энергосистемы и водопровода. Серьезной перестройке подверглось сельское хозяйство. Наиболее многочисленный класс гвинейского общества — крестьянство — был переведен на рельсы сельскохозяйственной кооперации. Уже к 1963 г. имелось около 500 производственных сельскохозяйственных кооперативов. Были предприняты шаги по созданию первых национальных промышленных предприятий. Создание и развитие государственно-кооперативного сектора составляют важнейшую черту гвинейской экономики. Другая ее существенная особенность заключается во внедрении принципа планирования. В 1960 г. народ Гвинеи смог приступить к осуществлению своего первого трехлетнего плана развития народного хозяйства. Основное место в этом плане уделялось развитию сельского хозяйства. В результате претворения в жизнь трехлетнего плана в стране было создано несколько сот сельскохозяйственных кооперативов, которые получили от государства новейшую технику, семена, удобрения и т. д.

В настоящее время Гвинея осуществляет новый семилетний план развития (1964—1971 гг.). Согласно этому плану, в стране должно быть создано 500 так называемых автономных производственных единиц — хозяйств, оснащенных современной агротехникой, собственными больницами, школами, магазинами и т. д. Семилетним планом предусматривается увеличение производства продовольственных культур, в первую очередь риса — основы питания населения, а также экспортных культур: бананов (до 100 млн. т), ананасов (до 20 тыс. т), кофе (до 43 тыс. т) и т. д. Планируется также создание плантаций хлопка, сахарного тростника, табака, чая, какао, каучука. Намечается проведение ряда мероприятий по подъему животноводства. Серьезные меры принимаются по созданию государственного сектора и государственно-

* Секу Туре, *Независимая Гвинея. Статьи и речи*, М., 1960, стр. 90.

му регулированию в области торговли. Внешняя торговля объявлена монополией государства.

Во внутренней торговле позиции частного капитала пока сравнительно сильны. Государство, не располагая достаточными средствами и кадрами специалистов, не может еще национализировать всю торговлю. Но оно принимает меры к пресечению всякого рода злоупотреблений со стороны частных торговцев. Контрабандная торговля карается тюремным заключением сроком до 20 лет, за спекуляцию валютой и незаконный вывоз ее за границу полагаются еще более суровые наказания, вплоть до смертной казни.

Семилетний план предусматривает преимущественное развитие промышленности по сравнению с другими отраслями хозяйства. Планируется создание текстильной, консервной, строительной, химической промышленности. Намечается строительство автосборочного, алюминиевого заводов и кожевенной фабрики.

Нехватка собственных средств вынуждает правительство привлекать иностранный капитал. В этих целях практикуется создание смешанных обществ с участием национального и иностранного капиталов. Одной из крупных компаний такого рода является созданная в 1964 г. смешанная гвинейско-американская компания по добыче бокситов «Боксит дю Гине».

Серьезнейшие преобразования проводятся в области просвещения и культуры. В период французского колониального господства просвещению почти не уделялось внимания. Французские власти сознательно старались держать африканские массы в темноте и невежестве. На 1 января 1960 г. в Гвинее существовали 171 государственная и 53 частные начальные школы, в которых обучались в общей сложности 33 726 детей. Школ второй ступени было всего шесть, и в них обучались только 1200 учащихся. Теперь обучение стало всеобщим и бесплатным. Правительство и Демократическая партия стремятся сделать просвещение не только общедоступным, но и освободить его от пагубного влияния католической церкви. С этой целью правительство приняло решение об унификации программ всех школ и ликвидации частных и церковноприходских школ.

Выработана письменность для отдельных народностей страны, с 1965 года преподавание в школах ведется на местных африканских языках, а не на французском, как это было при колониальном режиме.

Большую помощь в подготовке национальных кадров Гвинее оказывает Советский Союз СССР согласился содействовать Гвинее в создании Политехнического института, строительство которого уже завершено. Инженерно-строительный, механический,

геологический и сельскохозяйственный факультеты этого первого высшего учебного заведения Гвинеи готовят национальные кадры для различных отраслей народного хозяйства. С помощью советских специалистов в Конакри построена новая радиостанция «Голос революции».

В 1959—1961 гг. Гвинея заключила соглашения об экономическом и техническом сотрудничестве с СССР, Чехословакией, Венгрией, Польшей, КНР, Югославией, ГДР, Болгарией. Бескорыстная помощь, оказываемая Гвинее Советским Союзом и другими социалистическими странами, высоко оценивается гвинейскими руководителями. 7 сентября 1960 г., во время визита в Советский Союз, выступая на завтраке, устроенном в его честь в Большом кремлевском дворце, Секу Туре заявил: «Позвольте мне сказать, что та помощь, которую социалистические страны оказывают сейчас Африке, бесконечно ценна сейчас... Я хочу со всей искренностью поблагодарить за ту помощь, которая оказывается нам, за ту помощь, которая оказывается всем слаборазвитым странам. Мы хотим заверить вас, что эта помощь политически и исторически оправдывает себя. Мы можем подчеркнуть ее значение сейчас, когда молодые африканские страны вступили в новую фазу своего развития» *.

Советские люди с большой любовью и симпатией следят за мужественной борьбой гвинейского народа против остатков колониального прошлого, за укрепление политической и экономической независимости. Они проявляют все растущий интерес к жизни гвинейского народа. Этот интерес в значительной степени поможет удовлетворить книга Аркадия Фидлера «Новое приключение: Гвинея», которая, несомненно, привлечет внимание советских читателей.

А. М. Анхов

* «Правда», 8.IX.1960.

ЛОЦМАНЫ

Я внезапно проснулся в своей каюте на корме. Минуту спустя я понял причину: корабельный винт под каютой перестал вращаться. Наступила глухая тишина. Мы достигли цели. Началось новое приключение: Африка.

Я соскочил с койки и посмотрел в иллюминатор: за стеклом была непроглядная тьма. Часы показывали пять сорок пять. Африка еще пряталась от нас.

Как обычно по утрам, я старательно побрился, не спеша оделся. Грохот якорной цепи свидетельствовал о том, что наш дизель-электроход «Щецин» остановился на рейде.

В шесть небо уже не такое темное, оно синее, хотя все еще продолжает искриться множеством звезд, чем-то непохожих на наши. Они — словно лихорадочно горящие глаза, высматривающие рассвет.

Когда я перешел с кормы в центральную часть корабля и очутился на капитанском мостике, небо на востоке окрасила близкая заря, в ржавом свете которой стали меркнуть самые крупные звезды, а мелкие совсем пропали, быстро, словно танцовщицы со сцены, исчезнув с неба.

И вот во всей своей красе вспыхнуло тропическое утро. Неуловимо быстро небо начало светлеть, переливаться перламутром — из светло-зеленого в фиолетовый, из фиолетового в розовый. Но поразительна была не быстрота смены красок на небе, а та удивительная тишина, среди которой происходили эти перемены.

Мы стоим на пороге материка, сотрясаемого кон-

вильсиями пробуждения, о котором еще несколько лет назад мало кто смел мечтать. От Дакара до Басутоленда черный человек поднял голову. Он не хотел уже быть рабом — он хотел сам распоряжаться собой. И заявил об этом с такой силой, с такой зрелостью ума, что наконец разбил свои оковы.

Огромные пространства вскипели гневом многочисленных народов, и никакие силы не могли усмирить их бунта. То, что произошло на этом континенте, было одним из величайших переломов в истории человечества.

И, стоя у порога бурлящего материка, путешественник невольно по каким-то необъяснимым ассоциациям ожидает беспокойства и в природе. Ничего подобного. Этим утром не было даже тучки на небе, идеально чистом от края до края, а море лежало как зеркало; в воздухе ни малейшего движения. Вокруг пастельные тона, мягкость и тишина. А когда на горизонте перед нами возникла из мрака длинная, тонкая полоса белеющих домиков, похожих издали на игрушечные, кто бы мог подумать, что это Конакри, гордая столица свободных гвинейцев, которые нанесли удар колониализму и сейчас в тяжком труде строят жизнь в молодой республике.

Потом из-за моря вышло солнце. Из-за моря потому, что на восток от нас простирался огромный залив. И солнце было необычное: такое бледное, что совсем не резало глаза. На него даже можно было спокойно смотреть. Какой-то сонный, бесцветный кружок на небе. Тогда я понял, что это из-за толстых слоев висящей в воздухе пыли, принесенной харматтаном * из Сахары. Казалось, что даже солнце изменило самому себе, чтобы выглядеть более ласковым.

Признаюсь, в этом своеобразном контрасте между идиллическим пейзажем и бурей, сотрясавшей Африку, была какая-то чарующая порочность.

Рассвет быстро превращался в светлый день, солнце поднималось вверх, но Конакри, казалось, все еще дремал. Из порта никто к нам не явился. Напрасно вызывали мы лоцмана. И наш офицер-радист,

* Харматтан — сильный северный или северо-восточный ветер, который приносит из Сахары в Гвинею тучи пыли (*прим. пер.*).

и второй офицер, молодая женщина, одинаково обаятельная и энергичная, — очаровательный уникум всего нашего торгового флота — с момента прибытия на рейд непрерывно посылали в порт световые сигналы, но порт был глух. Солнце уже вышло из слоя пыли и начало припекать нормально, по-африкански, а из порта никто так и не высунул носа.

Я поинтересовался, какого лоцмана мы ждем.

— Это будет белый лоцман? — спросил я моряков, находившихся на капитанском мостике.

— Белый! — ответили они. — Белый... разумеется!..

Моряки знали, что профессия лоцмана трудная и ответственная, требующая многих лет работы на море. В колониях или в бывших колониях везде до сих пор служили исключительно белые лоцманы.

Наконец, почти через два часа после восхода солнца, мы заметили в бинокли какое-то движение в порту. Появилась моторка. Она направлялась в нашу сторону и действительно везла нам лоцмана и его поощника.

На корабле возникло небольшое замешательство: и тот и другой — чистокровные африканцы.

— Кое-что изменилось в этой Африке! — сказал мне с улыбкой первый офицер.

— Кажется, да!

Поздно проснулись черные лоцманы — пожалуй, как весь этот континент, — но в конце концов все же прибыли и совершенно точно, без всяких осложнений стали вводить корабль в порт.

Вскоре один из них вышел на мостик, где я стоял. Мы приветствовали друг друга рукопожатием, причем я сказал, как обычно:

— *Bonjour* *

— *Merci* **, — ответил он, к моему удивлению.

Французским языком он владел прекрасно.

Когда минутой позже его товарищ точно так же поблагодарил меня за «*bonjour*», мне стало немного неприятно: показалось, что это своего рода раболепство, оставшееся от колониальных времен. И только значительно позже, на континенте, узнав обычаи афри-

* Добрый день (франц.).

** Благодарю (франц.).

канцев, я убедился, что сами гвинейцы точно так же благодарят друг друга и это ни в коей мере не было проявлением раболепства. Напротив, вполне естественно выражать свою благодарность тому, кто желает доброго дня. Это имело свой смысл. В этом была своя логика.

НИСПРОВЕРЖЕНИЕ

Кто же не помнит многочисленных портретов этих суровых людей XIX в., пионеров тропических стран, этих бесстрашных первооткрывателей, охотников, естествоведов, миссионеров — заслуженных, властных, мужественных, великолепных героев в пробковых шлемах? Эти гумбольдты, ливингстоны, стэнли, мунго парки, эмин-паши, а также и польские водзицкие или рогозинские никогда не смотрели на нас с гравюр или дагерротипов иначе, как бросая свой надменный взор из-под тропического шлема. Известно, что их жизни угрожали не только девственные пуши и хищные звери, не только людоеды и тысячи неизвестных болезней, но больше всех опасностей им угрожал сильнейший враг — убийственный жар солнца. В Африке, как уверяли опытные путешественники, белому человеку было достаточно встать в полдень на солнцепеке с открытой головой, чтобы неизбежно погибнуть в течение часа.

Итак, шлем был непременно реквизитом тропиков, без шлема нельзя было себе представить жизни, шлем покрывал головы всех без исключения путешественников по Африке — шлем, вдохновение нашей молодости и молодости наших отцов, символ истинного мужества и фантастических приключений. (О дети мои! Разве не внушительно выглядел я на фотографии из Мадагаскара, когда хмуро и гордо смотрел из-под шлема в неизведанную даль?)

Признанные авторитеты не жалели типографской краски, чтобы в бесчисленных научных трактатах доказать убийственную силу тропического солнца, приписывая ее ультрафиолетовым или другим, неизвестным

и еще более вредоносным лучам. В подтверждение они приводили множество примеров гибели от солнечного удара из своей повседневной практики. Когда в 1926 году британская принцесса Мария-Людвига написала неплохую книгу о своем путешествии по тогдашнему Золотому Берегу, она тоже не могла отказать себе в удовольствии — правда, сдержанно, одним намеком — подчеркнуть свое мужество, утверждая, что «солнечные лучи имеют свойство убивать» и поэтому в Африке непременно надо носить шлем.

Бразилия после получения в XIX в. независимости объявила войну тропическому шлему, считая его символом колониального правления. Она могла отказаться от шлема без ущерба, потому что сразу же заменила его соломенным сомбреро, надежно защитившим головы ее жителей от солнца. А солнце как до тех пор, так и сейчас оставалось здесь средством уничтожения.

Однако еще более грозным оно казалось в Африке, на материке пышущих жаром саванн и ослепительного света. Шлем, надежный пробковый шлем, считался здесь единственным спасением для человека. Еще в августе 1959 года это подтвердил обаятельный докладчик, бывший путешественник по Африке, когда в Клубе международной прессы и книги в Сопоте он изобразил перед застывшей аудиторией поразительную картину страшной силы солнца и назвал единственное, буквально единственное средство защиты от него — пробковый шлем. Вздох облегчения и благодарности к жизнеспасительному головному убору вырвался тогда у взволнованных слушателей.

В этот полдень, по мере того как наш пароход «Щецин» подходил к порту Конакри, жестокий зной все усиливался. На море было еще сносно, но в порт мы входили, как в ад. Я начал беспокоиться не на шутку, чем защитить свою бедную головушку, которая как ни говори, а столько лет неплохо мне служила. Шлема у меня не было, может, взять берет? Смешно! Это ведь все равно что сунуть голову в печку. Может, надеть белую полотняную фуражку с красной полоской, которая была у меня с собой? А вдруг африканское солнце прожжет ее насквозь? Однако, как говорится, на безрыбье и рак рыба, поэтому я (была не

была!) нацепил на голову белую фуражку и стал героически ждачь, что принесут мне следующие четверть часа.

Корабль медленно подходил к берегу. Там крутилось множество людей, преимущественно африканцев, портовых рабочих в шортах и легких блузах. Наш корабль ожидало также несколько европейцев. Из-за жары они, разумеется, были легко одеты и, расстегнув вороты рубашек, спокойно и терпеливо стояли на берегу под палящим солнцем.

Вдруг — что же это, черт возьми! — я вытаращил глаза от удивления. Сумасшедшие? Самоубийцы? Ни у одного из европейцев не было на голове шлема, более того, у них вообще ничего на голове не было. Обнаженные европейские черепа они беспечно выставили на жаркое африканское солнце. А оно стояло почти в зените.

На минуту мне пришла в голову забавная мысль: может быть, африканцы, придя к власти, подвергли здесь белых особому наказанию. Шутка шуткой, но картина, которую я видел перед собой, представилась мне совершенно ужасающей, а эти белые — безумцами. Между тем они вели себя вполне нормально, непринужденно разговаривали между собой, не проявляли никаких признаков сумасшествия и мозг у них, по всей видимости, не плавился. Они просто не боялись солнца. Может быть, солнце не действовало на них или лучи его не обладали пресловутой убийственной силой?

Они и правда не убивали.

Тропических шлемов уже не носили в Африке. Почти все европейцы ходили здесь под палящим солнцем с обнаженной головой, и, о чудо, никто не погибал от солнечного удара. Так уже в течение нескольких лет белые живут в Гвинее, в Гане и даже в Габоне, на самом экваторе, куда несколькими месяцами позже забросила меня судьба.

Шлем исчез из Африки, как призрак прошлого. Оказалось, что раньше не солнце убивало европейцев, а их ошибочное убеждение, губительный страх перед карающим светилом.

Я, пожалуй, впал бы в горькие размышления над природой человеческих страхов, но пришлось заду-

маться над другой проблемой, более близкой, родной: пришло время великолепному мадагаскарскому снимку отправиться в чулан, чтобы здесь, во мраке, скромненько почить в самом конце строя усатых мужей в замшелых головных уборах минувшей эпохи.

КОНАКРИ

Если смотреть на город с моря, он выглядит как дремучий лес, в котором лишь кое-где проглядывают белые пятна домов — столько там зелени и, такое за-силье могучих деревьев.

Даже самые ярые сторонники британской системы управления должны признать одно: города они строили в колониях безобразные. Достаточно сказать, что это были миниатюрные копии Лондона или лондонского Сити, запутанные, бесплановые, тесные, неудобные. Напротив, как ни поноси французских колониалистов, надо признать, что они строили прекрасные города, своего рода маленькие Парижи. Прекрасен Ханой, прелестен Сайгон, Абиджан или Дакар, и так же очарователен Конакри.

Город не так уж молод. Он возник в конце XIX века, но наибольшего расцвета достиг лишь недавно, после второй мировой войны. Расположенный на самом краю полуострова Тумбо, напоминающего чуть утолщенный конец цветочного стебля, он со всех сторон окружен морем и овеваем освежающим ветром. Диву даешься при виде его карты: это шахматная доска из пересекающихся под прямым углом улиц; одни, авеню, ведут с запада на восток, другие, бульвары, — с севера на юг. Центральная авеню как бы позвоночный столб: самая широкая, главная, она рассекает город на две половины и заканчивается на западе дворцом губернатора. Ничто в этом городе не было случайным, непродуманным — урбанистика, достойная лучших архитекторов. Ну, и, конечно, деревья. Божественные, благословенные деревья манго, тысячи тенистых манго! Все без исключения бульвары — в Конакри они протянулись более чем на пятнадцать километров — обсажены с каждой стороны улицы тесным

рядом деревьев манго, а так как эти деревья имеют листву очень обильную и густую, под ними постоянно царят приятная тень и прохлада. Когда я в первый раз отправился знойным полднем в город, моя прогулка по авеню и бульварам превратилась в забавную игру в «горячо — холодно», в «неприятное и приятное»: авеню в противоположность бульварам, откуда веяло приятной прохладой, были совсем голые и изнывали от зноя.

Но манго на бульварах — это еще не все. Вокруг всего города, по берегу моря шла автострада, вдоль которой фантастически разрослись кокосовые пальмы, истинные «мисс тропической красоты», а рядом с ними — другие знаменитости, деревья франгипани, флабиобянты и эвкалипты. Это они казались с моря густой пущей. Мало того, на некоторых перекрестках и крошечных площадях, которые урбанисты сочли за наиболее достойные, была посажена какая-то разновидность баобабов. Теперь эти чудовища разрослись и превратились в деревья-мамонты с причудливыми очертаниями. Они были величественные и узловатые, а из всех стволов росли, как огромные сухожилия, толстые подпорки, которые переходили в корни. Эти колоссы могли соперничать с известным баобабом в Маджунге на Мадагаскаре.

Вся западная часть города вокруг дворца губернатора была застроена сохраняющими прохладу зданиями, в которых помещались центральные учреждения Гвинеи. Там же утопали в зеленых рощах современные бунгало из стекла и пластика, занятые до недавнего времени элитой колониальной администрации. На границе этого района, как бы завершая всю композицию, возник несколько лет назад роскошный «Отель де Франс», краса французской Африки, с восхитительным видом на море и недалекие острова Лос.

Бродя в приподнятом настроении в этот первый день по городу, удивляясь то тому, то другому, я был вынужден, однако, откровенно осудить одну вещь — тротуары. Все проезжие части авеню, бульваров и площадей были заасфальтированы, прекрасно, даже комфортабельно отделаны, в то время как почти все тротуары оставались в совершенном запустении. Видно, именно здесь иссяк размах французских урба-

нистов, вдохновение отказало им. Прохожий на тротуаре то увязал в сырой матери-земле, то утопал ногами в песке по самую щиколотку, то спотыкался в выбоинах и ямах. Хорошо по крайней мере, что для него оставили хоть узкую полосочку для ходьбы. На первый взгляд — пустяк, а как наглядно отражает суть системы. Французы имели машины, местные жители — только собственные ноги. Французам не нужны были тротуары, так зачем же с ними возиться и вкладывать в них деньги?

Самая широкая центральная авеню имела около полутора километров длины и некогда называлась авеню губернатора Баллея. Если посмотреть вдоль улицы на запад, в конце ее виден белый, благородный в своей простоте дворец губернатора, а раньше, то есть до 1958 года, перед дворцом стоял памятник упомянутому Баллею. Баллей был первым губернатором Гвинеи. В конце XIX века, в период его многолетнего правления, французы полностью завершили с помощью оружия покорение колонии, то есть в течение долгих лет топили в крови всякое сопротивление населения. Как гласила надпись на цоколе, памятник поставили поклонники и друзья губернатора, чтобы увековечить память о его заслугах и героическом периоде истории Гвинеи. Ни этот «героизм», ни реки крови не отображены в скульптуре, зато Баллей представлен как почтенный папаша. Добряк одной рукой держит трехцветное знамя, другой — с отцовской нежностью обнимает маленького голого негритенка, а негритенок обращает к белому господину сладостный взор, полный благодарности и уважения.

В референдуме 28 сентября 1958 года гвинейцы высказались против союза с Францией и тем самым получили полную независимость, но памятник тогда не снесли. Лишь в последующие недели, когда провокации уходящей французской администрации заделали население за живое, жители Конакри сорвали свой гнев на Баллее. Они просто свалили памятник с пьедестала, но не уничтожили его совсем, не разбили. Он лежал много дней на земле, лишенный власти губернатор, и, поверженный, все еще цепко обнимал негритенка, словно и теперь не хотел выпустить его из-под своей власти. Он лежал у ступеней дворца, который

заняло теперь правительство Гвинеи во главе с Секу Туре.

Несколько позже памятник убрали с площади. Его отвезли в этнографический музей на берегу моря. Музей был небольшой, и губернатора поместили во дворе позади здания, даже поставили как полагается, только уже прямо на землю, без пьедестала. И вот теперь он стоит в сторонке, со знаменем, печально склоненным в сторону моря, и все еще с негритенком, кротко взирающим на него. И, так как в действительности негритенок давно превратился в крепкого парня и перестал смотреть с кротостью, посетители музея улыбаются, глядя на этот замшелый пафос, особенно бессмысленный теперь.

В музее — повторяю, небольшом, так как важнейшие экспонаты сразу отправлялись в Париж, — собрано около сотни масок и образцов резьбы по дереву, представляющих разных божков и демонов гвинейских племен. Среди них особенно устрашающей казалась маска дьявола с европейскими усами. Это были изображения сил некогда всемогущих, но сейчас пришедших в упадок. К этим свидетельствам старых суеверий и присоединили памятник из латуни.

Многие французы, еще оставшиеся в Гвинее, буквально скрипят из-за этого зубами. Они предпочли бы, чтобы памятник Баллея разбили на куски с варварской яростью. Им было больно видеть, что бывший губернатор, как ненужная рухлядь, нашел себе спокойное место рядом с лесными дьяволами и демонами африканского прошлого.

«ОТЕЛЬ ДЕ ФРАНС»

По приезде в Конакри надо было срочно, в поте лица закончить в порту формальности с багажом, так как дизель-электроход «Щецин» уходил в тот же день. В городе все мне было чужое, и в первый день я полностью поручил себя заботам моего милейшего земляка, который уже долгое время жил здесь. Наш торговый представитель Юзеф Скверчинский с трудом

выхлопотал для меня номер в «Отель де Франс» и привез меня туда к вечеру.

Как только я вошел в холл гостиницы, мне показалось, что из африканской нищеты я чудесным образом перешагнул через тысячи миль в совершенно другой мир, в какой-то голливудский храм американских миллионеров,— такой здесь суперлюкс. Даже люди были другие: никаких африканцев, кроме обслуживающего персонала, одни белые, но и они совсем иные, не такие, как озабоченные французы, которые встречаются на улицах Конакри. У этих, в отеле, лица были важные, взгляд властный, движения уверенные.

Черный бой в ливрее, отлично вышколенный джентльмен, вез меня в лифте на третий этаж. Ах, этот лифт! Он плыл вверх беззвучно и мягко, как во сне, не было ни грохота, ни шума, ни шороха, как в лифтах моего любимого города на далеком севере, не было ни знакомого дребезжания и скрежета на каждом этаже, ни резких остановок. Лифт в «Отель де Франс» замедлял ход, перед тем как остановиться, а потом тихо-нечко и мягко замирал без движения.

— *Troisième étage!* * — произнес серьезно бой и открыл мне дверь.

Нет, я не мог вытерпеть и, состроив веселую рожу, спросил:

— Когда вы чинили этот лифт в последний раз?

Бой взглянул на меня, удивленный. Он не понимал, зачем я задаю такой глупый вопрос, потому что лифт никогда не ломался. Слегка шокированный, он не собирался ввязываться в неуместные разговоры и, не отвечая, вежливо указал на дверь.

— *Troisième étage!* — повторил он очень официально.

Я получил номер 312 — чудо. Пластик сверху до низу, многометровая гладь окна, вода, разумеется и горячая и холодная, душ, клозет как ангельский брелок, безукоризненная чистота, все невообразимо эстетичное, самое лучшее, самое дорогое. Как и цена за комнату. Но я подавил внезапный страх и утешился мыслью, что пробуду здесь только одну ночь и ни минуты больше.

* Третий этаж! (франц.)

Этот храм роскоши французы возвели несколько лет назад, когда еще не замечали туч, сгушавшихся над Африкой. Техническое развитие колоний, особенно в области добычи полезных ископаемых, сулило весьма радужное будущее. Они возвели отель во славу себе, для своей финансовой элиты, для парижских промышленных тузов, банкиров, директоров трестов, чтобы, проснувшись в фатальный сентябрь 1958 года, с грустью убедиться, что все это пошло прахом. Отель все еще оставался частной собственностью и успешно функционировал, хотя уже не было здесь прежней элиты.

Я раскрыл окно-гигант, достигающее потолка. Отсюда открывался вид, который мог бы ослепить даже чистейшего сноба, вид такой же чарующий, как и сам отель. Почти подо мной, разбиваясь о камни, шумел морской прибой, вдали романтические острова Лос заливало пламенем заходящее солнце. А ближе к отелю, на самом берегу моря зеленели великолепные деревья, столь необыкновенно красивые и столь сказочные, словно они вышли из диснеевской «Фантазии». Это были кокосовые пальмы, пушистое дерево манго, а около него — баобаб, бугристый и безлистный в это время года.

Зато вполне реальными были птицы. Стая воронов и два сипа.

После всей этой чуждой мне причудливой роскоши я приветствовал их с облегчением, как близких друзей. Они по крайней мере были естественны, не надувались от важности и собственного великолепия.

Вороны выглядели невыразимо потешно: жирные, как наши, и черные, как наши, с белоснежными шейками и грудью, как будто заботливая природа повязала им вокруг шеи чистую салфетку. В противоположность нашим, одиноким бродягам европейских дебрей, африканские вороны нахальные и очень компанейские, особенно на побережье: Всюду, в деревнях и городах, они держались: возможно ближе к людям, чуть не наступали им на пятки и пожирали что попало, всякую грязь и отходы с кухни. Поэтому их уважали наравне с сипами как санитарную инспекцию. Но когда я лучше узнал их разбойничьи души и дурные манеры, то убедился, что каналы гнусно издева-

лись над человеческим легковерием и уважением: когда никто не видел, цыпленочек быстро исчезал со двора.

Пять или шесть воронов беспокойно носились поблизости, как обычно перед ночным отдыхом. Они взмывали в воздух — и мгновенно спускались на деревья, потом снова взлетали, очень привередливо отыскивая место для ночлега. Стая каркала при этом совсем как у нас, только более пронзительно, так что в памяти всплывало зловещее предсказание: «И заклюют вас вороны и коршуны». Как видно, стая облюбовала себе место по соседству с отелем, так же, впрочем, как два сипа, которые кружились над нами, высматривая какую-нибудь пададь. И как же легко и просто напрашивалось сравнение этих прожорливых птиц с гиенами финансового мира, которые до недавнего времени свирепствовали в роскошном отеле.

— Вы опоздали! Конец! — рассмеялся я над птицами. — Вы вызываете устаревшие ассоциации!

Вскоре знакомые привели меня в ночной бар на шестом этаже отеля, где было особенно приятно сидеть на прохладном ветерке, постоянно дующем с моря. Как и каждую ночь, здесь было полно посетителей: преимущественно мужчин — постояльцев отеля, причем только белых. Впрочем, нет: за одним-единственным столиком в углу я увидел троих гвинейцев. Они приткнулись здесь, одинокие и оробевшие, так, словно непрошенные ввалились в чужую квартиру.

Пока мы так сидели в ультрасовременных креслах, поблескивающих металлом, я с интересом огляделся вокруг. Здесь собрался настоящий интернационал. Были, конечно, и французы, наверняка директора крупных торговых компаний, еще действующих в Гвинее. Но в общем говоре слышались преимущественно другие языки: английский, возможно, голландский, однако чаще всего — немецкий и различные славянские. Возникновение независимой республики, которая внезапно оказалась экономически оторванной от Франции, привлекло сюда с разных концов света представителей многих стран, но на этот раз противников колониализма, демократов, жаждущих помочь молодому государству.

И вот они сидели, удобно развалившись в креслах, некоторые курили сигары на манер Черчилля. Но чем дольше я на них смотрел, тем больше удивлялся. Я был готов подумать, что это фантастический сон, что я смотрю на странные сказочные фигуры, которые возникли в ту, предшествующую колониальную эпоху и как бы чудом вдруг явились сюда. Почти все они были какие-то надутые и важные, их властные взгляды и лица, полные спокойного превосходства, излучали самодовольство и самоуверенность.

Можно было лопнуть со смеху: ведь почти все они преследовали честные намерения и вовсе не собирались дойти Африку, а между тем держались странно. Очутившись в этом дворце золотого идола, они встали — по закону бессознательного подражания — в позу неоконквистадоров. Неужели, войдя в это роскошное воронье гнездо, им надо было каркать по-вороньи? Разумеется, на самом деле это было не так, но зрелище было странное.

Тогда мне пришли на ум вороны перед отелем, и я с иронией подумал, что надо бы их извинить: может, канальи не без причины каркали так хищно, глядя на спесивые лица людей?

ГВИНЕЙЦЫ

Конакри насчитывает предположительно около шестидесяти тысяч жителей. Здесь собрались выходцы со всех концов Гвинеи, представители почти всех гвинейских народностей и племен. Чаще всего встречались в столице люди из народности сусу*, населяющие прибрежный район, статные, с кожей не черной, а темно-коричневой. Фульбе** с гор Фута-Джаллон

* Сусу — третья крупная народность Гвинеи (после фульбе и малинке). Насчитывает около 250 тыс. человек. Сусу населяют прибрежные районы и составляют основную массу населения столицы Гвинеи Конакри. Основное занятие сусу — земледелие (*прим. ред.*).

** Фульбе — народность в Западной Африке. В Гвинее проживает фута-джаллонская ветвь фульбе — свыше 1 млн. человек. Основное занятие — отгонное скотоводство и земледелие (*прим. ред.*).

были темнее, имели более грубую внешность, так как пришли некогда из дальних восточных районов. Подвижные и предприимчивые мандинго*, черные, как эбеновое дерево, происходили из восточных районов Гвинеи, где река Нигер омывает присуданские саванны. Люди из-под Нзерекоре, окруженного на границе с Либерией тропической чащей, принадлежали к немногочисленным в Гвинее приверженцам анимизма и неохотно высовывали носы из своих дебрей, хотя выращивали важную для экспорта культуру — кофе — и имели деньги.

Средний житель Конакри независимо от того, какую народность он представлял, был человеком в высшей степени приятным. К кому бы я ни обращался, мне всегда отвечали быстро и очень охотно, часто предлагали даже проводить куда требовалось.

Это делалось не из подобострастия: ведь я мог быть и французом, а французов гвинейцы очень не любили. Из желания получить на чай — случалось, но очень редко. Просто это была врожденная африканская вежливость, отзывчивость — черта приветливого характера. Все гвинейцы, которых я встречал, отличались одной общей особенностью: они хотели быть счастливыми и, казалось мне, умели быть счастливыми, поэтому они легко раздражались смехом, что часто резало слух европейцев, менее, чем они, довольных жизнью.

Другой очаровательной чертой гвинейцев была быстрота ума, ярко выраженный интеллект.

Незадолго до отъезда из Польши я разговаривал с одним начитанным и образованным знакомым, который, так же как миллионы других европейцев и американцев, решительно утверждал, что африканцы мало развиты в умственном отношении и не способны к управлению современным государством. Это, несомненно, было отражение (бессознательное, поскольку речь идет о моем знакомом) того страшного морального ущерба, который нанесла одна раса другой. Белые в течение многих веков не только вели торговлю африканскими

* Мандинго — группа африканских народностей (к ним относятся малинке, бамбара и диула). В Гвинее живут главным образом малинке которых насчитывается свыше полумиллиона. Занимаются земледелием и торговлей. Говоря о мандинго, автор, вероятно, имеет в виду малинке (*прим. ред.*).

невольниками, доведя людей и весь континент до страшной, неправдоподобной нищеты, не только захватили потом Африку по кускам, но, кроме того, желая оправдать свои преступления, клеветали на целую расу так систематически и так лицемерно, что мир поверил в ее неполноценность и неспособность к самостоятельному существованию.

Я хотел бы, чтобы мой знакомый оказался со мной в Африке и встретился, как я, с разными людьми. Диоп Альсано, министр информации, человек чуть старше тридцати лет, обладал легкой и точной манерой выражения, редко встречающейся среди европейской интеллигенции. Уже на втором-третьем слове своего собеседника он подхватывал всю его мысль и тотчас отвечал с величайшей точностью и исключительным обаянием. Он был полон здорового воодушевления, и ему мог бы позавидовать не один министр наших широт.

Его правая рука Фовлер при столь же живом уме был великолепным организатором, и, где бы я ни появлялся в гвинейском бруссе *, даже совсем далеко от центра, местные власти, согласно нашей договоренности, были подробно осведомлены о моем приезде и толково помогали мне (как в Гвинее, так позже и в Гане). Третий гвинеец, с которым я часто беседовал в Конакри,— Раи Отра из Государственного института исследований и документации, стремительный, усталый, нервный. До чего же он напоминал своей нервозностью некоторых интеллектуалов Европы! Такую же стремительность ума я встречал повсюду в глубине страны, среди различных слоев населения, в том числе и у тех простых деревенских жителей, с которыми, если они знали французский, я мог разговаривать. Их здравый ум и способность к ассоциативному мышлению особенно проявлялись в бесчисленных поговорках, которые свидетельствовали о незаурядной наблюдательности.

Подавляющая часть европейцев, которые с давних пор осели в Африке, пожалуй, не разделят моего мнения. Да это и понятно: нужно немало усилий и просто упроста, чтобы сбросить с себя массу предрассудков,

* Б р у с — саванновые леса (*прим. ред.*).

накопленных в Европе за несколько веков. А многие белые, чтобы убедить меня, привели бы в пример своих боев, законченных болванов. Возможно, что на эту службу шли самые глупые, но не исключено, что и самые ленивые люди, выдающие себя за глупцов для собственного удобства. Но считать недоумками либо растяпами тех африканцев, которых я узнал, было бы абсурдом.

Уже после краткого пребывания в Гвинее я убедился, что молодое государство прочно опиралось на творческую интеллигенцию правящих кругов, сильную партию, обеспечивающую прогресс, дисциплину и единство этой этнической мозаики, а также на неистребимо живое воодушевление широчайших масс. Если к этому присоединить значительную и бескорыстную материальную помощь стран социалистического лагеря, можно смело утверждать, что эта очень молодая республика была не мотыльком-однодневкой, а настоящей бабочкой с ножками и крылышками. С чувством глубокого удовлетворения воспримет эти слова мой просвещенный и начитанный знакомый в Польше, как вынуждены были принять их с чувствами гораздо менее определенными некоторые встревоженные круги на Западе.

ГВИНЕЙКИ

Африканки в противоположность африканцам всегда были у европейцев на хорошем счету, и их репутация с незапамятных времен оставалась безупречной. Я сказал бы, что отношение здесь примерно такое же, как к полякам: иностранцы всегда отзывались о поляках весьма одобрительно, совсем не так, как о поляках. Во Французской Западной Африке африканки всегда оценивались исключительно с точки зрения чувственности, потому и нравились они французам безумно, когда были молоды, соблазнительны и «падки на грех». К этому милому предмету частенько обращались как в жизни, так и в литературе, обращались с беззаботной готовностью, облеченной в чувственную поэтичность не обязательно высшего класса.



Юная мать

Мне припомнились забавные перипетии некоего Луи Жаколлио, который в 1871 году прошел на корабле вдоль всего побережья Западной Африки и потом издал книгу о своих приключениях. Однажды он получил в подарок от одного прибрежного царька двух четырнадцатилетних невольниц. Путешественник описал прелести этих «скульптур, олицетворяющих юность», так заманчиво, что даже у англичанина потекли бы слюнки, но потом у бедняги поубавилось боевого пылу, и он не знал, что ему делать с соблазнительными невольницами. Француз, а не знал! Он хотел отослать их на берег, но это обидело бы царька и привело бы к гибели девушек. К счастью, его избавил от хлопот корабельный кок, бравый мулат, который согласился принять их в дар и знал, что с ними делать.

Через несколько дней другой царек поверг Жаколлио в те же заботы, прислав к нему на корабль еще более очаровательную деву. Ей было тринадцать лет, но это была вполне зрелая женщина, совершенно нагая в знак того, что получивший этот дар должен немедленно им воспользоваться. После захватывающего описания ее красоты наш плут снова вывернулся и опять отдал молодку коку. Однако на этот раз пришлось прибавить солидную выпивку, чтобы склонить его принять жертву. Но несколько дальше, где-то у Берега Слоновой Кости, хват, рожденный в рубашке, попал в ловушку: приглашенный вместе с капитаном корабля к богатому вождю на пир, он остался ночевать на берегу и вынужден был выбрать себе на ночь среди жен правителя лучшую женщину и при этом непременно воспользоваться ее услугами. Однако и на этот раз добродетель восторжествовала и хитрец подкупил женщину, с тем чтобы она не выдала его своему господину. Вскоре вождь заключил с Францией дружественный союз.

Книга Жаколлио имела во Франции огромный успех и пробудила у тысяч молодых французов желание двинуться к южным рекам в поисках приключений и богатств. А возбуждающая читателей «растерянность» превосходного шутника представляется сейчас, по прошествии нескольких десятилетий, сверхостроумным пропагандистским трюком.

Итак, в основном все путевые очерки об этих краях отдавали щедрую дань достоинствам африканок. Еще в 1959 году Фернанд Жигон в книге о Гвинее, по характеру скорее политической, позволил себе отступление от темы намеком на «узкие бедра и упругие груди» гвинеек, а их «королевскую осанку» — следствие ношения тяжестей на голове — прославлял каждый, кто чувствовал к этому призвание.

Действительно, юные африканки были необыкновенно стройны, высший класс на европейский вкус, но их стройность страшно быстро исчезала: после первого ребенка, как правило, задолго до двадцатого года жизни, молодая мать с гордостью носила свои обвислые груди, так как в глазах ее соотечественников именно это было высшим выражением достоинства, а значит, и красоты.

Королевская осанка — это то, что они действительно сохраняют даже в пожилом возрасте. Но я с сожалением обратил внимание на то, чего, разумеется, не было в гимнах поклонников прекрасного тела, — довольно безобразные ноги подавляющего числа африканок, вероятно несчастное следствие рахита, очень здесь распространенного.

На улицах Конакри можно было видеть также много француженок, работающих в бюро здешних предприятий. Почти все они были хороши, обаятельны, со вкусом одеты, классически стройны, хотя многие и не молоды. Они выглядели так, будто лезли вон из кожи, чтобы затмить своей грацией всех прочих женщин, — и затмевали, тем более что африканки, словно бы в противоположность француженкам, стремились двигаться неловко, широко расставляя ноги и безобразно колыхаясь на ходу.

Теперь волокитство за гвинейками ушло в прошлое. Гвинейка стала неподатлива, замкнулась перед белым. Она уже не смотрела на него, а если и взглядывала случайно, то как на неодушевленный предмет, без тени кокетства. Как и все новые государства с прогрессивными устремлениями, возникшие из бывших колоний, Гвинея вступила в период небывалой суровости нравов. Эпохальные перемены захватили африканку. Она ощутила тягу к социальным проблемам и решила вместе с мужчиной строить новую жизнь.

Если бы Луи Жаколлио воскрес, он был бы просто ошеломлен, не поверил бы своим глазам.

Рене Леклерк, человек лет тридцати, холостяк с черными усиками и буйным темпераментом, переживал, как и другие здешние французы, свой крах; правда, не так остро, как другие, так как имел шансы остаться в Гвинее еще довольно долго и на недурной должности. Несмотря на это, он костил новые порядки на чем свет стоит.

Когда однажды к вечеру мы встретились, как уже не раз, в «Авеню Бар» на главной улице и он полусерьезно снова завел привычную песню, я прервал его и, находясь в приятном расположении духа, предложил более интересное развлечение — поглазеть на гвинеек. Мы сидели на террасе, которая, как и во французских кафе, выходила на улицу. Отсюда было удобно рассматривать прохожих.

Леклерк питал слабость к гвинейкам: он любил рассказывать о своей очаровательной подружке, которая однажды завоевала его сердце, но год назад оставила его с носом, так как стала пламенной патриоткой. С тех пор он мечтал найти преемницу, но тщетно: для французов настали плохие времена и в этом отношении.

Я же, оседлав своего конька, доказывал Леклерку за рюмкой аперитива на проходящих мимо живых примерах, насколько француженки более соблазнительны, чем гвинейки. Он смешно морщился и настаивал на том, что это не так, что их нельзя сравнить с гвинейками, но в этом потешном споре я разбил его наголову: какая бы француженка ни прошла мимо — пальчики оближешь; гвинейка же — ни рыба ни мясо, просто взглянуть не на что. Я явно выигрывал спор в этот день, и только такая упрямая дубина, как Леклерк, мог стоять на своем. В нашей веселой стычке Леклерк впал в шутовскую запальчивость.

— Спорим на два аперитива, — крикнул он как бы в отчаянии, — что следующая француженка будет страшна как ведьма, а гвинейка — игрушка!

— Идиот несчастный! — рассмеялся я. — Вы уже проиграли, ставьте аперитивы!

Улица в это время дня была довольно пустынна, но вскоре мы увидели в отдалении двух женщин, белую и африканку. Они были молоды и шли вместе. Когда



Красавица гвинейка

они подошли, я не поверил своим глазам: белая была коротконогая, приземистая и вообще «так себе», гвинейка же была хорошо сложена и изящно переступала стройными ногами. Яркая одежда, напоминающая национальный костюм: длинная, зауженная книзу юбка и коротенькая кофточка с широкими фалдами на бедрах и очень узкая в талии,— прекрасно подчеркивала ее стройность. Ко всему этому у нее было премилое личико с правильными благородными чертами. Поразительна красота африканки! Леклерк знал этих женщин и сердечно приветствовал издали.

— Моя кузина,— объяснил он тихонько, когда они проходили мимо.

— А эта гвинейка?

— Мое фиаско! — скрипнул Леклерк зубами.— Уговаривал, убеждал — не вышло. Общественница, *sacré nom d'une chienne!* * Учится ухаживать за большими и задирает нос, *mâtinne* ** этакая!

Он долго провожал красотку меланхоличным, голдным взглядом.

Обрадованный тем, что увидел такую красавицу гвинейку, я вдруг расхохотался:

— А я ведь проиграл пари!

— Мы проиграли больше! — рявкнул отверженный любовник.

ДОРОГОВИЗНА

Перед моим отъездом из Польши молодая хорошенькая кассирша из Министерства культуры и искусства, вручая мне английские фунты, сказала требовательно:

— По возвращении на родину прошу принести мне отчет.

— ?! — Я изобразил на лице недоумение.

— Мы должны проверить, правильно ли вы расходовали валюту.

— Как... как это понимать: правильно ли? — растерялся я не на шутку.

* Крепкий орешек (*франц.*).

** Грубое ругательство.

— Мы должны проверить, не тратили ли вы больше одного фунта одиннадцати шиллингов в день, сокращая тем самым срок своего пребывания в стране.

— Понятно,— сказал я, попрощался и уехал.

По одному фунту одиннадцати шиллингов в день — это пропасть деньжищ, казалось в Польше: почти триста пятьдесят злотых, ого-го!

В Конакри, как уже было сказано, меня поместили на первую ночь в «Отель де Франс». Задохнувшийся, весь в поту, я тотчас воспользовался теплым душем и, освеженный, почувствовал такое же блаженство, как принявший ванну литейщик Иван Козырев из стихотворения Маяковского. Затем я внимательно осмотрел номер. Мое внимание привлекла табличка на дверях: цена комнаты за ночь — две тысячи восемьсот африканских франков. Это превышало четыре английских фунта. Правда, у меня была валюта еще и из другого источника, но при таких бешеных ценах любой человеческий расчет летел к чертям! Я схватился за голову и со страхом подумал о молодой хорошенькой кассирше. Потом она снилась мне всю ночь, но как снилась, бррр!

На следующее утро я завтракал на знаменитой круглой террасе, откуда открывался прекрасный вид на пальмы, воронов и острова Лос. Завтрак — два вареных яйца, хлеб, немного масла и чашка кофе, но цена солидная: шестьсот франков или один фунт. Ко всему этому — обязательные чаевые. Черт побери, великолепные-то пейзажи дороговаты!

В десять утра ко мне пришел министр информации Гвинеи, обаятельный Диоп Альсано, который, узнав о моих финансовых затруднениях в «Отель де Франс», обещал поместить меня сегодня же в правительственной гостинице даром. Гора свалилась у меня с плеч, и я готов был обнять его. Но ничего не вышло: Диоп Альсано, наверно, забыл об обещании. На последнем пределе сил и нервов, в час Филона, когда уже зашло солнце, а собаки уснули, достиг я, как избавления, третьеразрядного отеля «Парадиз», который, и правда, показался мне раем: номер стоил всего лишь восемьдесят франков или один фунт три с половиной шиллинга. Я вздохнул с облегчением.

Номер был ужасный, омерзительная дыра, стены

грязно-кремовые, отвратительно заляпанные белыми пятнами гипса,— олицетворение неряшества и нищеты. Тем не менее в переводе на фунты он стоил дороже, чем изящный, чистенький номер с роскошной ванной, холодной и горячей водой и видом на Балтийское море в «Гранд отеле» Сопота. Сравнить их — небо и земля, точнее, небо и чистилище. Но, повторяю, я вздохнул с облегчением.

Не могу объяснить этой невероятной дороговизны. Перед второй мировой войной Франция и ее колонии принадлежали к числу стран, жизнь в которых была наименее дорога. Зато после войны цены здесь стали самыми высокими в мире. Произошли ли какие-то фатальные финансовые потрясения, или виной тому дорогостоящие послевоенные авантюры в колониях — довольно того, что Франция выпускала здесь товары непомерно дорогие по сравнению с продукцией других стран. Но еще дороже все стало в новой Гвинее, стране, которая вот уже больше года была начисто отрезана от прежних источников снабжения.

Цены здесь были сумасшедшие: постричься — девять шиллингов, постирать рубашку — четыре шиллинга (а рубашки надо было менять самое меньшее раз в день), средний обед и такой же ужин — по пятнадцати шиллингов. Шофер такси за один километр езды по городу сумел содрать с меня двадцать четыре шиллинга, и то после страшного торга: сначала хотел два фунта. Когда в Кундаре, отдаленной от Гвинеи на шестьсот километров, испортилась наша машина, с нас запросили двести долларов, чтобы довести ее на самосвале в Конакри, и мне пришлось бы заплатить, если бы отзывчивые представители власти не уступили собственные средства передвижения.

Скромное существование и отель в Гвинее стоили три фунта в день, столько же составляли прочие затраты, а кроме того, случались чрезвычайные и необходимые расходы: например, перелет до Нзерекоре и обратно (тридцать пять фунтов) или из Гвинеи в Гану (сорок пять фунтов).

В тот период, когда я был в Гвинее, она являлась, пожалуй, самым дорогим углом под солнцем, во всяком случае, она оказалась самой дорогой из всех стран, где я побывал.

По возвращении в Польшу я с чистой совестью смогу отчитаться перед всеми: перед издателем, министром, общественностью, но неуверенным шагом, с беспокойством в сердце я приближусь к грозному арбитру — молоденькой хорошенькой кассирше.

ПОБЕДА

В последующие дни и недели судьба не поспешила для меня на удивительные и опасные приключения, но, чтобы лучше во всем разобраться — хотя бы в том, за что меня арестовали, или в том, что несколько позже я оказался в весьма необычном положении и были моменты, когда казалось, что до серьезной опасности всего один шаг, — стоит коротко, в общих чертах, набросать контуры событий, происходивших в Гвинее.

Когда в XIX веке Франция стала превращаться в колониальную империю, она — в противоположность Великобритании — с самого начала старалась ассимилировать свои колонии с метрополией до такой степени, чтобы они как можно скорее стали неотъемлемой частью Франции, а их население — цветными французами низшей категории. «Наши предки галлы...» — велено было учить маленьким мальгашам по французскому букварю, до тех пор пока сами французы не отказались от этой чепухи.

Проще говоря, Франция вцепилась в свои колонии много крепче, чем другие колониальные державы, и именно поэтому, когда пробил исторический час, она не смогла этого понять и не хотела ничего уступить.

Тем временем результаты второй мировой войны, то есть банкротство Франции и рост авторитета Советского Союза, разожгли стремление африканских народов к свободе. После войны Франция, готовясь к кампании в Индокитае, вначале не подавляла этих стремлений. Доказательство этому, например, — ее согласие на съезд в Бамако на Нигере в 1946 году. Это был съезд африканских патриотов из всех французских владений в Африке. Однако позже Франция предпри-

няла кровавые военные репрессии и на Африканском континенте, и на Мадагаскаре.

Только поражение в Индокитае, алжирская война, а также возмущавшая французов «уступчивость» Великобритании по отношению к Гане и Нигерии принудили Францию к отступлениям. В силу так называемого loi cadre* она признала некоторую автономию отдельных частей французской Африки и, между прочим,— право на создание партий, даже с антиимпериалистическими тенденциями. Ведь она была уверена в том, что легко сможет и дальше держать африканцев в узде, подкупая их лидеров разными способами — наличными или почестями. В общем, эти методы имели успех, как об этом свидетельствует пример премьера Уфуа-Буаньи с Берега Слоновой Кости, который из горячего борца за африканскую независимость превратился во французскую марионетку.

Иначе разворачивались события в Гвинее. Это была колония более бедная, чем другие, и более страдающая под гнетом деспотической администрации. Возникшая здесь Демократическая партия Гвинеи образовалась преимущественно из членов профессиональных союзов и придерживалась поэтому более левой и боевой позиции. Во главе ее встал человек незаурядного ума и выдающихся способностей, блестящий организатор Секу Туре. Используя опыт стран социалистического лагеря, Секу Туре овладел сам и обучил своих товарищей организационным методам этих демократических государств. Вскоре его партия завоевала прочные позиции во всей Гвинее. Во всех более или менее крупных деревнях создавались партийные ячейки. Администрация колоний была вынуждена считаться с партией, была вынуждена смириться с выбором Секу Туре бургомистром Конакри, а после решающей победы партии на сельских выборах в начале 1956 года — полностью демократизировать руководство кантонов, которое до этого времени служило орудием угнетения народа.

В сентябре 1958 года состоялся референдум. К удивлению Франции, гвинейский народ почти едино-

* «Закон-рамка» (франц.). Опубликован 23 июня 1956 г. французским правительством; содержал некоторые политические и экономические реформы, касавшиеся колоний (прим. ред.).

гласно, а именно девяносто пятью процентами голосов, проголосовал за независимость своей страны. Демократическая партия Гвинеи уже достаточно окрепла и закалилась (французские государственные деятели пренебрегали этим обстоятельством) и не дала себя ни запугать, ни подкупить.

В отместку разгневанные колониальные власти в течение трех недель лишили Гвинею всего чиновничьего аппарата, армии, полиции, надеясь, что страна падет жертвой анархии. Но они вновь не учли оперативности партии и энтузиазма народа. Жизнь страны быстро вошла в нормальную колею, «орды фульбе», как предполагали колонизаторы, не обрушились с гор, не пришли грабить столицу, и угрозы и зловещие предсказания не оправдались.

Победа молодой республики, разумеется, не принесла идиллического мира. Французская Африка все еще продолжала бурлить. В странах, соседствующих с Гвинеей, действовали силы, которые тяготели к абсолютному разрыву с Францией. И, напротив, были там силы, поддерживаемые недавней колониальной администрацией и угрожающие независимости Гвинеи. Нельзя было ни выпускать оружия из рук, ни почивать на лаврах. Гвинейцы должны были быть бдительными, и, если их бдительность приобретала иногда уродливые формы, кто — будем справедливыми — мог бы их в этом упрекнуть? Ведь они едва лишь год сами правили страной!

ПРОРЕЗАЮТСЯ ЗУБЫ

Однажды после полудня я позвонил из своего отеля Жирару, очень милому французу, агенту польского морского пароходства в Конакри, и пригласил его на аперитив. Жирар вскоре приехал в своем автомобиле, но, так как было только четыре часа пополудни и погода стояла чудесная, он предложил проехаться за город. Прекрасная мысль.

Как я уже упоминал, Конакри построен на самой оконечности полуострова Тумбо. Здесь уже не осталось места для застройки, и она пошла узкой полосой

вдоль единственной автострады, ведущей из города в глубь страны. По этой дороге мы и поехали.

Предприятия, магазины, жилые дома и хижины тянулись еще несколько километров, чем дальше, тем все более скромные и редкие, но, даже когда и они перестали попадаться, одно оставалось без изменения: люминесцентные фонари на высоких столбах, которые поднимались над дорогой через каждые пятьдесят метров. Я радостно приветствовал их, как хороших знакомых. Два или три года назад, после какой-то там международной ярмарки, в Познани появились точно такие же лампы. В те времена они казались познанцам, гордым своим приобретением, последним словом техники и прогресса. А здесь фонари уже давно светили жителям предместий Конакри и зверюшкам в начинающемся бруссе черного материка. Я посмеялся, вспоминая Познань и ее приобретение.

«Пежо» Жирана без труда достиг бы скорости сто двадцать километров в час на таком асфальте, но, так как это была прогулка, мы не превысили и восьмидесяти километров. Несмотря на это, я чувствовал, что, как говорится, крылья вырастают у меня за плечами; ведь это была моя первая встреча с настоящей Африкой.

Конакри уже через несколько дней по горло хватало тому, кто не имел своей машины, не любил пыли и не располагал достаточным временем, чтобы терпеливо переносить пустопорожние обещания властей. Поэтому теперь я с наслаждением пожирал глазами африканский пейзаж, когда, миновав аэродром, мы въехали в типичную саванну. Это была широкая степь, покрытая высокой и сухой в то время года травой, в которой то там, то тут поднимались группы деревьев, так что издали они казались как бы сплошным парком. Преобладали приземистые купы сочной зелени — манго и оливковые пальмы: манго были похожи на толстых Санчо Пансо, пальмы — на высокие щуплые фигуры безумных рыцарей.

При свете заходящего солнца, всегда выгодном для демонстрации женской красоты и пейзажа, все зарозовело и стало приятным для глаз. И нам было хорошо, потому что мы вырвались из душливой атмосферы Конакри и, как очарованные птицы, летели в огромную

Африку, материк нераскрытых тайн. Нас переполняло радостное ощущение свободы.

Так хорошо нам было до самого Кояха.

В Кояхе, маленьком городишке, ничем не примечательном, Жиран остановил машину на площади и выскочил купить папирос. Я тоже вышел и от нечего делать снял с плеча фотоаппарат — хотел что-нибудь сфотографировать. К несчастью, куда бы я ни направил свой объектив, нигде не было ничего интересного — ни домов, ни людей. Поэтому я закрыл аппарат и хотел было его спрятать.

Вдруг я увидел, как из какого-то дома на площади выскочил возбужденный гвинец и энергичным шагом направился ко мне. Его суровый взгляд не обещал ничего хорошего. И действительно, подойдя ко мне, он показал на аппарат и резко потребовал:

— Покажите разрешение на фотографирование!

— Excusez-moi! * — усмехнулся я, удивленный. — Кто вы такой?

Гвинец был в штатской одежде.

— Полиция! — ответил он коротко.

— У меня нет никакого разрешения, — объяснил я как можно вежливее. — Я не знал, что оно необходимо.

— Без разрешения нельзя фотографировать! Дайте мне пленку, — приказал он.

— Но я же ничего не снимал, — защищался я. — Посмотрите — на счетчике первый кадр!

Он убедился, что на фотоаппарате действительно стоял первый кадр, и потребовал:

— Удостоверение личности.

— Но у меня его нет: я четыре дня назад прибыл на пароходе, и паспорт все еще в Sûreté **.

— Прошу следовать за мной! — проворчал он и поманил пальцем Жирана: — Вы тоже!

Он повернулся к нам спиной и пошел, мы покорно побрели за ним.

С юмором висельника я подумал, что роли переменялись и черный человек за вековое унижение брал теперь скромную плату с белого. Мне рассказывали, что

* Извините (франц.).

** Сыскная полиция (франц.).

недавно полиция недурно потрясла одного француза, когда он не захотел тотчас показать удостоверение личности, а четыре месяца назад чешского киноработника, который путешествовал в глубине страны со всеми необходимыми документами, усердные власти какого-то местечка даже посадили на три дня в холодную, пока дело не выяснилось. Правда, здесь, в полусотне километров от столицы, мне не угрожали такие передраги, но я решил быть начеку.

Когда мы входили в комиссариат, сюда уже сбежалось несколько десятков жителей Кояха; плотной толпой они заполнили двери и все окна строения, с интересом наблюдая за происходящим спектаклем.

Гвинеец, который нас задержал, был комиссаром полиции. Он немедленно уселся за стол и стал писать протокол. Он потребовал назвать не только мое имя и фамилию, но также имена и фамилии моих родителей, жены и детей. Комиссар поинтересовался, когда я родился, когда женился и откуда родом моя жена. Я охотно и вежливо отвечал на все вопросы. Узнав, что я поляк, он недоверчиво посмотрел на меня, но все его сомнения исчезли, когда я назвал корабль на котором прибыл,— «Щецин». Француз не смог бы выговорить трудного слова так правильно. А когда я объяснил ему вдобавок, что я намерен написать о Гвинее хорошую книгу, так как я писатель, он немного сбавил тон и, к разочарованию жителей, разрешил нам уехать.

Я был все время предупредительно вежлив и внимательно следил за тем, чтобы ничем не задеть его самолюбия. Думаю, что это значительно помогло решить дело в нашу пользу.

Когда мы сели в машину и уже тронулись, за нами выскочил одетый в мундир полицейский, энергично нас остановил и приказал направиться в комиссариат. Пахло издевательством, но и это испытание мы выдержали отлично, без колебания исполнив приказ. Городскую общественность, которая уже расходилась по домам, жестоко обманутая в лучших чаяниях, охватили новые надежды, и вся компания с большим воодушевлением снова понеслась к комиссариату, уверенная, что увидит экзекуцию над белыми преступниками.

В комиссариате мы сели на прежние места, только

комиссар допрашивал теперь Жирара, составляя такой же подробный протокол. Закончив, он потребовал назвать номер моего фотоаппарата, после чего разрешил нам уйти, на этот раз уже окончательно.

На прощание мы подали друг другу руки, но, прощаясь обязательное *au revoir* *, я засмеялся.

— Нет, больше мы сюда не приедем, разве только с надежным разрешением на фотографирование!

— *C'est ça!* ** — ответил комиссар официальным тоном.

Жирар сразу за Кояхом набрал скорость не меньше ста километров, словно опасаясь погони, и добрую четверть часа мы угнетенно молчали. Потом, посмотрев друг на друга, одновременно разразились смехом.

— У них режутся зубы,— авторитетно произнес я,— и я прекрасно это понимаю. Это историческая необходимость, так же как и то, что мы немедленно должны выпить аперитив!

Мы выпили его по дороге, на веранде, в баре аэровокзала, и были свидетелями другого проявления исторической необходимости, значительно более серьезного: два больших самолета «Эр Франс» стояли готовые к отправлению, один в Париж, другой в Абиджан. По данному полицией знаку две группы по несколько десятков пассажиров высыпали на поле и заторопились к самолетам. Каждые два-три дня такие группы французов, преимущественно молодых, покидали Гвинею.

БАБОЧКИ

Я не успел еще получить никакого известия от семьи или знакомых из Польши, как мне вручили в Конакри необычное письмо. Необычное потому, что оно было послано четыре дня назад из Чеховиц-Дзедзиц и дошло за исключительно короткое время. Удивительно было и то, что оно вообще дошло до меня. Адрес был такой: «Аркадию Фидлеру, Конакри, Гви-

* До свидания (*франц.*).

** Хорошо (*франц.*).

нея». Распечатав его, я не мог сдерживать волнения. «Наверное,— писал некий Ян Войтицкий из Чеховиц-Дзедзиц.— пан удивится моему письму, а может быть, и нет, потому что все любят пана за книги, написанные паном. Я натуралист, коллекционирую бабочек и насекомых и страшно завидую возможности пана ловить бабочек. Пан так мало пишет о бабочках, а больше все о птицах и млекопитающих. Я не знаю, дойдет ли это письмо до пана, так как адрес взял из газеты. Если дойдет, то очень прошу прислать в ответ несколько слов и несколько бабочек, а по возвращении пана — милости просим к нам...»

Пан Войтицкий приложил к письму традиционную просвирку к «наступающим праздникам» и закончил просьбой не сердиться за его дерзость.

Я не рассердился; по правде говоря, письмо растрогало меня и ввело в раздумье. Какая это великая, святая страсть — коллекционировать бабочек. Насколько она благороднее, чем обыкновенная охота, которая удовлетворяет атавистическую потребность добывать мясной корм. Напротив, ловля бабочек удовлетворяет высшие порывы, у ее истоков — культ красоты. Даже бездушные коллекционеры поддавались ее магии и время от времени заглядывали в свои коллекции, наслаждаясь великолепием красок.

Письму с далекого севера я принял близко к сердцу, но ее трудно было выполнить. Зима в этой части Африки хотя и пышет тяжелым зноем, но приходится на сухое время года, когда за долгие месяцы не выпадает ни капли дождя и с некоторых деревьев опадают листья. Вся растительность теряет животворные соки, впадает в оцепенение, а вместе с ней исчезает и все насекомое племя.

Бабочки не совсем вымерли, они попадались кое-где, но, к сожалению, их было совсем мало.

Бродя по городу, я поглядывал на деревья — то на манговые, то на кокосовые пальмы: бабочек и следа не было, видно, не нравились им деревья и уж наверняка — уличное движение и бензиновый смрад. Ведь достаточно было чуть выйти в пригород, в заросли рош, как становилось веселее и жизни вокруг больше.

В четырех километрах от центра города находилась резиденция нашего торгового представительства,

и я часто приходил сюда к гостеприимным хозяевам обедать. Резиденция утопала в саду из декоративного кустарника, где преобладали огненные гибискусы*, а дальше сад сливался с буйными зарослями африканского предместья.

Идиллический хаос зелени был раем для бабочек, и я представляю себе, сколько великолепных экземпляров порхало здесь в период дождей. Только не сейчас, в декабре. Лишь на третий или четвертый день появилась какая-то бедняжка из заурядной семьи пестрокрылых. Однако это невзрачное насекомое воротило нос от прекрасных цветов. Не задерживаясь, бабочка полетела себе куда глаза глядят, пожалуй на верную гибель, но нам с Петрусем не было ее жаль.

Петрусь. О, это мировой парены! Сыну торгпреда Скверчинского шел пятый год, но темперамента и ума — значительно больше, чем полагалось по возрасту. В течение нескольких месяцев он покориł всех темнокожих ровесников в округе, болтал с ними, как с братьями, на языке сусу, а с шофером Кваме подружился не на жизнь, а на смерть. Будучи и моим другом, он воспылал интересом к бабочкам. Однако пламя легче было зажечь, чем сохранить. Скупая природа не позаботилась для нас о бабочках или, во всяком случае, создала их не столько, чтобы разжечь наш энтузиазм. Что из того, что однажды влетел в сад изящный парусник, весь черный, с белым пятном, огромным и удивительным (какой-нибудь *Amarius*, наверное), стремительно влетел и сразу исчез, — ну и что? Что из того, что в другой раз высоко над садом, как черно-желтый самолет, пролетел великолепный кавалер, наверное *Papilio demodocus*** , пугливый и прекрасный, — разве этого было довольно? Довольно — особенно для Петруся? Разве у него не было больших удовольствий?

У него даже была молодая живая антилопа мина, которую французы звали *guib* и которую Кваме достал

* Г и б и с к у с ы — род растений семейства мальвовых (*прим. пер.*).

** Бабочки семейства *Papilionidae* (парусники, кавалеры). Крупные, яркие и красивые бабочки (ок. 700 видов); особенно богато представлены в тропиках (*прим. пер.*).

в деревушке Дабилла и привез для Петруся. Прелестный детеныш отличался светло-коричневой шерстью в белую полоску и большими ложками-ушами; о такой игрушке можно было только мечтать. Петрусь мог ухаживать за антилопой, ласкать и кормить ее и — что было для него важнее всего — мог с ней фотографироваться.

С еще большим наслаждением Петрусь забирался вместе с шофером Кваме в машину, усаживался на колени к другу и начинал действовать: заводил мотор, выключал сцепление, включал скорость, вертел руль, а когда машина начинала двигаться, был уверен, что это он, инженер Петрусь, заставил ее тронуться.

Однажды для ловли бабочек открылись более светлые перспективы: унялся дьявольский харматтан, в небе стало меньше пыли и больше бабочек в саду. Бабочки, уже не такие робкие, весело порхали над кустами, а иногда даже сидели на цветах. В обществе Петруся я подстерегал их с сачком (тем самым, который блестящий зоолог Пневский из природоведческого музея в Познани одолжил мне на время поездки в Индокитай), но результаты охоты были более чем скромными: ни бабочки, ни я не проявляли должного терпения.

— А зачем ты ловишь их? — спрашивал Петрусь в минуты сомнений, когда бабочки не прилетали слишком долго.— Зачем, пане?

Ну что тебе ответить, Петрусик? Что я ловлю их для любителя в Польше, хочу доставить ему радость? Что бабочки будят во мне воспоминания о первых пламенных порывах моего детства? Что и ты, малыш, когда немного подрастешь, наверняка поддашься их очарованию? Когда-то я писал, что дети и бабочки принадлежат друг другу. Так как же, Петрусик, будешь ты им принадлежать?

Однажды прилетел кавалер — *Papilio*, такой огромный, что наши сердца сильно забились. Он поразил даже Петруся.

Papilio был черный, с желтыми и коричневыми пятнами, он величественно парил, будто надменный повелитель крылатых. Великан выглядел как спесивая птица. Он намеревался пролететь мимо, но что-то заинтересовало его в нашем саду, и он снизился. Я узнал

его. Это был *Papilio antomachus*, ей-богу, знаменитый антомахус! Обычно недоступный и бдительный, неуловимый как ветер, сейчас он сделал над кустами несколько кругов и уселся на пышном цветке гибискуса — мы не поверили своим глазам: сел, цветок даже пригнулся под ним.

Я весь сжался в хищном порыве и, как зверь, стал крадучись приближаться. Я был уже близко, еще шаг, еще полшага — и тут не выдержал. Сорвался. Я взмахнул сачком, но палка оказалась коротка, я промахнулся. Антомахус молниеносно взлетел и пропал за верхушками деревьев.

Это приключение взволновало меня, и щеки мои еще долго пылали; я охотно рассказал бы кому-нибудь, хотя бы Петрусью, необыкновенную историю бабочки: этот *Papilio* был так поразителен, что даже суровые торговцы невольниками, которые приплывали в XVIII веке к побережьям Западной Африки, обратили на него внимание и уже тогда привезли его описание в Европу. Однако первые экземпляры появились в европейских коллекциях лишь сто лет спустя, и — что самое интересное — это были исключительно самцы. Шли годы, в Европу привозили все больше этих бабочек, но по-прежнему только самцов, ни одной самки, словно их заколдовали. Натуралисты ломали голову над этой тайной — напрасно. Лишь в начале XX века был найден ключ к загадке. Ловкие самочки антомахуса выглядели совершенно иначе. Они совсем отказались от пышного наряда своих самцов и надели другие одежды, значительно более скромные, менее праздничные, зато точь-в-точь повторяющие наряд бабочек другого семейства, *Acrea*. *Acrea* были недоступны для врагов: они отвратительно пахли, охраняя и себя и тем самым самок антомахуса!

Кавалер этих ловких дам, пролетая через сад, и вызвал наше искреннее восхищение.

Ну, а что Петрусь? Вот шофер Кваме засигналил на улице, и мальчик как стрела бросился к нему. Он помчался туда, куда звало его сердце. Бабочкам была дана отставка. Петруся очаровал мотор: дух времени оказался сильнее всего.

Немного остыв от впечатлений, я вздохнул с облегчением и обрадовался, что мне не удалось поймать со-

блзнительную бабочку. Это величественное создание должно жить, а Ян Войтицкий не обидится на меня за это.

МАГИЯ

Первобытное сознание анимистов и их путаное, на наш взгляд, понятие вины неплохо отражаются в факте убийства француза Анри Мэтра, совершенного в 1935 году в Южном Индокитае.

Этот энергичный администратор, этнограф и исследователь земель, заселенных племенами мѳи*, был не только блестящим их знатоком, но также испытанным другом и опекуном. Работы Мэтра, в которых он описывал жизнь и обычаи мои, принадлежат к наиболее выдающимся в этой области.

В 1935 году Мэтр продолжительное время оставался в их поселениях на границе Камбоджи и Южного Вьетнама. Прекрасно зная обычаи мои, он был достаточно осмотрителен, чтобы не проявить малейшего неуважения к ним. Они также знали о его искренней привязанности к ним и сами были к нему расположены. Несмотря на это, однажды они убили его, когда он случайно и по незнанию преступил какой-то их суровый и тайный запрет. Перед колониальным судом их объяснения звучали чертовски невразумительно для белых судей. Между прочим, они признавали, что Мэтр был их другом и что о запрете ничего не знал, но это еще более отягощало в их мистическом воображении его непростительную вину: именно будучи их другом, он должен был предчувствовать священный запрет, а раз не предчувствовал, значит, он совершил преступление против племени и должен был погибнуть.

Некий француз, Альфред Марш, издал в 1882 году книгу под названием «Три путешествия в Западную Африку». Он описал случай, свидетелем которого оказался; случай, происшедший на реке Огове (на берегу

* Мѳи — собирательное название племен Индокитая, населяющих главным образом горные районы Вьетнама. Классовое расчленение у мѳи не завершено (*прим. пер.*).

которой знаменитый Альберт Швейцер* позже построил свой госпиталь) в Габоне. Две девушки отправились на лодке в город, чтобы закупить соль. Выезжая из деревни, они уговорили трех подружек поехать вместе с ними, и вся веселая пятерка двинулась в путь. Однако, преодолевая пороги, лодка перевернулась, все девы упали в воду, две — те первые — с трудом добрались до берега и спаслись, зато три их подружки утонули.

Обычный несчастный случай; однако, когда спасшиеся девушки вернулись в деревню, жизнь для них стала адом. Это они уговорили подруг ехать вместе, значит, гибель девушек — это их вина, и виноваты они в том, что внутренний голос не подсказал им трагического исхода. Они совершили преступление и понесли заслуженное наказание: деревня продала их пришлым торговцам в неволю.

Приведенные выше случаи личной вины, которая возникала из-за неспособности предчувствовать события, живо припомнились мне однажды знойным вечером в Конакри. С секретарем нашего торгпредства Мечиславом Эйбелем мы торопились на девятичасовой сеанс в кино «Палас». По дороге Эйбель встретил знакомого гвинейца, которого мы пригласили с собой. Чуть позже девяти я подбежал к кассе у входа в кино. Из глубины зала долетали звуки какой-то музыки, как это обычно бывает перед началом фильма.

Запыхавшись, я попросил три билета, но стоявший навтыжку кассир даже не шелохнулся, только едва заметно качнул головой. Эйбель, который подошел ко мне в эту минуту, показал на висящее рядом объявление, гласившее о необходимости с уважением слушать гвинейский национальный гимн, который исполняется перед сеансами. Звуки, доносившиеся из глубины зала, и были национальным гимном, введен-

* Альберт Швейцер (1875—1966) — немецкий философ и врач-просветитель. С 1913 г. и до конца жизни жил в тропических лесах Габона, в местечке Ламбарене на реке Огове, где создал большой госпиталь. В ряде работ Швейцера о культуре и этике разработана проблема мира и гуманизма, которые он считает необходимым условием жизни всего человечества и своеобразной религией современности. В 1953 г. А. Швейцеру была присуждена Нобелевская премия мира (*прим. ред.*).

ным два или три дня назад: я тотчас встал по стойке смирно и стоял так, пока звучала музыка.

Когда гимн окончился, вокруг нас все закипело. Подскочили несколько грозных полицейских в мундирах и несколько агентов в штатском и начали наперегонки арестовывать всех белых, стоящих перед кинотеатром. Усердный комиссар, упитанный и экспансивный, с криком налетел на Эйбеля и на меня: «Вас я тоже арестую!» — в то время как другой полицейский держал нашего товарища гвинейца, хотя тот даже не подошел к кинотеатру. Все это произошло в одно мгновение, в сумасшедшем темпе.

— Но ведь я стоял по стойке смирно, как положено, — объяснял я очень вежливо.

— Слишком поздно встали! — гаркнул комиссар.

— Как только я понял, что это...

— Слишком поздно!! — прорычал он, прервав мою речь. — Не сопротивляться!

— Да я и не сопротивляюсь! — улыбнулся я. — А наш товарищ, гвинеец, стоял далеко от кинотеатра. Он-то уж ничего такого не сделал...

— Молчать! Вас не спрашивают!..

На его черном лице воинственно сверкали белки глаз. Я примолк, потому что и спорить уже было не с кем: нас согнали в одну кучу, около дюжины провинившихся, и окруженных со всех сторон стражей погнали в центральный комиссариат полиции, который находился, к счастью, всего в нескольких сотнях метров от кинотеатра.

По дороге Эйбель, которого вели в трех шагах впереди меня, полуобернулся, чтобы мельком взглянуть, где я. Полицейский тотчас дал ему тумака в бок и грубо толкнул вперед. Все происходило, как в классических фильмах, показывающих колонну пойманных мятежников или рабов.

Приключение и злило меня и в то же время забавляло. Забавляло, ибо мне было совершенно ясно, что мы ничего не сделали и что нас сразу же отпустят как невиновных. В комиссариате нам приказали сесть на скамью подсудимых перед судьей, гвинейцем с нахмуренным лицом. Когда мы услышали, как резко отчитал он первого арестованного — ливанца, называя его действия преступлением, у нас вытянулись лица. Ли-

ванца осудили на ночь заключения, кроме того, он должен был заплатить штраф — пять тысяч франков, то есть более двадцати долларов. Как мы узнали позже, все остальные, главным образом французы, понесли подобное наказание.

Судья согласился выслушать меня вторым. Нашу невиновность легко было доказать незнанием того, что означали несущиеся издали звуки, и немедленным выполнением правил, как только стало понятно, что это национальный гимн. К моему удивлению, эти аргументы не убедили судью. С беспокойством старался я прочесть на его хмуром лице: может, ему жаль потерять жирный кусок — штраф? Кто знает, может быть, с элементами социального прогресса в нем уживались остатки мистического духа той самой деревушки на Огове, где осудили девушек за то, что они не предчувствовали катастрофы. Может, моей и Эйбеля виной было то, что мы не ощутили заранее всей значимости звуков, долетавших издали?

Спасая свою шкуру (и кошелек), я выложил судье, что приехал в Гвинею как польский писатель, жаждущий написать о молодой республике дружескую — именно дружескую! — книгу. Но и это не произвело должного впечатления. Судья, однако, немного задумался и для надежности пожелал получить указание от самого директора полиции. Он пошел позвонить ему и вернулся с кислой миной охотника, у которого добыча выскользнула из рук.

— Можете идти! — буркнул он Эйбелю и мне.

— А наш товарищ, гвинеец? — спросил я.

— Он останется здесь!

— Но он же совсем не виноват. Он...

К нам бросились два или три агента и с профессиональной ловкостью схватили нас за руки.

— С вами кончено! Уходите! Не вмешивайтесь не в свое дело.

Мы ушли.

— Еще одно невинное доказательство того, что у молодого государства режутся зубки! — улыбнулся я Эйбелю, и мы мигом вернулись в кино, надеясь, что хороший фильм поможет забыть неприятное происшествие.

Но и здесь нам не повезло. Мы увидели конец дис-

неевской «Африки», репортажа из жизни животных в южноафриканском заповеднике. Фильм, цветной, великолепный по форме, был неприятен по сути: какие-то полуручные львы и леопарды непонятно почему нападали на полуручных антилоп, которые безуспешно пытались убежать и становились жертвами полуголодных хищников.

ТОРГОВЦЫ

Большинство африканцев и все африканки имеют торговую жилку. Они любят продавать — пожалуй, это самая сильная их страсть — и любят торговаться. Некоторые народности, например хауса, занимаются исключительно торговлей, и их бродячие торговцы обходят всю Западную Африку, добираясь до каждой деревни.

В сравнительно небольшом Конакри было скорее всего не менее десяти тысяч мелких торговков. Их элита блистала до полудня на главном базаре, где продавались продукты земледелия и ремесла. Это были преимущественно матроны, дородные и гордые, и модницы, одетые так красочно, что толпа на базарной площади была похожа на сад фантастических цветов.

Эти состоятельные дамочки свысока смотрели на всех остальных торговков. Кроме них под конец дня на оживленных улицах появлялось множество женщин, которые, терпеливо просиживая до поздней ночи, выставляли на маленьких столиках свой до смешного скромный товар — пять-шесть апельсинов. Конкуренция была так сильна, что многие женщины в полночь приносили домой непроданный товар, чтобы, ничуть не разочаровываясь, повторить на следующий день тот же обряд: сидеть и ждать напрасно. Вынуждала ли их к этому крайняя нужда или это было своеобразное испытание терпения? Пожалуй, ни то ни другое. Скорее всего, так проявлялась их врожденная общительность, наслаждение чувством единства со всем городом. Эти женщины были доброжелательны, скромны, словоохотливы и деликатны.

Когда я сидел на веранде «Авеню Бар», ко мне каждую минуту подходили продавцы папирос. Этим тоже была пропасть, и у каждого — с десяток пачек заграничных папирос, не больше. Приятные молодые люди по сто раз в день слышали один и тот же отказ, но они, так же как торговки апельсинами, проявляли философскую неприязнительность терпеливых рыболовов. Кроткие, доброжелательные и улыбающиеся, они мирились с судьбой.

Поразительный контраст с этими людьми представляла другая категория купцов, запальчивых, беспощадных, алчных, настоящая банда торговцев произведениями искусства. Как не раз в истории человечества, благородное искусство получило здесь низких жрецов. В сравнении с ними Шейлок был святым, Гарпагон — Рокфеллером.

Они всегда толкались на улице недалеко от «Авеню Бар», откуда можно было наблюдать за их махинациями. Все они — примерно человек двадцать — держались вместе у одного длинного крытого прилавка и представляли собой как бы стаю голодных окуней, подстерегающих в укрытии плотву. Чернокожие собратья не интересовали их вовсе, купцы вылавливали только белых. А белые, привлеченные чудесами, летели, как слепни на огонь. Их манили работы по черному и красному дереву и работы из слоновой кости, очаровывали чудовищные маски и прелестные скульптурные женские головки, и сабли в ножнах из красной кожи, и ожерелья из магических орехов или серебра, и всякие безделушки. Чего там только не было!

Шайка настойчивых вымогателей наполняла меня страхом, злостью и отвращением. Сотни раз я зарекался иметь с ними дело, и сотни раз я, ничтожество без твердости и характера, наперекор своей злобе постыдно поддавался искушению. Я боролся, упирался, бунтовал — безрезультатно. Безумец, я в конце концов неудержимо устремлялся к кровопийцам, как к источнику в пустыне.

Подходя к их торжищам, я делал скучное, безразличное лицо и старался ни на что особенно не смотреть. Напрасные попытки. Первый с краю торговец, молодой, но уже опытный в этих делах сенегалец, через какую-нибудь минуту уже читал мои мысли. С тор-

жествующим и насмешливым видом он выбрал из нескольких десятков статуэток как раз ту, которая мне больше всего понравилась,— бюст женщины фульбе.

— Бери! — он силой совал ее мне в руки.

Я не принимал статуэтку, пряча руки за спину.

— Бери ее! — требовал он.

— Сколько?

— Восемь тысяч франков.

Фигурка стоила самое большее тысячу.

— Полоумный! — с жалостью выпалил я и повернулся к следующему торговцу.

Молодой сенегалец набросился на меня, как шакал, и загородил мне дорогу.

— Сколько дашь? — спросил он проникновенно.

В этой компании все говорили друг другу «ты».

— Назначь разумную цену!

— Ну, давай семь с половиной!

Продолжать беседу не было смысла, потому что я доторговался бы едва до половины его первоначальной цены, а это все равно было возмутительно дорого.

— Давай семь тысяч! — страстно крикнул он.

— Нет! — пожал я плечами и уклонился от рук, которые пытались меня задержать.

Следующий торговец был похож на благодушно настроенную лису. Двусмысленно улыбаясь, он уже поджидал меня со слоном в руках.

Чуть я зазевался — и в руках оказалась тяжелая статуэтка, которая меня совсем не интересовала. Торговец не хотел взять ее назад и не позволял поставить на прилавок.

— Non, merci! * — решительно сопротивлялся я.

— Бери! — заклинал он меня. — Десять тысяч франков. Бери!

— Слишком дорого! — решительно отказался я.

В его глазах заблестали искры хищной надежды.

— А сколько дашь?

— Триста!

Он был сражен. Этот мгновенный переход от алчной просьбы к безмерному негодованию, которое он великолепно разыграл, был полон комичного пароксизма. Торговец тотчас же наказал меня так, как я

* Нет, спасибо! (франц.).

этого заслуживал: вырвал из рук статуэтку и повернулся ко мне спиной.

Все это видел и слышал другой сенегалец, но считал, что обладает более надежными средствами заполучить покупателя. Он верил в магию прикосновения, был самонадеян и стремителен, какой-то дикий черный тигр, мастерски приводивший себя в исступление. Ужасная досада! У него была чудесная статуэтка — женская головка, истинное произведение искусства, которое я охотно приобрел бы за настоящую цену. К сожалению, алчность живодера проложила между мной и скульптурой непроходимую пропасть.

— Будь же благоразумен, будь человеком! — убеждал я. Но все мои просьбы оставались гласом вопиющего в пустыне.

Восхищенный работой, я решился взять фигурку в руки, не думая о последствиях. А последствия не замедлили наступить. Сенегалец отказался взять назад статуэтку и впал в транс. Однако его магический танец и чары не помогли: я холодно положил статуэтку на прилавок среди других предметов. Тогда он в возбуждении схватил фигурку и начал подталкивать меня ею.

— Ты что, спятил? — прикрикнул я на него, выведенный из равновесия его странными движениями.

Прикосновения статуэтки должны были магически парализовать мою волю. При этом сенегалец не переставая вопил как безумный: «Сколько дашь?» В ответ я кричал: «Сколько хочешь?»

С такими выкриками мы наскakивали друг на друга. Он в ярости, а я — забавляясь. Правда, несколько нервозно.

Я хотел уйти. Но он судорожно схватил меня за плечо и удержал силой.

— Убери руки! — рявкнул я и вырвался.

У следующего торговца была, кроме всего прочего, сабля из Лабе, страны отважных фульбе, настоящий шедевр кузнечного и кожевенного ремесла. Я мечтал об этой сабле, при виде ее у меня текли слюнки, и я заплатил бы неплохо, однако у негодяя тоже текли слюнки, и он, завидя меня, жаждал содрать с меня последнюю шкуру. А я решил не поддаваться.

Торговец был явным холериком. Видя, что я при-

ближаюсь, он уже издали бросал вполголоса заклинания в мою сторону. Он знал, как хочется мне иметь саблю, и тоже страдал, от того что я не соглашаюсь с его ценой. Он метался и захлебывался, выпучивая на меня глаза, бегал за мной, соблазнял, размахивал саблями перед моим носом и хрипел: «Шесть тысяч», но упрямо не уступал ни франка. Ну и я упирался.

Весь этот цирк с мошенниками напоминал мне сказки о принцессе, плененной злыми чудовищами. И здесь, как в сказке, жадные чудовища охраняли доступ к очаровательным принцессам, и с этим ничего нельзя было поделать. Торговцы ополчились на меня, наслаждаясь возможностью тянуть из меня жилы. Это был своеобразный вид спорта, пир садистов.

Поняв это, я изменил тактику. Я и близко не подходил и не проявлял ни в чем заинтересованности, но на расстоянии нескольких шагов медленно дефилировал перед мучителями. Чего только не делали обдирали, чтобы заманить меня к себе. Они проклинали, умоляли, неистовствовали, показывали лучшие статуэтки, кипятились — я только улыбался и шагал дальше. Наконец-то я нашел средство против них. Сейчас мучались они, а не я, торжествующий под маской безразличия. Потешные сирены напрасно искушали Одиссея. Преимущество было на моей стороне.

Но все до поры до времени. Торговцы сговорились и оплатили мне тем же: перестали меня замечать. Я для них больше не существовал. Хуже того, они обменивались впечатлениями: я, по их мнению, нуждаюсь, карманы у меня пусты, я вынужден пытаться их обмануть и т. д. Мое оружие дало осечку.

Однажды я пришел на их сборище. Я выбрал молодого торговца, наиболее приличного и наименее циничного, и спросил его, сколько стоит небольшая маска. Он, конечно, завысил цену, но все-таки она была довольно сносной. Я купил маску, не торгуясь. Когда я платил, любопытный торговец, разумеется, заглянул в мой бумажник. Он остолбенел при виде толстой пачки банкнот, а еще больше были потрясены его приятели, видя, как я ухожу с купленной маской.

Едва я к вечеру следующего дня расположился в «Авеню Бар», как ко мне подбежал холерик с саблей в руке. У него были глаза человека, снедаемого горяч-

кой. Он подбежал ко мне и в возбуждении бросил саблю на стол.

— Бери ее! — прорыдал холерик, подавляя ярость. Началась обычная игра.

— Сколько хочешь?

— Бери, говорю тебе! — шипел он нетерпеливо. — Сколько дашь, сколько дашь?

— Тысячу франков! — пошутил я с издевкой.

— Хорошо, дай тысячу! — простонал он. — Дай, быстро!

Я внимательно осмотрел саблю — все было в порядке. Когда я расплачивался, у него дрожали руки. Он был рад, что получил тысячу франков, и с облегчением спрятал деньги, как бы избавившись от какого-то гнета. В то же время он оглядывался в сторону близлежащего торжища, полный злорадного удовлетворения, что обскакал своих товарищей. А оттуда уже поспешали два-три торговца, размахивая высоко над головой статуэтками. Махали широко, так, словно это были не статуэтки, а белые флаги капитуляции.

В сущности, так оно и было. Торговцы дрогнули. Более того, они были сломлены.

Ф Р А Н Ц У З Ы

В отеле «Парадиз» бывали только французы. Два раза в день, в полдень и вечером, французский оазис наполнялся веселым шумом. Из города на обеды и ужины к патрону Жели приходили его постоянные посетители, всегда разговорчивые, жизнерадостные, подвижные; известно — французы. Вместе с Францией и они потерпели здесь поражение, но еще держались. Это были преимущественно мелкие предприниматели: механики, владельцы каких-то гаражей и ремонтных мастерских, и к Жели они приезжали чаще всего на своих пикапах.

Ресторан отеля «Парадиз» помещался на первом этаже и с одной стороны был полностью открыт для обозрения с улицы. В нем царил удивительно теплая атмосфера, и он вполне оправдывал свое название — «Рай». Хозяин тоже был исключительно заботлив и

относился ко всем своим посетителям по обычаю французских патронов сердечно, как патриарх к своей семье. Жели было немногим более пятидесяти, но, имея мягкое сердце и при этом внушительные габариты, он за последние месяцы сильно сдал: поражение французов глубоко его огорчало. Во всяком случае, гораздо больше, чем его более молодых земляков. Эти, каждый вечер собираясь вместе, допоздна оживленно и громко болтали. Наиболее звучные голоса долетали до моего номера над рестораном и перебивали первый сон. Я не обижался на развеселившихся посетителей, с удовольствием прислушиваясь к шуму их голосов. Несомненно, самый мелодичный из всех языков мира — французский; в нем есть что-то от хрусталя и перламутра, он облекает мысли в точные и вместе с тем очаровательные образы. Я любил прислушиваться к отдельным выкрикам людей внизу.

Их пылкий темперамент был для меня загадкой. Они наверняка отдавали себе отчет в том, что являются рудиментом предшествующего правления и что гвинейцы рано или поздно выкурят их из страны, но держались так, как будто ничто не угрожало их успешным делам. А может быть, они только искусно маскировали свое беспокойство или их смятение выражалось в такой форме? Как бы то ни было, они вызвали удивление — и меня иногда подмывало обнаружить у них какой-нибудь изъян. Всегда сильные, веселые, здоровые, неутомимые, они не проявляли никаких признаков надлома, никакой слабости.

Никакой?

Это были преимущественно молодые мужчины, полные сил, заботливо откормленные и напоенные вином патрона Жели. Француженок здесь появлялось мало, других женщин не было вовсе. В колонию приезжали всегда одинокие французы, а теперешняя суровость обычаев нового государства уничтожила всякую возможность фамильярных отношений с гвинейками. Может быть, великолепные аскеты и на этом поле одержали победу, мужественно высвобождаясь от низменных инстинктов?

Однажды вечером, когда я ужинал в «Парадизе», к моему изумлению, в зал вошли две гвинейки. Несмотря на свою молодость, они, должно быть, раньше

бывали здесь чаще, потому что дружески поздоровались с Жели, как с добрым знакомым. Они сели за последний свободный столик и заказали скромный ужин. Девушки держались прилично, хотя свободно и смело, с лукавой улыбкой осторожно оглядывали общество. Обе были недурны — одна даже совсем ничего.

А что же мои герои аскеты, эти беззаботные, закаленные, несгибаемые мастера душевного равновесия? Что за муха их укусила? При виде этих двух веселеньких девушек вся их выдержка вдруг пропала, лопнула как мыльный пузырь. Своим появлением девушки вызвали всеобщую сенсацию, так что большинство посетителей на минуту онемели, а когда беседа возобновилась, все сразу переменялось: голоса за столиками стали возбужденными, взгляды — взволнованными, лица зарумянились.

Судьба разделила присутствующих на две категории — привилегированных и обделенных. Первые сидели лицом к девушкам, вторые — спиной. Первые могли на них не только смотреть, но и проявлять свою пылкость и предпринимать отчаянные попытки обратить на себя внимание. Вторые видели лишь выражение лица и глаз этих первых и по их усердию судили об очаровании прелестниц. Им, обойденным, оставалось утешаться своей фантазией, они могли лишь пребывать в мечтах, но кто знает, может, им было и лучше, чем тем счастливым? Во Франции влюбленные целуются при всех. И здесь какое-то любовное томление охватило гостей солидного ресторана павильона Жели.

Это было и возвышенно, и смешно. Ослабли тормоза привычной сдержанности, неумных дамских угодников охватило тихое безумие. Волна вожделения залила зал, одни явно и нагло бросали убийственные взгляды, делали томные лица, издали заигрывали, другие, более деликатные, только беспокойно вертелись, сверкая обольстительными улыбками. Сцена, право, не лишенная комизма, если бы в то же время оголодавшая братия не вызвала известного сочувствия.

Красавчик с черными усиками за соседним со мной столиком делал вид, что разговаривает со своим товарищем, а на самом деле бросал на девушек горящие

взгляды и в конце концов не выдержал: сорвался с места, подошел к их столу и... получил от ворот поворот — вежливый, но решительный. Девушки вскоре расплатились и, улыбаясь, вышли. Двое энтузиастов помчались было за ними, но вскоре, разочарованные, вернулись обратно.

Возбуждение в зале держалось еще довольно долго. Люди заказывали коньяк, дубонэ, анисовую и виски, чтобы сгладить впечатление и сбросить чары. Через какое-то время они совладали с собой, но на обычную громкую, оживленную беседу уже не хватило времени: было десять, и посетители начали разъезжаться по домам.

Новогоднюю ночь завсегдатаи Жели проводили шумно. Вино лилось рекой, шуму было больше, чем обычно, много песен, а после полуночи пение и вовсе не прекращалось. «Madelon» и «It is a long way to Tipperary»* пользовались неизменным успехом. Я часто просыпался в эту ночь, слышал снизу веселые возгласы гостей и ломал голову, каких успехов желали они друг другу на Новый год. Они же все-таки реалисты и не могли обманывать себя. Слушая их, можно было подумать, что это самые счастливые люди, которые безмятежно смотрят в будущее.

Безмятежно ли?

Однажды вечером в «Парадиз» пришел пожилой джентльмен, американец, видимо, моряк с корабля, стоявшего в порту, большой болтун и страшный садист. Приглашенный кем-то из французов на ужин, он просидел до поздней ночи и чего только не рассказывал размеренным, флегматичным голосом. Во время рассказа у слушателей все сильнее разгорались глаза. Оказалось, что большинство завсегдатаев заведения Жели знали английский язык и понимали американца.

В этот вечер не было остроумной французской болтовни. За соседними столиками внимательно слушали, в крайнем случае задавали короткие скромные вопросы. А неутомимый болтун не закрывал безжалостного рта и рассказывал им чудеса о Нью-Йорке. О свободе граждан, о вежливой полиции, легкой жизни и

* «Мадлон» и «Долог путь до Типперери» — популярные в 50-х годах на Западе песни.

высоких заработках, о блестящих видах на будущее — словом, обо всем том, чего так остро ощущалось недоставало французам в Гвинее. Изверг буквально упивался описанием дешевизны всех товаров в Нью-Йорке, опьяняя себя и слушателей подробностями. Эти сообщения действовали как орудия пытки. Ужин, такой, как сегодня, с вином, стоил в Нью-Йорке всего восемьдесят пять центов, а чудесный галстук модерн — доллар; франкфуртская колбаса с булочкой — пятнадцать центов, а несколько миль езды подземкой — десять.

Французы слушали, затаив дыхание, и видели все это смятенным мысленным взором. Здесь они чувствовали себя закованными в кандалы в мрачной тюрьме — там была светлая воля. Здесь их окружало бесплодие пустыни — там текло золото, молоко и мед. Сегодня они чувствовали такую же печаль, как в тот вечер, когда «Парадиз» посетили гвинейки: изголодавшиеся танталы видели соблазнительные плоды, абсолютно недосыгаемые для них.

Такая уж была их собачья доля, таковы были пристыпы их тоски.

ПОМОЩЬ

Министр информации Диоп Альсано оказался энтузиастом. С ним было приятно разговаривать. Когда я приехал к нему с визитом в обществе польского торгпреда Юзефа Скверчинского, министр очаровал меня. Он не только полностью одобрил мои намерения посетить Юкункун, Канкан и Нзерекоре, но, более того, не скупился на восхваление близлежащего побережья, советовал заглянуть в Боффу и не забыть о Боке. Кроме того, он пламенно заверил меня, что коменданты округов в глубине страны будут к моим услугам, что я буду ездить там на государственных машинах, а сопровождать меня в путешествии и помогать мне будет лично Раи Отра, правая рука министра, способный работник Государственного института исследований и документации. Тут же при нас министр позвонил Раи Отре.

Диоп Альсано в своем благородном порыве тратил

много сил на благие намерения, и было бы совсем нетрудно изобразить в злой сатире его щедрые обещания и едко посмеяться над малым дождем из большой тучи. Но это было бы нехорошо. В конце концов, мне кое-что перепало из этого дождя и я встретил в этой стране много отзывчивых и доброжелательных людей; дело в том, что Африка — не простая страна, а Гвинея — государство молодое. Молодое, но богатое такими альсано, полными воодушевления и чарующего обаяния. Они были трогательны и брали за сердце.

От министра я сразу направился к Раи Отре. Государственный институт исследований и документации находился в красивом трехэтажном здании в конце небольшого полуострова, который был продолжением Шестого бульвара. По полуострову надо было идти через прелестную рощу. С левой стороны шумели волны моря, разбиваясь о скалы. На скале стояли два белых рыбака. Когда я проходил мимо, один из них как раз тащил крупную рыбу, что ему нелегко давалось. На крючке билась полтораметровая морская щука из семейства *Spyraenidae*, тонкая как палка, с причудливо вытянутой верхней челюстью, напоминающей копье. Щука, обладавшая неиссякаемой силой, отчаянно защищалась: она то классически высоко подскакивала в воздух, то снова ныряла в глубину. Борьба продолжалась долго. Человек медленно закручивал катушку спиннинга и упорно, хоть и с трудом, подтягивал рыбу к берегу, но все-таки не совладал с ней: упрямая бестия мощным рывком сорвалась с крючка и была такова.

Под впечатлением этой борьбы я входил в Государственный институт исследований и документации.

Раи Отра работал на третьем этаже, на втором была библиотека, а внизу — этнографический музей с тем самым памятником французскому губернатору Баллею в окружении лесных духов.

Раи Отра приветствовал меня с искренней сердечностью. Он был, как я уже писал раньше, стремителен и нервозен и по обычаю африканских интеллигентов выпаливал слова быстро, как автоматные очереди. Он принадлежал к числу подвижных политических деятелей, несколько лет назад принимал участие в работе какого-то международного съезда в Варшаве и по-

мнил, что там не приходилось жаловаться на отсутствие торжественной атмосферы, хорошей еды и питья и возвышенных речей. Поэтому на карте Гвинеи он тотчас же развернул соблазнительный план нашей, то есть его и моей, поездки в Юкункун, Канкан и Нзерекоре. В порыве безмерного радушия он хотел вернуться также в Керване, на родину национального героя Самори. Что же касается программы на ближайшие дни, то он обязался организовать — по предложению министра Альсано — автомобильную поездку на несколько дней в Боке, расположенный в двухстах восьмидесяти километрах от Конакри.

Раи Отре был очарователен. Приятный разговор разжег наше, а особенно мое воображение и вселил надежду на то, что путешествие в Боке будет интересным. Все казалось близким и достижимым. К сожалению, в последующие дни это ощущение стало пропадать и чем дальше, тем туманнее становились прелестные видения: вот она, непростая Африка. Я заходил в институт каждый день и узнавал, что с машиной трудно. И речь-то шла уже не только о машине, но и о самом Раи Отре. Он был неизменно обаятелен, но с каждым разом становился все более озабоченным, лицо его с каждым днем делалось все более постным, улыбка — все более жалкой. Дело дошло до того, что, замечая меня издали, он быстро хватал телефонную трубку, как орудие самообороны, и с жаром вел разговоры до тех пор, пока я находился поблизости.

Я впал в горькое разочарование, но мое огорчение было недолгим. Я усвоил, что в этой стране надо рассчитывать только на свои силы. Раи Отре не хотелось забираться в глушь. Он был как отважная морская щука. Он защищался, и забавно — эта самозащита человека будила во мне симпатию, так же как отчаянная борьба щуки.

Как хорошо я его понимал! Он принадлежал к правительственным кругам и был одним из немногочисленных в Гвинее деятелей, которые вершили великие дела, которые, начиная с основ, почти с ничего, строили новое государство. Мало того, создавали новое общество, новое мировоззрение и еще более: раздували пламя освободительной борьбы на целом континенте. Разве можно требовать от него, чтобы он

шатался где-то по дремучим лесам, сопровождая иностранного путешественника, причем такого, который явился сюда из Европы набираться впечатлений и описывать их в какой-то книжке? В Гвинее не было еще ни своей печати, ни литературы, не было писателей, поэтов, драматургов, были только гриоты или шуты-скоморохи, а они составляли низшую, презренную касту в африканском обществе. Обладая большим жизненным опытом, Раи Отра, конечно, видел разницу между ними и мной, но, увлеченный великими целями, призванный исполнять историческую миссию, мог ли он растрачивать время впустую?

Этажом ниже, в библиотеке, я столкнулся с удивительным и забавным монстром, француженкой неопределенного возраста, то есть около тридцати пяти, брюнеткой, с внешностью тоже весьма неопределенной. Она заведовала библиотекой или чем-то вроде этого и была яростной, фанатичной сторонницей прогресса. Она любила высказывать радикальные взгляды, поражая слушателей своим деспотизмом и пламенными глазами, при этом ковыряя в носу. При первом знакомстве с ней я подумал, что такие глаза были, наверное, у Шарлотты Корде, когда она вонзала нож в сердце Марата.

Как многие фанатики, француженка отличалась мягкими движениями и нежным голосом. Когда я сообщил ей, что собираюсь ехать в Юкункун, чтобы ознакомиться там с примитивным племенем кониаги, она спокойно позволила мне кончить, а потом настойчиво заметила:

— Вы ошибаетесь, кониаги не примитивные!

А какие?

— Они голые, это так, но не примитивные!

— И они не анимисты? — удивился я.

— Религия не имеет никакого отношения к делу! — объяснила она с достоинством.

— А вам известны, — пытался я защищаться классическими аргументами, — взгляды Энгельса на народы дикие и народы варварские?

Она медленно подняла глаза и насмешливо оглядела меня.

— Хорошо известны.

Француженка внимательно разглядывала пальцы

своей левой руки, которыми минутой раньше ловко и не без грации ковыряла в носу. Немного огорошенный, я чувствовал искреннее удивление при мысли о счастье, которое мне выпало: пожалуй, такой эксцентричной бесцеремонности я в жизни своей еще не видел и, наверное, больше уже не увижу.

Несколькими днями позже, накануне отъезда в Юкункун, я заглянул в магазин «Принтания», чтобы купить на дорогу немного бисквитов. В магазине я встретил библиотекаршу, которая живо и вполне серьезно обратилась ко мне:

— Вы, наверное, изучаете здесь колебание рыночных цен?

— Нет. Изучаю, что купить в дорогу.

Она была в хорошем настроении, помогла мне выбрать бисквиты, но решительно осудила саму идею. Не импортированными из Франции бисквитами, а местными орехами надлежало мне питаться в дороге. Там, на севере, в округе Юкункун, объяснила она, выращивают земляные орехи, вкусные и питательные, а купить их можно в любой деревне. Когда я заметил, что не люблю орехов, так как они застревают между зубами, глаза ее вызывающе вспыхнули, она нахохлилась и начала меня обрабатывать, убеждая, что я должен есть орехи — непременно, безусловно, любой ценой. Эта странная особа страдала манией осчастливить человечество наперекор людям, и, дай ей власть, она, вероятно, не колеблясь подписывала бы приговоры тем, кто имел свое представление о счастье.

Милые, восторженные, возвышенные энтузиасты! В мыслях своих парите вы под облаками, смóтрите, как орлы, вдаль, но действенной помощи и совета, как ходить по земле, дать мне не сумели. Я получил эту помощь, и притом самую добросовестную, от Камары Алиуне. Это был тихий, молоденький, скромный работник библиотеки института. Невзрачный гвинеец, Камара Алиуна не принадлежал к элите, не был политическим деятелем, не был излишне тщеславен, не задирал нос, — он был лишь простым членом молодежной организации. Зато он знал, какие книги есть в библиотеке и на каких полках их искать. С мягкой улыбкой он приносил мне на стол работы, которые служили

бесценными источниками сведений о стране. Наконец-то я получил настоящую помощь. Другие бросали мне мякину — он приносил полные зерна. Я искренне полюбил его за то, что он не только очень помог мне, но и вселил веру в человека.

Э С К А П И З М *

Мы выехали из Конакри около двух часов дня. Нас было трое: секретарь нашего торгпредства Мечислав Эйбель, энергичный водитель Кваме Сума и я. Все шло прекрасно. Ясное небо, замечательное асфальтовое шоссе, отличный «ситроен», виды африканской саванны и, сверх всего, ожидание необычных впечатлений настраивали восторженно. Мы были счастливы, у нас как будто выросли крылья.

Мы пролетели знаменитое своей бдительной полицией местечко Коях и оказались среди холмов. Это были южные отроги обширного массива Фута-Джаллон. Растительность, все более свежая, свидетельствовала о влажности почвы и, особенно в долинах, образовывала густые леса. В этих зарослях, вдали от людей, водился еще промысловый зверь. Здесь находили обильную пищу дикие буйволы, попадались газели и антилопы, свирепствовал леопард, а немного дальше, к границе Сьерра-Леоне, не были редкостью и слоны.

Влажность благоприятствовала произрастанию бананов. Банановые плантации, истинное богатство Гвинеи, обращали на себя внимание ярко-зеленой окраской. Питательные дешевые плоды тысячетонным золотым потоком растекались отсюда по всему миру к радости сотен тысяч счастливых карапузов во Франции, Германии, Северной Америке. Так же просто могли они попасть и в Польшу: ведь достаточно лишь оборудовать на наших кораблях соответствующие холодильные установки, и можно привозить массу самых дешевых в мире плодов, а таможня, наверное, не стала бы брать пошлину двадцать тысяч злотых за тонну

* Уход от действительности (англ.).

бананов, как до сих пор *. А сколько радости доставило бы это питательное лакомство нашим детям!

Киндиа, расположенная в ста шестидесяти километрах от Конакри, была привлекательным местечком со станцией Института Пастера поблизости. Французы были безмерно и заслуженно горды этим учреждением. На другом конце города, на северо-западе, возвышались сглаженные пологие горы, покрытые густым лесом. Эмиля Громье, автора популярной работы о фауне Гвинеи, двадцать лет назад поражало здесь огромное разнообразие и бесчисленное множество диких зверей, особенно обезьян.

Кажется, и до сих пор это укромное место изобилует зверьем. Киндиа — это уже территория Фута-Джаллон, а Фута-Джаллон — это родина знаменитых фульбе. И верно, в дальних деревушках бросались иногда в глаза необычные фигуры. Почтенные старцы стояли перед хижинами в длинных белых одеждах — с гордой внешностью патриархов и седыми экзотическими бородами. Фульбе происходили с востока и были, кажется, хамитами со значительной примесью негроидного элемента **. У них была темная, почти черная кожа. У некоторых — длинные арабские носы и тонкие губы. Французы высокопарно называли их аристократией Африки, что не было преувеличением, судя по впечатлению, которое производили фульбе: эти мужи, как бы вышедшие из Библии, как по волшебству переносили созерцающего путешественника в другой мир, отдаленный на тысячи миль и двадцать веков.

На сердце у нас было очень хорошо. Мы улыбались людям, наслаждались живописным пейзажем, и, чтобы еще полнее насытиться его красотой, как бы приправить ее соусом, пускались в воображаемые радужные путешествия. Мы то оказывались у Вислы, то, радостные и взволнованные, попадали в Краков. Мечислав Эйбель, человек высокой культуры, в меру раз-

* С меня взяли пошлину из этого расчета в апреле 1960 г. (прим. авт.).

** Происхождение фульбе до сих пор недостаточно ясно. Большинство ученых считают, что они являются представителями средиземноморской расы, хотя язык их относится к языкам бантоидного типа (прим. ред.).

говорчивый, был прекрасным компаньоном в подобных «путешествиях». В отличном настроении мы влетали вместе с ним в «Михаликову Яму»* на младопольский кофе — конечно, с абсентом. Там, за знаменитым круглым столом, у стены одиноко сидел, дожидаясь друзей, рыжеволосый бородатый поэт Выспанский** и чертил что-то карандашом на листках бумаги: может быть, строфы о Болеславе Храбром***, а может, эскиз витража.

Но там, у Михалика, было мрачно и душно — даже в воображении моем и Эйбеля. Зато здесь, в африканской действительности, перед глазами время от времени мелькали забавные конусообразные крыши над маленькими хижинами среди пышных деревьев манго и раскидистых баобабов. Может быть, поэтому так приятно было уноситься в мечтах от стен Кракова к цветущим полям. Нас приводили в восторг Броновице и окрестные деревни, утопающие в кущах привислинских лип и тополей. Было блаженством взглянуть на голубые хаты и уютные крыши и оказаться в кругу влюбленных Тетмайера****.

Так мы упивались медом воспоминаний. И это не было ни бегством от печальной действительности в страну прекрасных грез, ни бунтом против того, что нас окружало, наоборот: именно потому, что здесь, на этой великолепной гвинейской автостраде, мы чувствовали себя так хорошо, мечта уносила нас далеко, на Вислу.

Едва зашло солнце, мы достигли города Маму, места пересечения дорог и центра страны фульбе. Немного дальше на восток лежал Тимбо, до покорения французами — достойная столица могущественного государства, сейчас — обычная деревня. Путь в триста

* Артистическое кафе в Кракове, очень популярное в начале XX в., где собирались крупнейшие представители литературы и искусства (*прим. пер.*).

** Выспанский Станислав (1869—1907) — польский драматург и живописец. Начало творчества характеризуется чертами декаданса (*прим. ред.*).

*** Болеслав Храбрый (992—1025) — польский князь. Один из любимых героев польской поэзии и исторического романа (*прим. пер.*).

**** Тетмайер Казимир (1865—1940) — польский писатель (*прим. пер.*).

десять километров от Конакри мы проделали за неполных четыре часа. Неплохо. Восемьдесят лет назад французу Сандервалю потребовалось на это сорок дней.

До сих пор мы ехали приблизительно на восток; в Маму повернули на север. В нескольких километрах от города перед нашими глазами возникла прекрасная картина: с севера летели одна за другой три огромные стаи птиц, которые образовали в своем стройном полете три гигантских клина. Двести или больше пернатых воздухоплателей, скорее всего африканских журавлей, мерно и одновременно, словно по команде, взмахивали крыльями. Крылатая армия производила огромное впечатление. Она была само величие природы.

Перед Маму мы уже перестали думать о Кракове, но стаи птиц, прилетевших с севера, выглядели почти символично и напомнили нам о недавних мечтах. Об этом с живостью сказал Эйбель:

— А вот и вестники с севера! Что за удивительное совпадение!

— А! — махнул я рукой, шутливо возражая. — Конечно, красиво, но птицы — они птицы и есть!

После захода солнца настала приятная прохлада, опускались сумерки. Дорога и горы круто поднимались вверх. Около семи часов, уже в темноте, мы поспели как раз к ужину в отель Далабы, расположенный в наиболее привлекательном в климатическом отношении месте Гвинеи. Этот отель играл примерно ту же полезную роль, что «Гранд отель» в Сопоте в мае и июне: разные важные и неважные делегации съезжались сюда не только для того, чтобы разумно обсуждать дела, но и наслаждаться великолепием окружающей природы.

Милая Далаба: двухкомнатный номер стоил здесь едва пятьсот франков, небывалая дешевизна! После душа мы почувствовали себя как юные боги и, вдыхая бодрящий свежий воздух, ощутив притом волчий аппетит, отправились ужинать. В отеле было пусто, кроме нас в зале ресторана сидела только одна пара, зато интересная: он — молодой француз, она — необычайно красивая молодая девушка. Она не была ни белой, ни черной, ни мулаткой, ни метиской. Кем же она была,

черт побери, какой-нибудь евразийкой? Взволнованные искренним интересом к этим двум, мы осторожно поглядывали на них, пока я не понял: она похожа на лаоску с примесью белой крови. Однако как могла очутиться здесь дева из Лаоса, из глубины Азии? Впрочем, бог с ним, с ее происхождением, она была очень хороша, особенно в тот момент, когда, стараясь привлечь внимание своего слегка скучающего приятеля, дарила его улыбкой. Она нам безумно нравилась и напоминала какую-то знакомую. Но кого?

— Знаю,— обрадовался Эйбель,— Лили Бадмаеву*.

Он был прав: девушка таинственной красоты была похожа на нашу Лили Бадмаеву, признанную, утонченную балерину, родную дочь тибетского врача и польки. Мы оба знали ее лично. И опять нас охватило то же чувство: девушка, похожая на Лили Бадмаеву, разожгла наше воображение, как некоторое время назад воспоминания о Кракове. Обращаясь мыслями к прелестной балерине, мы размышляли о том, где она теперь покоряет сердца: в Риме или в Париже, а может быть, в Афинах? Мы желали ей счастья и пили за ее благополучие. Потом разыгравшееся воображение понесло нас дальше: мы пытались представить себе, как держалась бы Лили, сопроводжай она нас по капризу судьбы в этом путешествии и сиди она с нами за столиком в Далабе.

— Она составила бы нам хорошую компанию! — уверял Эйбель.

Я тоже так думал.

И снова надо сказать, что это лирическое отступление в даль времен, к обольстительной балерине, совсем не было бегством от действительности к золотым снам. Напротив, мы призывали в воспоминаниях далекую девушку, чтобы эта, которая была близко, здесь, предстала в еще более ослепительном свете и еще больше нам нравилась. Это была сладостная, ужасная, коварная забава: красоту нашей Лили Бадмаевой мы приносили в жертву чужой, экзотической красавице.

Удивительный, милый день, приятный вечер. Мы с благодарностью улыбались молодой паре.

* Лили Бадмаева — балерина Варшавского театра оперы и балета, после 1945 г. выехала за границу (*прим. ред.*).

САБЛИ

Ночь была великолепная, температура упала почти до двадцати градусов тепла. Перед рассветом мы привычно дрожали от лютого холода. Утром, насладившись роскошным завтраком и не менее роскошным видом прелестной лаоски и ее паши, мы двинулись на север.

Благословен массив Фута-Джаллон: в девять было все еще прохладно, и лишь около десяти солнце начало терзать нас, хотя — хорошо еще — вполсилы. На самом солнцепеке было просто страшно, но в тени ласковый ветерок напоминал нам, что мы находимся на высоте более тысячи метров над уровнем моря. Не удивительно, что фульбе пришли в эту страну как в землю обетованную, а поселившись здесь, стали разбредаться во всех направлениях, как расшалившиеся ягнята.

Горы имели сглаженные вершины и казались очень древними, а «библейские» люди и их стада усиливали это ощущение. Однако новая жизнь бурно пробивалась здесь повсюду: деревушек было сравнительно много, везде — многочисленные стада скота. Чаще всего попадались отары овец странной окраски: овцы большей частью были белые, а головы у них черные, или наоборот.

К полудню мы достигли самого сердца страны фульбе. Здесь, между Тимбо, Маму и Лабе, до недавнего времени разворачивались великие события, людей швыряли удивительные, запутанные страсти, буйные высокие порывы. Здесь некогда в глазах сверкали кровавые отблески религиозных войн, а сабли молниеносно вырывались из красных ножен и опускались на головы африканских язычников, но еще чаще косили своих собратьев.

На потомков этих героев и рубак мы смотрели теперь из окон машины, но все эти важные события затмевала совсем иная проблема — пыль.

Что за дьявольское невезение! От Маму дорога шла не асфальтированная, а просто утрамбованная. За два с лишним месяца здесь не выпало ни капли дождя. Облако пыли, которое поднимала наша машина, как огненный лисий хвост, тянулось за нами на добрых

полкилометра. Трава, кусты и деревья, растущие поблизости от дороги, выглядели необычно под толстым слоем ржавой пыли.

Несмотря на закрытые окна, пыль проникала внутрь машины и оседала везде: на обивке, на одежде, на теле. Черные волосы Сумы стали рыжими, наши тоже. Рыжая пыль, смешиваясь с потом, образовала на лице слой, подобный цементу. Это было неудобно, но забавно. Напротив, гораздо менее забавно выглядела пыль на фотоаппаратах. Я защищал их и прятал как мог, но они все время должны были быть у меня под рукой.

А фотографировать было что! Патриархального вида люди, необязательно пожилые, но весьма примечательные, в длинных голубых бурнусах, которые здесь называют бубу*, мужи, словно сошедшие со страниц Библии,—это была фульбейская аристократия. Гордая и властная, исполненная приветливости и благородства, деликатная и надменная в обращении, при этом обладающая чрезвычайно гибким умом и сравнительно многочисленная, как в древней Польше. Фульбе пришли сюда несколько веков назад. Это были пастухи, и, как правило, пастухами фульбе и остались. Они покорили местные африканские земледельческие племена, а кого не уничтожили, тот должен был, как прежде, обрабатывать землю, только уже в качестве раба. На языке фульбе одно и то же слово означает и «работник» и «невольник». И, хотя французы официально уничтожили барщину, патриархальные обычаи сохранились здесь по сей день.

И вот, проезжая через эту страну, мы внимательно приглядывались к людям; нам было любопытно, сумеем ли мы определить, кто тут был рабом, кто господином и кто ведет происхождение от фульбейского народа. Это была нелегкая задача, в которой все переплелось и запуталось: некоторые неимущие фульбе оседали на земле и ходили за плугом, а более зажиточные кроме четырех жен, дозволенных Кораном,

* Б у б у — национальное платье африканцев. Шьется из сложенного вдвое куска ткани, в котором делают отверстие для головы. По бокам ткань сшивают, оставляя прорехи для рук (*прим. ред.*).

имели кучу легальных одалисок, которых выбирали из покоренных африканских племен. Наложницы охотно рожали им детей, так как в этом случае и матери и детям даровалась свобода. Эта плодотворная практика образовала такой этнический винегрет, что трудно было угадать, где господин, а где слуга. Фульбе — не какой-нибудь никудышный народишко; не были они и тупицами. У меня имелись все основания приглядываться к ним с исключительным интересом. Отличаясь необычной в этих краях энергией, они обладали подвижным умом, но в то же время были так упрямы, что сказанную Уинстоном Черчиллем о некоем другом народе фразу: «Они объединяют в себе все человеческие добродетели и недостатки» — можно полностью отнести и к фульбе. Политическая структура древнего государства фульбе, а также их некогда феноменальная тяга к междоусобицам казались мне чертовски близкими и мысленно переносили в XVIII век, к прелестной реке на мазовецких просторах*.

А все началось с того, что их вождь Карамоко из рода Альфа, вождь воинственный, хитрый и религиозный, к концу чрезвычайно славного царствования помешался. Будучи пылким последователем Пророка, он объединил своих единоплеменников и воодушевлял их в течение нескольких десятилетий на великие дела под захватывающим лозунгом религиозных войн против язычников-фетишистов. Бить и покорять неверных было заслугой, а кроме того, и прибыльным делом, но, когда однажды, в конце его жизни, неверные случайно нанесли временное поражение фульбе, разум гордого Карамоко не вынес этого: он сошел с ума.

Однако воин Ибрагим из рода Сори** вышел на ристалище и избавил фульбе от забот, но этот успех обернулся большим несчастьем: род Сори вскоре оперился и так задрал нос, что с этого времени, то есть со второй половины XVIII века, разгорелось кровавое

* Автор имеет в виду Вислу. Польшу в XVIII в. раздирали междоусобицы, приведшие к ее разделу (*прим. ред.*).

** Ибрагим Иоро Пате — второй после Карамоко Альфа выдающийся деятель времен «джихада» — войны против неверных. Обычно давал сигнал к началу сражений по утрам, за что получил прозвище Ибрагим Сори (Ибрагим-утро) (*прим. ред.*).

безудержное соперничество между ним и родом Альфа. Эти два рода разжигали бесчисленные гражданские войны, которые продолжались более ста лет. До сих пор еще люди Сори и Альфа смотрят друг на друга, исподлобья. Однако благодаря высокой жизнеспособности фульбе религиозные войны не угасали, они охватывали все большее число племен. Когда француз Сандерваль в 1880 году посетил Фута-Джаллон, фульбе уже разгромили язычников и гнали их вплоть до самого побережья Атлантики, ведя одновременно несколько яростных междоусобных войн, а также участвуя в большой войне между альмами * в Тимбо и Дингирае.

Еще в начале родовой распри, желая раз навсегда — как казалось фульбе — предупредить братское кровопролитие, совет вельмож и старейшин установил закон, по которому каждые два года должен был выбираться новый вождь, раз из рода Альфа, раз из рода Сори. На первый взгляд — соломоново решение. Но вместо того, чтобы объединить народ, оно стало, напротив, источником анархии, заговоров, интриг, подстрекательства и измены.

Едва выбирали какого-нибудь вождя, как мелкие царьки сговаривались подорвать его власть и выйти из-под нее. Когда наступало время новых выборов, богатые собирали своих воинов и во главе их, с большим блеском, в богатых одеждах, надменные, кичливые, задиристые, готовые к бунту, направлялись к столице Тимбо. В этом беспокойном улье брал верх тот, кто имел более многочисленную свиту из забияк, хитрее интриговал или проворнее других обнажал сабли.

У государства фульбе не было по соседству ни Екатерины Великой, ни Фридриха, поэтому, несмотря на смуты, оно существовало неплохо; более того, благодаря размаху и известной дисциплине, к которой фульбе обязывал ислам, они укреплялись и расширяли свою территорию, пока нашествие французов в конце XIX в. не положило этому предел. Завоевателям было легко овладеть разьединенным народом, который приветствовал заморских пришельцев почти как друзей и союзников.

* А л ь м а м и — местные вожди (*прим. ред.*).

Еще задолго до полудня мы прибыли в Питу, первое значительное местечко после Далабы. Мы хотели проехать его не останавливаясь, но там как раз был большой базар и собралось множество людей. Вокруг было весело, глаза разбегались от ярких красок различных плодов и тканей, облежавших стройные фигуры африканцев. Многие из них приветствовали нас дружескими улыбками. Мы остановились.

— Мы пришли им по вкусу,— заметил я.

— Они принимают нас за французов! — засмеялся Эйбель.

Во времена колониализма фульбе, разумеется, не очень везло, но французы по крайней мере не касались их патриархального строя.

Мы нырнули в толпу, улыбаясь женщинам и пожимая руки некоторым мужчинам. Женщины фульбе славились необыкновенной красотой, но особенно красивых на базаре в Пите мы не нашли. Так же тщетно я искал женщин с коками на головах — характерными прическами представительниц лучших родов, напоминающими петушиный гребень: коков не было. Либо женщины фульбе изменили прически под влиянием столичной моды, либо их не было на базаре, а мы видели только деревенских жительниц из покоренных ранее племен.

Гвинея почти совсем освободилась от французского влияния: ни во всей Пите, ни в окрестностях мы не увидели ни одного белого. Не удивительно, что наше появление было большой сенсацией — правда, не такой потрясающей и не такой откровенной, какую вызывает появление африканца на улицах Кракова или Познани. Весть о нас разнеслась молниеносно, и отовсюду начали сбегаться возбужденные мужчины с саблями в руках. Прекрасные и недорогие сабли, до половины вынутые из ножен красной кожи, угрожающе сверкали. Это были те самые сабли, которыми фульбе некогда резво секли головы и язычников, и своих единоплеменников.

Сабель вокруг нас становилось все больше, словно фульбе собирались идти в атаку. Это и была атака — правда, сдержанная и деликатная, — не военная, а меркантильная. Все сабли нам хотели продать. Число их росло, обнаженный металл светился, и светились

призывно глаза. Вероятно, время остановилось для футбольских кузнецов: они все еще жили, как и весь народ, под чарами сабель.

Чудные сабли приобретали значение какого-то дьявольского наваждения. Они были такими же призрачными, как привидения из «Свадьбы» Выспанского. Они были патетикой и гротеском, как копьё, ломающиеся о сталь танков.

ПТИЦА

«Африка перестала быть континентом для фотографов и любителей экзотики. Африка не хранит уже романтических тайн. Не только Африка стэнли и ливингстонов, но и Африка традергорнов и негритянских караванов отошла в прошлое. Сейчас...» Так авторитетно начинаются многие статьи, публикуемые в капиталистической прессе; их с серьезным выражением лица создают самоуверенные авгуры, гордые своей ультрасовременной точкой зрения.

От Питы до Лабе всего несколько десятков километров, но это своего рода этнографический заповедник — столько фульбе жило в этом округе; по статистике — больше тридцати на квадратный километр. Довольно многочисленные деревни вдоль дороги выглядели как пасеки с огромными ульями, потому что хижины были круглые, с высокими островерхими крышами, — человеческие ульи. Они были живописны, так и просились на фотографию, однако — внимание! Не забыть бы про опубликованные заявления об исчезновении экзотики в Африке!

В этих круглых хижинах гор Фута-Джаллон обитало больше миллиона фульбе, почти сорок процентов всего населения Гвинеи. Миллион воинственных, стремительных людей, искусных в политике (правда, далекой от современности), сознающих величие своего прошлого и славу религиозных войн, гордых своей национальной обособленностью и патриархальными обычаями. Какие загадки и тайны скрываются здесь? Какие перемены носятся в воздухе? На фоне этих загадок и тайн прежние тайны Черного материка могут показаться наивным примитивом.

Современная цивилизация все же проникла сюда: тракт, по которому мы ехали, был ее очевидным признаком. Этим путем можно было со всеми удобствами пересечь всю Западную Африку от Дакара до Абиджана на Береге Слоновой Кости — почти три тысячи километров. Но решишь только предприимчивый путешественник немного свернуть в сторону с этой дороги, как его машина сразу уткнется в брус — и конец.

Сначала, когда наш путь шел по вершинам, вокруг открывались сказочно широкие просторы. Где-то на горизонте промелькнет иногда, как в бинокле, деревушка, утонувшая в саванне, оплетенная незримыми путами древности. Здесь сохранилась старая, почти нетронутая Африка, Африка троп. Жители деревушки редко выходят на дорогу, а попасть к ним можно только пешком, по узкой тропе. Здесь торговцы носят товары на головах, точно так же как во времена знаменитого Традергорна пятьдесят лет назад.

Из Лабе, оживленного центра фульбейской оппозиции, наш путь лежал на северо-запад и вскоре привел нас в хаос диких, потрескавшихся, почти безлюдных гор. Здесь тоже хозяйничала оппозиция природы, все еще победоносной природы, восставшей против человека. Густой, насыщенный испарениями лес покрывал обширные долины и, вероятно, изобиловал крупным зверем. Поражало множество веерных пальм *Borassus*, которых совсем не было в населенных округах Лабе и Питы. Это были красивые и в то же время удивительные пальмы: их стволы, заметно утолщенные в центральной части, суживались выше, у кроны, и внизу, у земли. Их большие желтоватые плоды — неплохое лакомство для слонов, многочисленные стада которых, как известно, обитали в этих горах.

И стаи обезьян. Бесчисленные стаи обезьян. Только здесь становилось ясно, что Гвинею не зря называют страной обезьян. Зверьки, несколько не пугливые, нахальные, почти агрессивные, то и дело перебежали перед самой машиной или позади нее с одной стороны дороги на другую и останавливались сразу на опушке, чтобы понаблюдать за нами острым взглядом. Это были преимущественно кочкоданы, или колобусы. Нам, европейцам, привыкшим к паническому страху всякого зверья перед человеком, подобная неустраши-



..Термитники — огромные двух- и трехэтажные сооружения из глины, твердой как камень...

мость лесных зверюшек напоминала туманные представления о библейском рае или, во всяком случае, о полуполюгендарной Африке из описаний первых путешественников. Одно было точно: наглые мартышки чувствовали, что они у себя дома, и смотрели на людей с их четырехколесным зверем как на забавных, но не прошенных гостей. Забавных потому, что здешний человек по каким-то причинам не охотился на обезьян и совсем их не преследовал.

В горной стране было меньше термитников, чем до этого в открытой саванне, но все-таки они попадались и здесь. Огромные двух- и трехэтажные сооружения из глины, твердой как камень. Гнезда этих насекомых постоянно возбуждают интерес и удивление человека и все еще представляют собой загадку. Человек со всей своей мудростью и научным арсеналом потерпел здесь унижительное поражение, а хрупкие крошки, как и прежде, ревностно охраняют свои тайны. Проблема захватывающая: каким образом эти миниатюрные марсиане создали и сохранили столь сложный и удивительно стройный общественный аппарат без видимого главы, без руководящего центра? Инстинкт? Старая отговорка, теперь ее уже недостаточно.

Человеческий разум, который расширил знание и его аппарат до такой степени, что овладел уже космосом, продолжает топтаться на месте около этих ничтожных существ африканского бруса, бессильный и беспомощный. Термиты водят нас за нос, и это очень смешно.

Когда мы приближались к реке Кумба, дорога, казалось, начала опускаться, горы стали ниже. Я уже не помню, почему Сума остановил машину, важно, что он ее остановил на минуту и мы вышли.

Нас окружал лес, не горный, насыщенный влагой, скорее редковатый, хотя еще дающий тень. По одну сторону дороги лес вскоре обрывался. Здесь, в небольшой просвет между стволами и ветками, через своеобразный туннель, был виден кусочек поляны, белой в ослепительном сиянии солнца. Этот кусочек был как светлая картина в темном обрамлении лесной чащи. В самом центре этой картины была видна птица, неподвижно стоящая на земле.

Птица была большая, может быть гигантская

дрофа, может быть марабу или аист-жабиру. При ослепительном свете это было трудно определить, но в сверкающем окошке, как в фокусе линзы, она казалась невиданной, огромной, сверхъестественной, каким-то неземным видением, птицей-гигантом из африканских сказок.

В восторге я не мог отвести глаз от необыкновенного видения. Эйбель был тоже потрясен: гигантская птица, африканский лес и солнце сыграли с нами очаровательную шутку, показали романтическую, волшебную, как в грезе, картину. Черт бы побрал тех жалких мудрецов, которые видят Африку через свои непрозрачные для романтики и фантазии очки!

ГРИОТ

Река Кумба течет в узкой долине, покрытой сочной зеленью. Мы спускались к реке по крутому склону, чтобы переправиться через нее на пароме, а затем выбраться на другой берег. Большой, вероятно пятитонный, грузовик накренился в нашу сторону и, застряв на середине склона, загородил нам подъезд к парому. Оберегая свои нервы, мы приняли божье наказание со стоическим спокойствием, что называется, зажав папиросы в зубах (в переносном смысле, потому что Эйбель не курил, а у меня не было папирос под рукой).

Под грузовиком лежали два или три механика, а более десятка других знатоков пристроились вокруг на дороге, помогая добрыми советами и ободряющими возгласами. Здесь царило чувство коллективизма, так сильно развитое у африканцев. Они любят решать важнейшие дела всем миром, весело, а во время общих полевых работ обычно одни работают, а другие скрашивают им труд пением, танцами и музыкой. Эти барды призваны воодушевлять на трудовые подвиги, и, как правило, это прекрасно удается; наверное, более успешно, чем некоторым авторам европейской художественной литературы на так называемые производственные темы.

Роли вокруг грузовика определились сами собой.

Трое работали, а пятнадцать смотрели, поддерживая их рвение. Сума оказался шестнадцатым. Я подошел к самой воде — темной, глубокой, и, хотя Кумба брала начало в горах недалеко отсюда, она достигала в этом месте уже тридцати метров ширины. Несколько веков назад португальцы считали, что эту реку можно использовать как канал для распространения своего влияния, и дали ей громкое название Рио Гранде, но потом пришли французы, захватили ее верхнее и среднее течение и вернули этой части африканское название. С этих пор лишь отрезок нижнего течения реки в Португальской Гвинее называется Рио Гранде: географические названия часто бывают точным отражением поворотов истории. Интересно, когда история сделает здесь еще один шаг вперед и название Кумба дойдет до устья реки? Пока в португальской колонии тихо*.

Тишина стояла и над рекой. Кумба изобиловала, по рассказам достойных доверия людей, гиппопотамы и крокодилами, которые, разумеется, жили в укромных местах, отдаленных от деревень. Здесь, у парома, их не было, зато я заметил крупных бабочек. Впервые в Гвинее я наткнулся на такое огромное их количество. Нагретый солнцем влажный берег реки был для них раем. Никаких кавалеров *Papilio* я не увидел, зато целыми роями кружились белянки необыкновенно яркой окраски, противоречащей их названию. То и дело они садились на болотистую почву и всасывали приятную влагу, после чего взмывали в воздух и, полные невыразимого очарования, порхали, как легкие наяды. В игре бабочек было столько наслаждения солнцем, что я, глядя на них, ощущал эту радость бытия. Я был счастлив, оттого что мог все это видеть и чувствовать. Единственное, о чем я жалел, что этой красоты никто здесь не замечал. Зато какое наслаждение испытал бы, например, Ян Войтицкий из Чеховиц-Дзедзиц!

Вдоль дороги по обоим берегам реки торчали хижины; деревня называлась так же, как река, — Кумба.

* Имеется в виду колония «португальская» Гвинея, в которой, когда писалась эта книга, было действительно «тихо». Но в 1963 г. здесь началось освободительное движение, добившееся больших успехов (*прим. ред.*).

Когда я стоял у воды, к противоположному берегу подошла женщина с ребенком на спине и начала стирать принесенные тряпки. Стирая, она напевала, вернее, ритмично выкрикивала мелодичным голосом что-то похожее на кантаты. Особенность их заключалась в том, что они лились единым, непрерывным потоком и не были ни ласковой колыбельной песней, ни обычным напевом. Они звучали просто как заклинания или проклятия. Женщина пела явно в расчете на то, чтобы слышно было на другом берегу, куда кроме большого грузовика и нашей машины подъехал еще и самосвал. Суетились шоферы, кричали грузчики. Шумное нашествие, видно, было не по вкусу жителям Кумбы и вызвало протест, отсюда и магические песнопения прачки. Она все больше распалялась и все громче бубнила, бросая нам проклятия без перерыва, без усталости, без задержки,— ни на минуту не прерывая стирки. Меня поражала феноменальная выразительность, столь характерная для всех африканцев. Женщина была как бы в трансе, она словно выливалась на нас свое страдание.

Ко мне подошел Сума.

— Elle est folle! * — сказал он и посоветовал мне отойти от берега.

Сума сильно упрощал дело, приспособливаясь к европейским понятиям.

— А может быть, она колдунья? — вставил я.

— Может быть,— сказал он тише и с неопределенной улыбкой метнул взгляд в сторону женщины.

Эйбель подошел поближе.

— Со вчерашнего дня,— вздрогнул я, укаывая на прачку,— все мне напоминает Польшу...

— И эта женщина тоже? — удивился он.

— Именно она! Ее заклинания совсем как статьи в «Новой культуре».

— О господи! Каким образом? Неужели она столь прогрессивна? — засмеялся он.

— Нет, но она столь же нудна.

Развеселившийся товарищ покачал головой.

— Но есть существенная разница: женщину никто не слушает, а «Новую культуру» все читают!

* Она сумасшедшая (франц.).

— Э! К сожалению, «Новая культура» и в этом отношении поразительно похожа на эту певичку...

— А ты ядовит, однако!

— Нет, только взволнован сельской идиллией...

Шоферы и африканские путешественники, вероятно, привыкли к происшествиям такого рода и не очень обращали внимание на проклятия прачки, зато с некоторым интересом они восприняли появление на арене еще одной фигуры. На вершине крутого холма над дорогой, прямо над нами, появился голый мужчина с узенькой повязкой вокруг бедер и с пестрыми лентами, замысловато вплетенными в волосы. Это был шут, скоморох, который начал весело напевать.

— Гриот! — закричал Сума с оживлением.

— Какая-то музыкальная деревня! — заметил я.— Там эта женщина, теперь гриот...

— О нет, господин, это не одно и то же! Женщина злилась, а гриот веселый...

И правда, прачка уже не надрывалась больше, как бы уступая место более достойному сопернику.

Гриоты — эти остряки, хроникеры, поэты и пасквилянты в одном лице — представляли в лоне африканских народов и племен довольно многочисленную и замкнутую касту. В обществе, не имеющем собственной письменности, гриоты выполняли миссию литературных деятелей, и было в них что-то не только от Марчинского и Свилярского, но также и от Ивашкевича*. Это была братия, подобная странствующим актерам в Европе. Гриотов считали сбродом самой низшей категории, достойными пренебрежения наравне с бродячими ремесленниками, которые обрабатывают дерево, металл и глину. Ими помыкали так же, как знахарями, кузнецами и гончарками (горшки здесь лепят женщины). Простой оборванец, пастух, стерегущий несколько баранов своего хозяина, именно потому, что он пастух, считал себя неизмеримо выше самого остроумного гриота и никогда не отдал бы ему в жены свою дочь. Африканские гриоты немного напоминали неприкасаемых в Индии.

Каждый царек, вождь и вообще уважающий себя

* А. Марчинский, А. Свилярский, Я. Ивашкевич — современные польские писатели и публицисты (*прим. пер.*).

состоятельный человек должен был держать среди своих слуг гриота, исполнявшего самые разнообразные функции: гриот пел на всех торжественных праздниках, составлял хвалебные гимны в честь своего господина, иногда поносил его врагов в ядовитой сатире; удрученного властителя утешал веселой песней и не раз давал ему спасительные советы по вопросам правления. Часто гриот был личным другом своего господина, хотя безмерно им презираемым; нередко более состоятельный, чем его господин, он всегда был его верным агентом, принося с базара самые свежие слухи и сплетни о подданных. Гриоты занимались также воспитанием сыновей своего господина и, что самое важное, должны были подробно знать историю его рода по крайней мере в семи поколениях, а также разные другие истории и легенды.

Эти придворные шуты жили обычно как у Христа за пазухой, в то время как народные гриоты, странствующие, вели жалкую, собачью жизнь. Не имея хозяина, они скитались в одиночку по дорогам, как нищие цыгане и попрошайки. Они пели кому попало, охотнее всего — странствующим торговцам, безыскусно восхваляли их. Горе тому, кто поскупился вознаградить их надлежащим образом. Веселые шутники имели страшно злые языки и, если кто-нибудь их задевал, на глазах у толпы и к ее удовольствию превращались из любезных льстецов в язвительных бунтарей.

Вот такой-то гриот и появился на холме при дороге и напевал прямо над нашими головами, весело размахивая руками и корча рожи. Потом он начал спускаться с крутой горы вниз довольно смешным способом, задом наперед, похваляясь своей акробатической ловкостью.

Десятью прыжками спрыгнув на дорогу, он выбрал меня своей целью и, остановившись поблизости, начал петь. На этот раз не на языке фульбе, а на ломаном, но кое-как понятном французском. Его глаза светились дьявольским умом. Это был человек с внешнестью записного циника, но выражение лица было жалобно-просительным и одновременно нагловатым. Он сразу взял самый высокий тон и начал превозносить меня до небес в одной лишь превосходной степени: что я прекраснейший, сильнейший, богатейший, умней-

ший и мое присутствие здесь — честь и слава для страны.

Ей-богу, так и воспевал: «честь и слава», поэтому, когда он на мгновение перевел дух, я грубовато прервал его:

— Эй, браток, не валяй дурака! Перестань, черт возьми!

В растерянности он смотрел на меня со зловещим удивлением.

— Ты ведь гриот, ты поэт, — возмущался я. — И меня, своего коллегу, ты хочешь так провести?

— И ты тоже гриот? — ахнул малый, и лицо его приняло доброжелательное выражение.

— Не гриот, — ответил я, — потому что в моей стране нет странствующих гриотов, зато есть писатели! Я литератор и, значит, твой коллега!

— Ты сочиняешь гимны в честь властителей? — спросил он, ошеломленный.

— Стараюсь, как могу, но у других больше опыта в этом деле...

Я сбил его с толку. Он не ожидал с моей стороны столь энергичного отпора. Он сразу обмяк, поник, циничность его пропала. Он понял, что ничего из меня не вытянет, и по его грустной физиономии было видно, что он смирился с этим фактом. Он совсем скис. Мне стало его искренне жаль.

Тем временем большой грузовик был исправлен и двинулся, открывая путь к парому. Сума уже заводил мотор нашего «ситроена». Прежде чем подойти к парому, я быстро вложил стофранковую бумажку в руку гриота. Шельма так обрадовался этому сюрпризу, что немедленно вспомнил о своих обязанностях и громким голосом запел мне вслед. И я снова услышал, какой я энергичный, на какие великие дела способен, сколько я сделал для человечества, какой я благородный писатель, благословенный талантами, создатель великих произведений, любимец богов, сеющий добро...

Гриот пел и пел. Паром двинулся, а восторженная оценка моей литературной деятельности неслась к нам с берега реки сквозь феерическое скопление порхающих бабочек, над дремлющими под водой гиппопотамами. Мы уже переплыли реку, а эта позитивная

критика была слышна и на другом берегу реки. Река уже скрылась за холмом, и песнь добросовестно работающего гриота, приглушенная расстоянием, стала затихать.

БЕЗОПАСНО

К вечеру, в пять часов шестнадцать минут, в нашем «ситроене» раздался вдруг зловещий стук и странный треск. Сума сразу затормозил, свернул в сторону и остановил машину на обочине дороги. За нами на десяток метров тянулась по земле подозрительная дорожка темной жидкости. Шасси уродливо опустилось, словно у машины дрогнули колени и она повесила нос. Когда мы подняли капот и заглянули внутрь, пришла наша очередь вешать нос: порвалась прокладка амортизатора, и стоило завести мотор, как из лопнувшей трубки игриво и резво брызгало масло. Мы застряли, и притом намертво, в полном безлюдье.

Можно было просто лопнуть со злости; поэтому, чтобы не лопнуть, мы тут же выработали правильное отношение к случившемуся: прекрасный ужин и удобные постели миллионеров, которые ждали нас за несколько десятков километров отсюда в отеле города Самбаило,— вздор. У нас было с собой несколько бисквитов, а спать мы могли в машине. Спартанцы на час. Это точно: нет худа без добра. Сума, который немного струхнул, так как был полон старых суеверий, пугал нас обилием львов в окрестностях, но что там львы! В случае чего мы напугали бы их громкими криками, были бы недурные впечатления, и было бы о чем писать, а сбитые с толку бестии непременно удрали бы. Львы в противоположность обезьянам боятся человека. Оружие у нас было такое, что просто смех: общий столовый нож, конечно тупой, у меня — маленький перочинный ножик из Польши, да у Сумы что-то вроде этого.

Позднее я хорошо представил себе, что мы тогда чувствовали, и констатировал, как сильно изменились категории человеческих отношений в последнее время и какое огромное доверие вызывала Африка в сравнении, например, с авантюристической Европой.

Наше спокойствие объяснялось ни молодечеством, ни усталостью, ни тем, что мы отдавали себе отчет в опасностях, которые могли бы нам угрожать. Ведь машина сломалась в дикой глуши, вдали от человеческих поселений.

И, если в этот момент нам ни на минуту не пришло в голову, что мы — безоружные в этом безлюдье — могли пасть жертвой бандитов, то просто потому, что этих бандитов здесь, в глубине Африки, не было. В Африке было несравненно спокойнее, чем в Европе, а африканцы — менее испорчены, менее преступны, более человечны и доброжелательны, чем мы, европейцы.

Конечно, рассуждая здраво, наше положение не исключало появления какого-нибудь льва-людоеда или фанатика фульбе, настроенного против нас хотя бы прачкой из Кумбы. Наконец, ночью могло произойти множество других неприятностей, возможно роковых. Но мы не забивали себе этим голову. До чего же изменился человек. До чего же иной стала для него мера опасностей и изменилась степень их ощущения! То, что двадцать лет назад в джунглях Амазонки или непроходимых дебрях Мадагаскара еще заставляло трепетать от страха, сегодня казалось смешным перед лицом других опасностей, таких, как повышение степени радиации.

Сума пытался заткнуть веточками трубку амортизатора. Но стоило завести мотор, как веточки стремительно и на редкость комично вылетали и масло вновь начинало брызгать. Сума повторял свои бесплодные попытки; Эйбель и я немногим могли здесь ему помочь.

От нечего делать я снова просмотрел несколько французских иллюстрированных еженедельников, захваченных из Конакри. Судя по ним, можно было подумать, что мир был потрясен лишь двумя важнейшими событиями: неожиданной смертью киноактера Жерара Филиппа и решением вопроса, родит ли мальчика красавица Фарах, когда на ней женится шах Ирана, которому срочно нужен наследник престола, — вопроса, который крупные еженедельники обсуждали отнюдь не как тему для веселой оперетки.

На минутку оторвавшись от мира фута-джаллон-

ского бруса, я с особенной отчетливостью ощутил все это смешное безумие разнузданных невропатов, когда вдруг на фоне этой отдаленной суеты меня потрясло новое поразительное явление: тишина вокруг нас.

ПАВИАНЫ

Не было ни малейшего ветерка. Абсолютная, совершенно полная неподвижность воздуха создавала иллюзию, что мы находимся внутри огромного стеклянного колпака, а окружающая природа замерла в летаргическом сне. И ко всему этому странное солнце. Оно еще не зашло, но, закрытое пылью, поднятой харматтаном, было невидимо для глаз, и от этого казалось, что все небо излучает неестественный молочный свет. При этом освещении, при полной неподвижности природы все казалось нереальным.

Под вечер мы слышали диких гвинейских голубей. Звук их приглушенного воркования, казалось, был искажен пространством, как голос в пустом зале. Было трудно определить, в какой стороне сидели птицы и как далеко,— может, в ста метрах, может, в тысяче?

Дорога тянулась в обоих направлениях прямая, как шнур. Один раз вдали промелькнули антилопы. Было видно множество обезьяньих стай, переходящих через дорогу. Обезьяны всегда проявляли к нам интерес. Они останавливались посреди дороги, даже когда появлялись совсем близко, и, только рассмотрев нас, двигались дальше. Как всегда, нас поражало огромное количество этих животных. Удивительно было и другое: несмотря на то что обезьяны двигались, всеобщий покой и тишина в природе совершенно не нарушались; животные возникали, словно на экране, как бы вне реальности, и так же исчезали.

В этих краях саванна была исключительно сухая: чувствовалась близость Сахары. Кое-где еще попадались заросли деревьев, но не слишком обширные и густые. В этой местности преобладали открытые места, изредка поросшие кустарником. Взгляд проникал далеко в глубь бруса, нередко на целые километры.

Так выглядела бóльшая часть Африки, однако именно там, среди этой скудной растительности, было больше всего крупного зверя, больше, чем в буйных тропических дебрях.

Самыми удивительными казались бовали (так назывались небольшие прогалины, почти пустынные). Видимо, на них когда-то росла густая трава, но частые пожары привели к тому, что поверхность земли затвердела от огня как камень и сделалась черной и бесплодной.

Эти бовали, оазисы бесплодия и печали, были в то же время средоточием необычного. Вместо растений здесь вырастали термитники, мазанки, слепленные термитами,— холмики грибовидной формы, около полуметра в высоту и ширину. Где только были бовали, им непременно сопутствовали целые плантации этих фантастических грибов, стоящих сотнями один около другого, как призраки. Какая таинственная причина заставляла термитов строить свои жилища на совершенно бесплодной земле, вдалеке от растительной жизни и всегда в форме таких шапочек?

Один из таких грибов, небольшого размера, я без усилия вырвал из земли. Это был черноватый ком, твердый, как цемент. Термитов в нем не было, видимо, их гнездо находилось глубже в земле, а грибок они сделали просто как наземную надстройку. Метеорологическая вышка? Может быть.

Эйбель сфотографировал меня с грибом, но фотография оказалась неудачной, потому что в человеческих руках гриб, к сожалению, утратил свою выразительность и необычность. Он как бы покорился, стал будничным, сник и опошлился. Оторвавшись от земли, он утратил силы, как античный Антей.

Метрах в трехстах от нас через дорогу переходила стая крупных обезьян. Животные, вдвое сильнее, чем виденные нами до сих пор, имели мощную грудь, довольно высокий лоб и удлиненные морды. Я узнал их по этим мордам и хвостам, у основания задранным вверх, а потом опускающимся к земле. Это были павианы; само собой, они приковали мое внимание. Вооруженный фотоаппаратом и биноклем, я двинулся по дороге в их сторону.

Их было, пожалуй, около тридцати. Они перехо-

дили дорогу по двое, по трое, спокойно, обдуманно, не торопясь, очень уверенные в себе, с гордой осанкой. Невозмутимостью и сознанием своей силы они напоминали англичан былых времен. Самки с молодняком не задерживались. Зато все самцы, которых я различал по более плотному сложению, останавливались на дороге, окидывали быстрым взглядом приближающегося человека, после чего серьезно, как бы удовлетворенные наблюдениями, ныряли в придорожные кусты.

В самом конце стаи, наверное меньше чем в двухстах метрах от меня, медленно шагала глава рода, старый самец. Осанистый, хотя и не крупнее других самцов, весь покрытый седой шерстью, он держался деспотически. Как властелин, который, видимо, чувствует себя ответственным за честь и безопасность стаи, он считал, что надо нагнать на меня страху и выразить свое пренебрежение. И вот он нахмурил лоб, соорудил несколько потешных рож, оскалил на меня огромные клыки и, гортанно проворчав что-то оскорбительное, полный высокомерия, удалился со сцены.

Павианы, как и шимпанзе,— самые крупные обезьяны Западной Африки. Они считаются наиболее агрессивными и смелыми животными страны. Морды у них, как у собак, но зубы истинно волчьи. Правда, необычайную силу своих челюстей они используют только в целях обороны. Наверное, тогда они страшны. Леопарды, питающиеся главным образом обезьяньим мясом, с легкостью расправляются с двумя или тремя павианами, но за нападение на крупную стаю часто расплачиваются жизнью. С львами обезьяны как будто тоже борются до последнего. Люди боятся их, как чертей, и в почтительном страхе обходят некоторые участки лесов, где их водится особенно много. Зато павианы ничуть не боятся людей; случалось, что обезьяны в ярости забрасывали камнями охотника, если он решался охотиться на них и неблагоразумно ранил или убивал какую-нибудь обезьяну из стаи.

Павианы, к которым я осторожно подходил, перебрались через узкую полосу придорожного кустарника и рассыпались по прилегающему пустому бовалю. Шаг за шагом они направлялись к лесу, отдаленному при-

мерно метров на сто пятьдесят, но, едва достигнув деревьев, остановились. Все уселись на зады фронтом ко мне и неподвижно застыли. Имея обеспеченный тыл, павианы понимали, что им уже ничего не угрожает со стороны двуногого чудовища без ружья и лука. Вот они и присели тихонько, с интересом следя за моими дальнейшими действиями. Они казались серыми пятнами на серой земле. Я никогда не обнаружил бы их в этой прекрасной защитной одежде, если бы не знал, где они присели.

Я дошел до того места дороги, откуда было ближе всего до обезьян, и остановился. Я видел их как на ладони, и некоторое время мы смотрели друг на друга с напряженным вниманием. Ну, что же будет дальше?

В бовале передо мной тянулся узкий след от высохшего ручейка; там росло одно из этих красивых деревьев, которые Эйбель назвал как-то тюльпановым деревом. Собственно, это лилиодендрон из семейства магнолиевых. Сейчас на нем не было листьев, зато все ветви покрывала густая шапка фантастически красных цветов, очень похожих по форме на великолепные тюльпаны.

Дерево выглядело очаровательно. Оно пламенело на фоне пустынного боваля, как сказочный букет из красной вуали, предназначенный для африканской сказочной принцессы; и потому что оно стояло на половине дороги до павианов, как раз напротив них, так и просилась на язык какая-нибудь метафора, какое-нибудь изощренное сопоставление прелести цветов с отвратительным безобразием обезьян. Но, прежде чем мне что-нибудь пришло в голову, в стае обезьян произошли чрезвычайные события, которые приковали мое внимание.

Маленькой обезьянке, совсем ребенку, надоело это сидение, и она начала беспокойно вертеться. Почтенный самец, вожак стаи, рассерженный непослушанием, подскочил к карапузу и вlepил ему оплеуху, такую звонкую, что звук удара донесся до самой дороги. Детеныш отчаянно ревел, и старик опять хотел его шлепнуть. Но тут подскочил один из взрослых самцов, вероятно отец малыша, и грозно оскалился на разъяренного вожака. Тот застыл и весь взъерошился. Оба самца были одного роста, одинаково плечистые,

только один старый, другой молодой. Запахло недурной дракой.

Старый, весь вздыбленный, медленно придвинулся к молодому, но тот не отступил и продолжал угрожать огромными клыками. Больше того, он вдруг сорвался с места и бросился на вожака, чтобы зубами вцепиться ему в горло. Старик молниеносно, с неправдоподобной силой ударил его по морде и стал осыпать градом таких страшных ударов, что сразу взял верх над противником. Тому расхотелось бунтовать. Подвывая, он сначала медленно отступал, а потом взял ноги в руки и обратился в стремительное бегство, спасаясь в чаще леса. На поле боя остался обезьяний вожак, и надо было видеть, как он напыжился и каким властным взором оглядывал других павианов. Цезарь по сравнению с ним был младенцем, балабошкой, пижоном. Это выглядело так комично, что я громко рассмеялся.

Мне стало смешно еще и по другой причине: в памяти всплыл один эпизод прошедших лет.

Года два или три спустя после второй мировой войны мне в руки попала одна довольно популярная в то время детская книжка, изданная в Польше, ни названия которой, ни фамилии автора я, к сожалению, не помню. В книге красочно, хотя и наивно, описывалась жизнь животных в Татрах, и, между прочим, приключения стада коз. Писательница, совершенно уверенная в том, что новое всегда одерживает победу над старым, сегодняшнее — над вчерашним, что молодое побивает старое, представила в книге эти мудрые истины с немалым воодушевлением. Например, она приказала молодому козленку*, как она его назвала, начать бунт против власти почтенного вожака и нанести ему поражение крепкими рогами. И вот наш удалец геройски бросился на старого козла, избил его рогами до полусмерти и, проучив, прогнал на все четыре стороны. Потом этот энергичный герой сам захватил власть над стадом и приобрел гарем козочек (об этом, конечно, было сказано в осторожных выра-

* Непереводимая игра слов: польск. сар, сариógek — козел, баран, козленок, барашек, но и болван, дурак (*прим. пер.*).

жениях, принимая во внимание юный возраст читателей).

Натуралисты, читавшие тогда эту невероятную чушь, подозрительно качали головами, но, будучи приверженцами старых взглядов, они не смели поднять голоса; ведь иначе они наверняка оказались бы неправыми в глазах излишне усердных реформистов природы.

Я вспоминал об этом, когда на моих глазах старый холерик павиан устроил взбучку молодому детине, а другие здоровенные детины не отважились прийти на помощь неудачнику,— и мне стало смешно. А они непослушные, эти обезьяны, отсталые обыватели! К новым обычаям, которые ввела в среду животных услужливая писательница, они отнеслись бессовестно, с достойным осуждения неуважением и своей обезьяньей недисциплинированностью подорвали авторитет автора.

Самолюбивые обезьяны (а они действительно самолюбивы), однако, не любили человеческого смеха. Я вспугнул их. Когда пять минут спустя я в обществе Эйбеля достиг опушки зарослей, где только что находилась стая, все обезьяны, само собой, уже исчезли в чаще, оставив после себя мерзкий, дьявольский смрад: видно, все они, разглядывая меня, от волнения как следует нагадили.

Возвращаясь на дорогу, я прошел под тюльпановым деревом. И вправду, оно было необыкновенно, какое-то огненное неистовство, все в порыве пурпурного цветения.

Мне припомнилось, что я перед этим хотел остроумно сравнить стаю павианов с красой дерева, но сравнение куда-то исчезло. Настроение пропало. Вспыльчивый самец изменил направление моих мыслей, а потом еще добавилось это зловоние. Тирада о дереве так и не получила своего воплощения,

Б Л А Г О Р О Д С Т В О

Вскоре после захода солнца подъехал автобус, который шел от самого Дакара до Маму, всего каких-нибудь тысячу сто километров. Водитель, гвинеец,

видя, что с нами что-то стряслось, остановил машину, после чего из небольшого кузова высыпалось невероятное множество людей — человек тридцать африканцев обоёго пола и один белый.

Это был молодой швейцарец, который ехал из Европы в Конго. Ему стало скучно на корабле, поэтому он сошел в Дакаре, с тем чтобы добраться по суше на автобусах до самой Монровии в Либерии и там снова перехватить свой корабль: две тысячи километров тряски, красной пыли и возможность взглянуть на десяток племен. Он был фантазер, этот замечательный малый.

Не менее замечательным малым оказался водитель автобуса. Он дружески кивнул Суме в знак приветствия и сразу вместе со своими инструментами до половины скрылся под капотом большой машины. Остальные, то есть двадцать девять путешественников, стояли вокруг и, как водится, помогали ему шутивными советами, веселым острословием, всячески развлекая его. Я уже знал эту манеру помогать веселой шуткой, обязательной при любой работе африканца, если работа требовала быстроты рук. Однако больше всего меня удивляло добродушие и невозмутимость этих людей: ведь было уже почти темно, а после целого дня езды, наверное, каждый чувствовал голод и усталость. Между тем они были полны воодушевления и радовались, что могут нам помочь. Несколько иначе выглядело бы это в Европе или Америке.

И правда, помогли. Чужому водителю удалось скрепить проклятую трубку амортизатора. Клещи у него были лучше, чем у Сумы, а может быть, и руки тоже. Довольно того, что масло уже не брызгало; мы могли двинуться дальше. И снова сюрприз: водитель отказался принять плату, хотя промучился добрых полчаса. Чуть не силой я сунул ему в карман двести франков и пачку сигарет.

Когда спасительный автобус уехал, было темно, звезды искрами сверкали на небе. Шум человеческих голосов стих, и голоса природы снова достигли наших ушей. Из чащи доносилось множество загадочных звуков. Сначала мы думали, что это крики птиц. Было слышно стрекотание, бульканье, шипение, хохот. Бог знает что. Мы не имели ни малейшего понятия о том,

кто издавал эти звуки. И, бросив всякие догадки, двинулись в путь.

Масло не текло, но амортизатор все-таки был испорчен и шасси низко лежало на осях, как раненая птица в гнезде, поэтому тащились мы медленно и осторожно. Горы были позади. Вероятно, массив Фута-Джаллон кончился и переходил в плоскогорье, которое опускалось к северу и востоку. Дорога тянулась прямо как стрела, но была вся в выбоинах, засыпанных крупным гравием. Каждую минуту металлическая рама с ужасным скрежетом терлась о песчаные насыпи, а там, где гравия было побольше, машина останавливалась как вкопанная. Несколько раз мы выскакивали из нее и подталкивали автомобиль в поте лица; наконец через час езды «ситроен» завяз как следует и его нельзя было двинуть ни взад, ни вперед. Южный Крест романтично сиял в небе, но на душе у нас было вовсе не романтично и не до звезд нам было...

К счастью, неожиданно появился еще один автобус, переполненный людьми, снова на редкость доброжелательными, всегда готовыми прийти на помощь. Во главе с водителем они гурьбой вывалились из машины и окружили нас. Узнав, в чем дело, они принесли насос (у Сумы насоса не было), мигом подкачали наши камеры, чтобы колеса поднялись повыше, затем вместе, в двадцать пар рук, со смехом вытащили машину на твердый грунт и, довольные тем, что сделали, поехали дальше. Плата? Награда? Ни за что в жизни, об этом не может быть и речи!

Это была паршивая ночь, но было в ней что-то из «Тысячи и одной»...

И вот мы снова двинулись. К несчастью, гнусная дорога, полная завалов из песка, оказалась не по силам нашей развалюхе: через несколько километров мы завязли в одной из осыпей — и на этот раз намертво. Было девять часов. На помощь мы почти не надеялись.

— Запас добрых людей исчерпан! — кисло выдохнул я. — Наверное, здесь и заночуем.

— Ничего другого нам не осталось, — буркнул Эйбель и через минуту добавил с легкой насмешкой: — И подумать только, что всего двадцать четыре часа назад мы мечтали о Лили Бадмаевой.

— Неправда!— возопил я.— Это было полвека назад...

Из бруса уже не доносилось такого множества звуков, как вскоре после наступления ночи, однако время от времени мы слышали какое-то глухое бормотание: не то стоны, не то ворчание. Это могли быть и жабы, и львы, бес их там знает. Минутой раньше, чем машина остановилась, в свете фар как молния промелькнул пятнистый хищник, пересекавший наш путь. Сума уверял, что это леопард, но для леопарда зверь был слишком мал; наверное, промелькнула циветта*.

Мы улеглись на сиденьях как можно удобнее, закрыли окна, уверяя себя, что от холода, и, погасив все огни, сразу уснули.

Из беспробудного сна нас вырвал ослепительный свет, ворвавшийся внутрь машины, словно яростный блеск глаз апокалиптического чудовища. Это был еще один автобус. Я посмотрел на часы: ровно полночь. Приехавшие люди думали, что мы мертвы. Их выпало несколько десятков с оживленным «хэлло!», однако, несмотря на добрые намерения и усилия, они не сумели сдвинуть «ситроен»: он увяз слишком крепко. Тогда их водитель прицепил его к своей колымаге, и это сразу принесло свои плоды: машина, вытянутая из трясины, могла шлепать дальше своими силами. Мы отвели отзывчивого шофера в сторону, упрашивая принять что-нибудь от нас в знак благодарности. Он возмутился и ничего не принял.

— Лучше угостите меня сигареткой! — восторженно воскликнул он.

Но у нас, как назло, не было сигарет, последнюю пачку мы уже отдали.

— Ничего,— добродушно засмеялся он, пассажиры его поддержали, и вся компания с криком, смехом и песнями полезла в автобус.

Испытания этой ночи потрясли меня. Беда, в которую мы попали, открыла природные достоинства африканцев: их удивительную жизнерадостность, отзывчивость, высокое чувство коллективизма. Среди водителей на дорогах Африки процветало такое чувство брат-

* Циветта — хищное млекопитающее из семейства виверровых, величиной с небольшую собаку; ведет ночной образ жизни (прим. пер.).

ства, о каком на других континентах не имеют понятия. Люди, которые оказали нам помощь, не знали, кто мы такие, и, несмотря на это, от всей души, бескорыстно торопились нам помочь. Эти борцы за новую Африку были товарищами по оружию, связанными общим фронтом, своего рода джентльменами, творящими современное понятие рыцарства.

И это не только в Гвинее. Несколько месяцев спустя я нашел подтверждение этому в Гане. По сравнению с тем пренебрежением (очень хочется сказать — хамством), с которым нередко приходится встречаться на дорогах Европы, в частности Польши, обходительность африканских водителей могла показаться просто ошеломляющей. Это была вежливость абсолютная, безусловная, не знающая исключений. Обгоняемая машина не только со всей учтивостью уступала дорогу, но, кроме того, водитель ее всегда — я подчеркиваю: всегда — делал дружеский жест рукой, приглашая проехать вперед.

Мы снова двинулись, и теперь дело пошло лучше. Сума научился перебираться через песчаные преграды, давая полный газ. В два часа ночи мы счастливо добрались до Кундары, недурного городишка, который еще не спал: этой ночью здесь происходил бал, и из громкоговорителя лились европейские мелодии попеременно с грохотом тамтамов.

На темной улице стоял какой-то господин в черных брюках и белой рубашке с галстуком. Франт оказался старостой административного центра в Кумбиа, а когда он внимательно прочитал бумагу Главного управления Союза польских писателей, которая препоручала меня гвинейским властям как человека, не имеющего дурных намерений, он весь превратился в сердечность и окружил нас заботой, как родной брат. Правда, он не мог предоставить нам ночлега у себя, так как у него было полно гостей, но поместил измученный «ситроен» в Кумбиа, а нас, Эйбея и меня, отправил на своем грузовичке в Самбаило, за двадцать километров отсюда, где находился европейский отель француза Вильфара для приезжающих на охоту миллионеров. В этом отеле, хотели мы того или не хотели, нам предстояло жить.

Вильфара не было. Администратор отеля мадам

Шамбалье, француженка, любезно встала с ложа и проводила новых постояльцев на ночлег в расположенное неподалеку бунгало. Мне ужасно хотелось спать, а Эйбель был не прочь выпить чего-нибудь теплого. Он вежливо спросил, нельзя ли вскипятить немного воды для чая.

Мадам Шамбалье была искренне удивлена.

— Но ведь кухня в это время закрыта! — воскликнула она.

Нам не оставалось ничего другого, как примириться.

— *Mon cher ami!* * — сказал я Эйбелю. — Вот мы и снова среди белых людей...

С Е Р А Л ь

Холодный душ ночью, пять часов здорового сна в удобной постели и душ утром чудесным образом поставили нас на ноги. Мы встали в восемь в прекрасном настроении, готовые обнять весь мир. А мир этим утром был исключительно мил и ласков к нам, как будто хотел загладить вчерашние неприятности.

Когда мы открыли бунгало, чтобы выйти на улицу, нас приветствовало у двери самое прелестное животное бруса, красавица антилопа мина. Большие, закругленные, похожие на ложки уши и белые полосы на теле были нам знакомы. Такую же антилопу, только молодую, получил от Сумы маленький Петрусь в Конакри, а это была взрослая, величиной с нашу серну. Антилопа оказалась ручной, но все же избегала прикосновения человеческих рук, что явно свидетельствовало о ее благоразумии: прикосновение руки человека никогда не приносило ничего хорошего лесному зверю. Это была ласковая коза без рогов; скандальный рогатый самец мог бы дать жару постояльцам отеля.

Здесь же все было направлено на то, чтобы ослепить, расположить и очаровать постояльцев, богатых туристов. Бунгало, в котором мы спали, походило на сказочное: оно представляло собой точную, хотя и в несколько раз увеличенную копию здешних круглых

* *Мой дорогой друг! (франц.).*

хижин с остроконечной крышей и соединяло в себе их экзотическую живописность с комфортабельным, по-европейски изысканным внутренним убранством. Несколько таких прелестных бунгало-ульев окружали центральный павильон с прохладными залами, где подавали еду. Там, на стенах, рядом с пышными охотничьими трофеями и слоновыми бивнями, красовались и приковывали очарованный взгляд великолепные образцы африканского национального искусства: разнообразное оружие, маски, резные украшения, огненные килимы*.

Так что, когда мы уселись завтракать, нам было не что посмотреть. После вчерашнего поста завтрак казался вкусным, как еще ни разу в Африке: свежий, прекрасно выпеченный хлеб, лучший в мире — французский, застывшее масло из холодильника, крепкий горячий кофе с холодным молоком — вот это были лакомства! От вкусной еды мы разнежались, развеселились, как от старого вина.

Мечислав Эйбель, несравненный рассказчик и мастер создавать приятное настроение, был в ударе. Он жил когда-то на Корсике и имел там много друзей, и вот сейчас начал о них рассказывать. Далекий остров и друзья ожили, оказались здесь, с нами, в волшебном отеле Вильфара. Что за удивительное наслаждение: мы неслись в разыгравшемся воображении к самым берегам скалистого острова, к опаленным солнцем людям — и, насладившись их сердечной улыбкой, возвращались в Самбаило. Здесь в свою очередь мы наполняли флюидами радости таинственные маски лесных чудовищ, скульптурки прекрасных женщин фульбе, вырезанные из эбенового дерева, и даже набитые головы чучел — охотничьих трофеев. Приятная и забавная игра.

Однако самым фантастическим был здесь сад. Он окружал веранду и жилые бунгало каким-то неистовством растительности. Это была оргия зелени и громадных красных цветов, еще более поразительных благодаря тщательному уходу. С раннего утра черные бои выливали в сад гектолитры воды и таким способом создали волшебный оазис в полупустынном краю, даже

* К и л и м — ковер ручной работы (прим. пер.).

в сезон опаленной земли, пыльных туманов и выжженной травы. И хочешь не хочешь, именно в результате этих крайних противоположностей человек чувствовал себя здесь как в раю, как в саду Семирамиды. Все здесь поражало, приводило в восторг, более того, навязывало непреодолимую иллюзию, что переживаешь наяву какую-то необыкновенную сказку. А ведь именно этого хотел достичь волшебник Вильфар и за это считал себя вправе вытягивать доллары из разбогатевших обывателей.

Несмотря на все это великолепие, я старался — хотя бы для приличия — принимать его с некоторым критцизмом. В конце концов, вложив огромные деньги, конечно, можно было развести эту красоту в глуши, искусственно создать сказочные джунгли, собрать коллекции, поставить живописные бунгало, потчевать гостей свежим французским хлебом и виски со льдом, отгородиться от мира высокой стеной, запустить несколько очаровательных антилоп, умильно ласкающихся к гостям, — все это, в конце концов, возможно для человеческого разума. Но Вильфар действительно оказался волшебником. Каким-то образом он сумел привлечь в свой сад великолепнейших бабочек!

На протяжении последних ста километров, с момента переправы через реку Кумба, мы не видели буквально ни одной бабочки, ни дневной, ни ночной, и, наверное, на высохшей саванне вокруг Самбаило их было немного или совсем не было. А тут — такая масса бабочек резвилась в воздухе, словно насекомые собирались здесь специально. Огромный рой бабочек был не менее привлекателен, чем антилопы и красные цветы, а для меня это была наиболее приятная неожиданность.

Задавали тон два вида: энергичный кавалер *Demosdocus* и мягкий, как бы избалованный *Danais chrisippus*, красивый парусник из семейства *Papilis*, вдвое крупнее нашего королевского пажа, только без хвоста. Его считают бродягой, потому что он столь же величественно порхает и в противоположной, восточной стороне Африки. Ба, я любовался великолепным путешественником даже на Мадагаскаре. В Конакри, где я его недавно видел, он был насторожен и пуглив как дикарь, здесь же, в Самбаило, — напротив, смиренный бара-

шек, хоть в руки бери. Он никого не боялся, сидел на красивых цветах на расстоянии шага от человека, его можно было фотографировать с близкого расстояния и ловить — если надо — сколько душе угодно.

Одна подробность наверняка огорчила бы энтомолога Яна Войтицкого: все демодокусы были сильно потрепаны, крылья попорчены. Они не годились для коллекций. Видимо, они много месяцев летали по Африке и теперь, наслаждаясь близостью нектара вильфарового сада, не думали расставаться с этой сладкой жизнью.

Другой род, *Danais chrisippus*, здесь также распространен и так же прекрасен, хотя бабочки были не такие крупные, как демодокусы. Крылья у них светлокоричневые, каштановые и очень темные, цвета темного пива, и при этом много белого; все цвета представлялись в таком великолепном и причудливом сочетании, что, когда бабочка летела, она казалась красочным видением, как будто волшебный мотылек посылал миру сигналы, полные приветливости, очарования и надежды.

Итак, Вильфар создал здесь роскошное предприятие для жадных до африканской природы туристов. По ту сторону проходящей неподалеку границы, уже на территории Федерации Мали*, по соседству с большим заповедником, у Вильфара был другой такой же отель, который обслуживался вышколенным персоналом. За высокую плату — и платить было за что — здесь выполнялись все пожелания и капризы гостей: кто хочет фотографировать диких зверей, того подводят к ним на несколько десятков шагов; кто хочет убить крупную антилопу, тому отличные загонщики показывают цель поблизости от заповедника; кто хочет поохотиться на льва, того обслуживает сам Вильфар в

* В 1959 г. страны бывшей Французской Западной Африки приняли решение о создании федеративного объединения — Федерации Мали. В июне 1960 г. Федерация Мали (в составе Судана и Сенегала) получила независимость в рамках Французского сообщества. Однако вскоре Сенегал заявил о своем выходе из Федерации. В сентябре 1960 г. Судан провозгласил себя независимым государством — Республикой Мали, — свободным от всяких обязательств в отношении Франции. В то время, когда А. Фидлер путешествовал по Африке, еще существовала Федерация Мали (прим. ред.).

сопровождении своих наиболее способных охотников.

В Восточной Африке, где белые зарабатывали бешеные деньги на шахтах и плантациях, таких отелей в диком бруссе — бесчисленное множество. Оборудованные с большим, даже чрезмерным комфортом, они способны были удовлетворить любые фантазии, самые сумасбродные желания, пользовались огромным успехом и давали сказочную прибыль. В Гвинее дело обстояло иначе: здесь обосновался только один Вильфар, но из-за перемен в стране и отъезда богатых французов его теперь ожидало неизбежное банкротство. Он рассчитывал только на свой филиал в Мали, где пока еще терпели французов.

Я очень жалел, что Вильфара не было в Самбаило; оборотистый француз очень интересовал меня, поскольку до войны несколько лет пробыл в Польше, кажется, сохранил к ней живое чувство и даже неплохо говорил по-польски. Я бы охотно познакомился с предприимчивым господином, а также с тайнами его волшебства. К сожалению, это не удалось.

После завтрака я пошел в деревню, прилегающую к отелю. Как и большинство африканских деревень, она состояла из типичных круглых хижин с островерхими крышами, была сравнительно велика, но какая царила здесь грязь, нужда, пыль, какими жалкими были низенькие мазанки. Почти никакой зелени, чахлые деревья, всюду серость и запустение. Население жило главным образом работой в отеле, но, как видно, немного крошек перепало с барского стола.

Едва я показался в деревне, как ко мне мигом пристроился бой из гостиницы и сопровождал меня, словно ангел-хранитель. Шамбан — так звали боя — происходил из племени фульбе и был одним из загонщиков Вильфара.

— Кто здесь живет? Кониаги? — спросил я его, указывая на деревню.

Нет, в Самбаило было общество смешанное, из разных племен, больше всего фульбе, несколько сосо и мандинго, но никаких кониаги.

— А где кониаги?

Шамбан объяснил, что кониаги живут повсюду в окрестностях, но больше всего их под Юкункуном, в со-рока километрах от Самбаило.

Когда я, несколько удрученный, через час возвращался в отель, трудно было себе представить более разительный, потрясающий контраст: я перешел в совершенно другой мир, как бы на другую планету, из кошмара попал в рай.

Забавная подробность: в саду отеля даже воздух был более прохладным, тогда как рядом опаленная деревня дышала невыносимым жаром.

Тогда я понял, для чего белым хозяевам была необходима невообразимая роскошь этого отеля: все здесь — даже ласковость антилоп, даже прелесть африканских бабочек — лишний раз утверждало хозяев колонии в надменном убеждении, что именно они — избранники судьбы; роскошь отеля давала им уверенность, что они принадлежат к господствующей расе, которой провидение вверило власть и предоставило право опеки над Черным континентом. В этом серале пышности и излишеств, в атмосфере полурайской, полусказочной жизни сильные люди должны были обрести еще большую силу, гордые — возвысить свою гордость, уверенные — укрепить свою уверенность.

PRODUCE OF POLAND*

Я вернулся в отель около одиннадцати, за час до обеда; прошу прощения, здесь это называли более изысканно — вторым завтраком. Свежими впечатлениями о деревне я хотел сразу поделиться с Эйбелем, который не покидал отеля, но из этого ничего не вышло: из Кумбиа уже приехал наш ночной знакомый — симпатичный староста Конде Альсени с каким-то гвинейцем, и оба, хоть были очень учтивы и деликатны, несколько смешали нам карты. Конде привез неприятное известие о нашей машине, которую не удалось отремонтировать в Кумбиа, так как были нужны запасные части, а их можно было привезти лишь из Конакри или Дакара. Это было просто трагическое известие, и, может быть, поэтому я довольно несправедливо записал в блокноте: «Конде явился с утра и морочит нам голову».

* Сделано в Польше (англ.).

Это была неправда. Он и его приятель скромно сидели на высоких стульях в баре отеля, заказав себе какую-то воду. Глядя на это, Эйбель, знаток хороших манер и дипломат, любезно занялся ими и завел беседу. Это был разговор ни о чем, так, болтовня, поэтому я ретировался и, влекомый своей страстью, прокрался с фотоаппаратом в сад.

Здесь, так же как утром, порхало много бабочек, а больше всего — демодокусов. Мне нужен был именно этот плут. Однако я заметил, что было бы легче поймать и заспиртовать десяток других бабочек, чем сфотографировать эту. С виду все казалось просто: ведь кавалер прилетал каждую минуту и садился на красный цветок в двух шагах от человека. К сожалению, почти тотчас, через секунду-две, непоседа срывался как безумный с места и улетал. Лучше всего фотографировать с метрового расстояния, но стоило мне направить объектив на какой-нибудь цветок в метре от меня и застыть в терпеливом ожидании, как негодницы бабочки, пролетев мимо, спокойно садились на соседние цветы. Все это продолжалось добрую четверть часа, прежде чем я сделал три ненадежных снимка, после чего почувствовал, что сыт по горло и развлечением, и адским солнцем. Я вернулся под крышу в тоске по обществу и напиткам.

В холле стояла приятная прохлада, настроение наших собеседников к этому времени заметно улучшилось. Конде Альсени с приятелем составили славную компанию, они были в равной мере симпатичны, неглупы и сметливы, разговор с ними был приятен и шел на должном уровне.

Приятель Конде оказался начальником полиции всего пограничного округа Юкункун, которому в округе подчинялась волость Кумбиа*. В Юкункуне как раз получили из Министерства информации Конакри телеграмму, в которой предупреждалось о моем приезде и предписывалось властям окружить меня вниманием и заботой. Вот начальник полиции и заявился лично в Самбаило, чтобы понюхать, что я за личность и ка-

* Я употребляю названия «волость», «староста» довольно условно. Считаю, что выражение «староста» приблизительно соответствует должности, которую занимал Конде Альсени, — *chef de poste administratif de Koundara (прим. автора)*.

ким ветром меня сюда занесло. Когда за милой болтовней я почувствовал его вполне обоснованную заинтересованность, то не стал медлить с объяснениями, сообщив довольно благодушно, что хотел бы ознакомиться с племенем кониаги.

— Ах, кониаги, кониаги! — воскликнул он с деланной досадой. — Чем же они так интересны? Тем, что ходят голые?

Нагота племени кониаги была костью в горле правительственных кругов, своего рода пунктиком, поэтому я ответил:

— Голые они или не голые, но кониаги некогда упорно сопротивлялись фульбе и французам. Разве это не достаточно интересно?

Начальник был родом с побережья и не принадлежал к фульбе.

— Это правда, — поддержал меня Конде. — Припомни-ка, начальник, недавно здесь была киногруппа, не знаю уж, польская или чешская, она снимала знаменитые танцы племени басари, двоюродных братьев кониаги.

— Они специально оделись для танцев! — стоял на своем начальник.

Он происходил из племени сусу и, несомненно, был на хорошем счету в Конакри, если ему доверили такую ответственную должность именно на этой границе. Здесь надо было особенно бдительно следить за всем, что происходило в соседней Федерации Мали, а также не спускать глаз с собственных гвинейских фульбе.

Конде Альсени, как и президент Секу Туре, был из племени мандинго, родом из окрестностей города Канкан, расположенного в глубине страны. Призванный на курсы высших чиновников администрации, он окончил их с отличными результатами. Конде ожидала блестящая карьера. Вполне естественно: гибкий, ясный ум и милое деликатное обращение великолепно дополняли привлекательную внешность. Конде был красив. У него были не слишком вывернуты губы, нос едва приплюснут; лицо, совсем темное, как у всех мандинго, поражало правильностью черт и благородным выражением. Конде около тридцати лет, он не женат.

— Еще не женат? — искренне удивился я.

— Конде, — объяснил начальник, — много работал,

все время учился, у него не было времени думать о личных делах. Кроме того, у Конде... особые мечты...— добавил он с улыбкой.

— Какие мечты? — спросил я, но вопрос остался без ответа, так как разговор перешел на другую тему.

Поскольку приближалось время обеда, а оба гостя не собирались уходить, мы пригласили их пообедать с нами. Они с радостью согласились. В это время Эйбель, понимая мигнув мне, забрал всех в наше бунгало и здесь достал из чемодана две симпатичные бутылки из Польши: одну с вавельским медом, а другую с зубровкой. Он хотел подарить их гвинейцам, но его вдруг охватили сомнения: это же были мусульмане, беспощадные враги алкоголя. С некоторым смущением и с излишним жаром приступил он к объяснениям, что это только лекарства, что это крепленый мед и экстракт из зубровки, такой травы; я тоже взялся за оружие и, обратившись в фарисея, завел ту же песню, восхваляя укрепляющие эликсиры здоровья.

Наивные опасения, что обиженные гвинейцы отвергнут дары, к счастью, оказались напрасными. Наши усилия были излишни, мы таскали шишки в лес, ломились в открытую дверь. Оба они искренне удивились обилию наших аргументов и покончили с этим делом в мгновение ока: быстренько приняли дьявольские напитки, словно это был небесный нектар,— и баста. Предрассудки не держали их в плену.

Ради такой приятной компании искуситель Эйбель сделал еще шаг и заблаговременно приказал заморозить в холодильнике бутылку экспортной «выборовой». За обедом «эликсир здоровья» пришелся по вкусу поклонникам Пророка и уже после первой рюмки раскрыл наши души и развязал языки.

Это был праздник братства, пир личной дружбы и дружбы наших народов. В порыве искреннего воодушевления я пригласил начальника полиции в Польшу, если судьба забросит его когда-нибудь в Европу, и обещал ему сердечное гостеприимство.

— Ах, Польша, Польша! — вдруг размечтался Конде.

В его голосе откуда ни возьмись прозвучало столько чувства, что мы невольно взглянули на него несколько растерянно.

— Вы хотели бы туда поехать? — спросил я.

— Это верх моих желаний! — пробормотал он с волнением.

— Что так влечет вас в Польшу? — вежливо допытывался я.

— Молодые девушки, — просто ответил он.

Ответ был для нас неожиданным. Мы с Эйбелем остолбенели, взглянули друг на друга, смех распирал нас, но старосте было совсем не весело. Дело вообще оказалось не так смешно и фантастично, как могло показаться в первую минуту. Конде толково все объяснил: пять или шесть лет назад несколько его ровесников, африканцев, принимали участие в большом фестивале молодежи в Варшаве; они вернулись в Африку очарованные обаянием молодых полек. Хорошенькие девушки встретили их без всякого предубеждения и проявляли к африканским юношам даже больше расположения и тепла, чем, например, к шотландцам или американцам.

Конде Альсени долгое время предполагал, что сердечность, проявленная к гостям в Варшаве, была вызвана главным образом общим настроением фестиваля, но недавно изменил свое мнение. Очаровательные польки и дальше сохраняли благосклонность к иностранцам. Он встретил одного француза, который каждый год ездил на международные ярмарки в Польшу, и этот опытный, бывалый малый уверял, что многие прекрасные польки, подружившись с иностранцами, выезжали за границу в качестве жен, невест, даже приятельниц, причем польские власти не чинили им затруднений.

— Я мечтаю о жене-польке! — закончил Конде с блеском в глазах.

На наших лицах начальник, вероятно, прочел известное недоверие к рассказу Конде, так как начал объяснять, что у него тоже светлая кожа жена, мулатка из Конакри, и что он с ней счастлив, что в братской Гане дочь английского лорда Криппса вышла замуж за африканца, имеет детей и совсем не тоскует по высшему свету.

— Я мечтаю о жене-польке, — еще раз вздохнул расчувствовавшийся Конде.

Нас разделяла благородная бутылка Produce of

Poland. Я улыбнулся ей: оказывается, на уровень мировых стандартов поднялась не только польская «выборова», но и польские девушки.

ВСЕ ТЕЧЕТ, ВСЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ

Судьба не могла сыграть с нами шутки хуже, чем поломка автомобиля. Разлетелись в прах наши планы добраться до поселений племени кониаги, рассеянных в бресе вдаль от проезжих дорог, и даже возвращение в более цивилизованные пределы становилось проблемой: здесь нельзя было нанять легковую машину, автобусы курсировали редко и нерегулярно, а нанять небольшой грузовик стоило баснословных денег: двести — двести пятьдесят долларов. Мы влипли в скверную историю, но, несмотря ни на что, не теряли надежды. Одно не подлежало сомнению: во всем, что касалось средств сообщения, мы были отданы на милость местных властей.

После приятного совместного обеда Конде взялся довести всю компанию на пикапе в Юкункун, чтобы представить нас своему шефу, коменданту административного округа. Ехать надо было через Кундару, где к нам присоединился Барри Секу Диалло, комендант округа Гауал, граничащего на юге с округом Юкункун.

Барри Секу Диалло был молодой красивый фульбе, но тип его красоты несколько иной, чем у мандинго Конде: в то время как лицо Конде выражало мягкость и склонность к задумчивости, Диалло отличался самоуверенностью, свободой обращения и барской надменностью, выражение его лица было заносчивое, дерзкое, а черты — почти арийские, и, если бы не черная кожа, его можно было бы принять за какого-нибудь Кмитича*.

Необыкновенно быстрый, оперативный, он, кажется, до недавнего времени занимал пост директора департамента в каком-то из министерств в Конакри, но своим неисправимым зазнайством восстановил против

* Кмитич — герой романа Сенкевича, гордый, заносчивый, воинственный шляхтич, имя которого стало неким символом для выражения шляхетского духа средневековой Польши (*прим. пер.*).

себя многих коллег и подчиненных. Назначение его комендантом округа Гауал было чем-то вроде ссылки в северную часть государства.

Диалло имел легковую машину, которую водил сам. Он захватил с собой Эйбея и меня. Конде ехал на своем пикапе. «По дороге мы видели,— записал я в блокноте,— полунагих кониаги, мужчин и женщин, а молодые девушки ходят с обнаженной грудью, чего до сих пор не встречалось на Фута-Джаллон. Пока мы видели обнаженными по пояс лишь достопочтенных матерей. Страна плоская, горы Фута-Джаллон позади».

В одном месте четыре пожилые женщины кониаги сидели в поле поблизости от дороги и чистили земляные орехи, ссыпанные в кучу. Я попросил Диалло остановиться и выскочил с аппаратом. Они что-то буркнули под нос в ответ на мое дружеское *bonjour*, но в общем держались довольно просто. Если не считать того, что кониаги были почти голыми (лишь вокруг бедер обернут какой-то лоскут в своеобразном стиле бикини), то они немногим отличались от бедных женщин других племен.

Я фотографировал их снова и снова, что они воспринимали пассивно и безразлично, как неизбежную волю божию, зато менее пассивно держался мой фульбе. Наверное, по его мнению, репутация Гвинеи была под угрозой оттого, что я увековечивал наготу достойных дам.

— *Assez! Venez!* * — услышал я вдруг нетерпеливый призыв из его машины.

Тон, до такой степени повелительный, непозволителен даже в Европе, тем более странным казался он здесь, в бывшей колонии, где еще два-три года назад господствовал белый человек, приравнивавший себя к богам. Я почувствовал на собственной шкуре, как полетели теперь к чертям и боги и уважение к ним, и поэтому вернулся к машине в отличном настроении. Когда мы двинулись, я позволил себе ехидно заметить:

— Вы, наверное, долго служили в армии?

— Нет, совсем не служил. А что?

— Голос у вас генеральский.

— Генеральский?

* Довольно! Возвращайтесь! (франц.).

— Ну, уж по меньшей мере фельдфебельский...

Я взглянул на него. Он немного надул губы, сощурил глаза, но принял шутку без обиды. Я был восхищен: это был, бесспорно, типичный барин. Черные брюки и черные ботинки, белая нейлоновая рубашка с длинными рукавами, застегнутый воротничок и темный галстук, все было отменно, так же как спесивое выражение дерзкого лица. Молодой фульбейский аристократ не отучился смотреть на людей гордым взглядом — так смотрели его предки на покоренные племена и рабов.

Замечательное явление — время: еще три года назад этот фульбе не посмел бы так бесцеремонно обратиться ко мне, белому, зато семьдесят лет назад белый не посмел бы так шутить с фульбе, не подвергая опасности свою голову.

НЕВЕЖА

Когда мы приехали в Юкункун, было четыре часа, но для коменданта округа, Барри Махмаду Ури, не кончился еще послеобеденный отдых. В великолепной, унаследованной от французского *chef de cercle** резиденции, где и теперь тщательно поддерживался прежний порядок, нас приветствовала дородная дама, наверное старшая жена коменданта Ури.

С подкупающей простотой она сказала, что муж еще спит, но скоро она его разбудит, и со светской любезностью просила нас располагаться как у себя дома. Она приветливо спросила каждого, какого напитка он желает, после чего такой же чернокожий, как и его госпожа, бой, проворно нас обслужил. На низком инкрустированном столике рядом со мной он поставил стакан со льдом и налил в него виски «Джонни уоркер» столько, сколько я просил, а также содовой воды «Перрье».

Сидя в гигантских кожаных креслах, мы утопали в них, как в глубоких вместилищах роскоши и спеси. Скромный, как всегда, староста Конде всячески ста-

* Шеф, комендант округа (франц.).

рался спрятать под себя ноги, тогда как комендант Диалло, чувствуя себя в своей стихии, небрежно вытянул их далеко вперед, а в кресле развалился, как в постели. Мы находились в прекрасно обставленном просторном холле с домашним баром у одной из стен.

Мы ждали долго, очень долго, полчаса, три четверти часа, а комендант Барри Махмаду Ури не появлялся. Он мог бы уже давно встать и одеться, но, видно, фульбейский этикет предусматривал, чтобы ожидающие гости как следует пообмякли перед встречей с важной персоной. Я почти наслаждался этим испытанием терпеливости, принимая его с полным знанием дела, так как недавно в Конакри читал старую книгу француза Оливье де Сандерваля, который в 1880 году посещал Фута-Джаллон и написал недурной томик о своих приключениях. В книге он больше всего рассуждал о неприятностях, которые доставляли ему интриги и сомнение фульбейских властителей, а особенно их царька — альмами в Тимбо. Этот надменный тиран вроде бы любил француза и уважал его, однако держал его целыми месяцами узником и лишь спустя долгое время с болью в сердце выпустил из рук, позволив ему покинуть Фута-Джаллон. «Наш хозяин достойный его последователь», подумал я.

— Может быть, комендант болен? — вежливо допытывался я у Диалло.

— Нет, какое там! — махнул он рукой. — Кузен здоров...

Вопрос был для него исчерпан.

— Так вы кузены? — заинтересовался я.

— Да.

— А, понимаю! — успокоился я. — Теперь понимаю.

На большом столе красного дерева, который занимал середину холла, стояли две небольшие, чуждые, оригинальные скульптурки из меди, представляющие гротескные, по-донкихотски вытянутые фигуры. Особенно замечательна была группа — человек и крокодил, полная эксцентричного юмора и сверхъестественной выразительности.

— Вы не знаете, откуда они? — спросил я.

Диалло знал: они были из-под Канкана, где их выделявали местные кузнецы.

— Большие мастера,— сказал я.— Нельзя ли мне сфотографировать фигурки?

— Ну конечно, пожалуйста! — сказал Диалло.

Я сфотографировал их на улице, при свете солнца, демонстрируя, что не только пялюсь на голых кони-аги.

Тем временем жена недосыгаемого коменданта старалась сделать наше ожидание более приятным, занимая нас милым разговором ни о чем; улыбающаяся, подвижная, она часто вставала, выходила, возвращалась.

В Соединенных Штатах на коробках с овсяными хлопьями была изображена знаменитая служанка тетушка Джесси, добродушная, пышная, широко улыбающаяся хозяйшка-негритянка. Жена коменданта была удивительно похожа на безмятежную тетушку Джесси из Америки.

— Я по образованию медицинская сестра! — похвалилась она, и мы с Эйбелем приняли это сообщение с громкими возгласами признания и удивления. То, что она была медсестрой, выделяло ее среди десятков тысяч соотечественниц как личность революционную и прогрессивную и придавало блеск ее сановнику мужу.

Наконец появился и он. Старше, чем Диалло, в возрасте около сорока лет, полный, с одутловатым, скорее заурядным лицом, не такой красивый, как Диалло, но тоже «господин». Двигался комендант с неторопливостью большого вельможи, на лице его светилась любезная улыбка. Одет он был попросту, в пижаму, как бы с нарочитой небрежностью. Негромким голосом комендант произнес вежливую формулу извинения за длительное отсутствие. Вкрадчивым движением приглашая нас сесть, он подтвердил, что телеграмма обо мне из Министерства информации получена, и добавил степенно, но любезно:

— Я постараюсь сделать для вас все, что будет в моей власти...

После этого он ожидающе взглянул на меня.

Я восхвалял себя минут десять: этого должно было быть достаточно, чтобы завоевать его симпатии. Комендант слушал тактично, но бесстрастно, и по его лицу невозможно было угадать, какое впечатление про-

извели на него мои слова. Произнося свою речь, я все время ощущал некоторое беспокойство.

Закончил я заявлением, что в этом путешествии меня интересует все: от явлений природы до самых будничных занятий человека, не только обычаи таких малоразвитых племен, как кониаги. Историю великих народов и их выдающихся вождей — вот что я хотел бы изучить здесь. Взять хотя бы знаменитого Самори *, который разбил французов в конце XIX века и сейчас признан национальным героем Гвинеи...

Стало тихо. Оба фульбе — староста Конде Альсени, как мандинго, здесь не котировался — в хладном спокойствии переваривали мои слова.

— А вы знаете других наших героев? — спросил, продолжая беседу, Диалло.— Вам известны другие аспекты нашей истории?

Упор на другие аспекты был достаточно выразителен.

— Ах! — воскликнул я живо.— Вы, наверное, имеете в виду историю государства фульбе в Фута-Джаллоне и необычайно интересное соперничество двух царских родов Альфа и Сори? Об этом идет речь?

На лицах фульбе появилось выражение явного удивления. До сих пор они, видимо, встречались с гостями, имевшими весьма слабое представление об истории их страны.

— Да, я имел в виду именно это! — ответил довольный Диалло.— В конце XIX века у нас был крупный государственный деятель и знаменитый вождь...

— Альфа Яя, альмами из Лабе? — прервал я его.— Вы о нем говорите?

* Самори (род. ок. 1840 — ум. 1900) — выдающийся африканский государственный деятель и военачальник. Под его руководством в 1870—1875 гг. было образовано государство малинке Уассулу, занимавшее обширную территорию в бассейне Верхнего Нигера. Столицей Уассулу и резиденцией Самори была Биссандугу — небольшое селение на реке Мило. Самори сумел организовать армию, которая успешно сопротивлялась французским войскам в течение 18 лет. Самори удалось нанести французам ряд тяжелых поражений. Но к концу XIX в. сопротивление войск Самори стало ослабевать вследствие военного превосходства французов и проводившейся ими политики натравливания одного народа на другой. В 1898 г. Самори был взят в плен французами и сослан в Габон, где и умер через два года (*прим. ред.*).

— Конечно! — подтвердил он, а глаза его на мгновение вспыхнули недоверием.— Вы слышали о нем?

— Читал,— усмехнулся я.— В Конакри о нем не говорят, поэтому и услышать здесь ничего невозможно. Говорят о Самори.

— Несправедливо! — с возмущением сказал молодой фульбе.

— Пожалуй, все же справедливо! — возразил я.— Альфа Яия действительно был незаурядным деятелем, властителем крупного масштаба и, как победоносный вождь, покорял все племена почти до морского побережья — все, за исключением одного, но его миновала великая историческая миссия: он не боролся с французами. Его ровесник Самори боролся, и поэтому имя его прославлено.

— Это не лишено справедливости,— вступил в разговор хозяин, комендант Юкункуна.— Наш дед Альфа Яия действительно стремился к соглашению с Францией.

Таким образом, выяснилось, что оба фульбе происходили из рода Сори и к тому же были внуками лихого рубаки и борца, упомянутого Альфа Яия.

— Не подлежит сомнению, что судьба и история не были милостивы к Альфа Яия и не позволили ему выдвинуться так, как он заслуживал этого по своим способностям,— продолжал я дальше свою мысль.— Но ведь у вас, фульбе, есть другой герой, которым вы можете гордиться. Карамоко Альфа почти из ничего создал в XVIII веке сильное государство в Фута-Джаллоне, придал ему огромную военную мощь, вдохнул творческую мысль во многие поколения людей, но, под конец жизни, на ваше счастье, сошел с ума, предоставив возможность другому роду, вам, Сори, прийти вместе с родом Альфа к власти. Это был великий муж.

С некоторого времени оба фульбе, остолбенев, смотрели на меня как зачарованные. Они растаяли, были покорены, ошалели от удивления. Лед тронулся. Комендант Юкункуна так искренне оживился, что — черт возьми! — уподобился какому-нибудь польскому шляхтичу XVIII века: стал так же размахист, общителен, гостеприимен. Он заявил, что мы — его гости и должны поселиться в его резиденции. Начиная с завтрашнего

дня мы по очереди посетим все четыре племени, населяющие его округ. Мы увидим все, что есть у него интересного, а также танцы в нашу честь. Если не удастся исправить наш «ситроен», он прикажет отвезти нас на служебной машине в Лабе, а в Лабе мы получим другой экипаж. Комендант был готов для нас на все.

Щедро, как из рога изобилия, сыпались обещания милостей, и мы, обрадованные, принимали все благодеяния с одной только оговоркой: сегодняшней вечер и ночь мы проведем еще в отеле и только с завтрашнего дня воспользуемся гостеприимством коменданта. Разумеется, он согласился и приказал отвезти нас в Самбаило.

На обратном пути заходящее солнце светило нам в глаза. Оно было уже совсем не убийственное, не африканское, не жаркое, красное, по-европейски ласковое. Пейзажи африканской саванны нежились в его мягких лучах; так же блаженно погрузились в приятные мысли и мы.

Х И Ж И Н А

Наутро следующего дня, было еще около восьми, в Самбаило прибыл пикап из Кундары, и мы охотно двинулись в Юкункун, оплатив солидный счет в отеле. Он составлял почти сорок долларов за неполные полтора дня — очень неприятный счет. Настроение в резиденции не изменилось: комендант Барри Махмаду Ури сердечно нас приветствовал.

Итиу, самое близкое селение кониаги, было расположено сразу же за городом, в каком-нибудь километре от Юкункуна. Нас отвез туда на своем лимузине красавец Диалло, а кроме того, за ним следовал пикап с четырьмя детинами. Что это, наша охрана? Когда мы вышли из машин посреди деревни, это выглядело как вполне нормальный налет, с тем лишь отличием, что не было заметно оружия. Диалло все еще был в своей парадной рубашке и черных брюках, и все вместе мы имели грозный вид многочисленной комиссии или инспекции.

— Жителей деревни известили о нашем визите? — спросил я у Диалло.

— Видимо, известили.

— Наверное, они безумно рады! — заметил я.

Куда ни взглянешь, ни одной живой души, ни следа какого-нибудь кониаги, жаждущего нас приветствовать.

— Придут! — уверял Диалло, полный вдохновенной веры.

Деревня тянулась в чистом поле больше чем на километр, и хижины были разбросаны далеко друг от друга. Только в одном месте, на окраине деревни, домики, поставленные как по ниточке один за другим, вытянулись в стройный ряд — невероятно длинный и ровненький. Все хижины там были одинаковые, похожие одна на другую как близнецы, выглядели они почти как казармы или как строй сюрреалистических солдат.

Как я узнал минуту спустя, в них жили только молодые люди, которые уже прошли посвящение, но были еще холостыми и пребывали в части селения, которая называлась «тиарег». Посвященные — прошедшие сложные обряды юноши — составляли род тайного ордена, который решал важнейшие дела деревни и племени. Их глава, немба, пожалуй, имел большее влияние и власть, чем официальный вождь.

Итиу — деревня аскетов, живущих по-спартански сурово. Она расположена на песчаной почве, деревьев немного, и совсем мало фруктовых садов, столь характерных для селений других африканских племен. Часть деревни, где живут холостяки, почти лишена зелени, здесь растет лишь одно-единственное дерево. Кругом пески, пыль и мусор, жар, запустение и сушь. Было неуютно, как в военном лагере, а отсутствие растений и хотя бы клочка обработанной земли было тем более удивительно, что кониаги слыли трудолюбивыми земледельцами, которым были известны севооборот и удобрение почвы. Как видно, они обрабатывали свои поля в бруссе, вдали от домов, а в деревне жили действительно как в военном лагере, готовые в любой момент оставить его.

Особенно своеобразными нам показались сами хижины. Экзотика в экзотике. Все хижины, которые мы

видели до сих пор в африканском бресе, представляли собой мазанки с глиняными стенами, приземистые, похожие по форме на перевернутые колоды, словом, широкие и низкие, как бы придавленные. Напротив, хижины кониаги совсем не такие: в общем тоже круглые, но сплетенные из тростника, при этом очень узкие и относительно высокие, с крышей в форме кокетливой лохматой шапочки. Эти стройные хижины дерзко торчали из земли и были так легки, что один человек мог без труда разобрать их и перенести куда угодно во время стычки или других происшествий, а то и просто по чистой фантазии.

Дома посвященных юношей — эта длинная линия хижин — затронули мое любопытство; к сожалению, там царила глухая враждебная тишина. Как будто все вымерло и никого тут нет. А ведь я знал, что именно здесь находился костяк племени, в этих хижинах рождалась его истинная сила, закалялось сопротивление, о которое разбивались все усилия врагов. Союзы молодых людей, более или менее тайные религиозные союзы, возникали у большинства африканских племен, но, пожалуй, нигде не приобрели столь огромного значения, как у кониаги.

Своеобразное племя занимало шестьдесят пять деревень, и в каждой существовал такой же поселок для посвященных молодых людей, — школа и кузница характеров. Здесь у молодежи выковывались благородная гордость, чувство собственного достоинства и прежде всего боевые качества лучших воинов, которыми только располагала Африка. В доколониальные времена воины кониаги установили своеобразный рекорд: они не понесли ни одного поражения, тогда как сами уничтожали во много раз превосходящие их отряды противника и никогда не знали рабского ярма.

И вот я с надлежащим почтением поглядывал на хижины, которые имели еще одну отличительную особенность: они были неестественно малы. Наиболее солидные из них имели никак не больше двух метров в диаметре, а то и значительно меньше. Кониаги были хорошо сложены, как большинство африканцев, — а это значит, что небольшие размеры хижин принуждали их спать согнувшись. Как видно, закаленное в боях племя с легкостью переносило неудобства, лишь бы сохра-

нить свою подвижность, имея необременительное, легко переносимое с места на место имущество.

— Это достойно удивления! — произнес я с нотой одобрения в голосе.— Невиданно!

— Что невиданно? — комендант Диалло искоса бросил на меня вопросительный взгляд.

— Хотя бы то, как они спят в этих хижинах! Это нелегкое искусство!

Диалло со свойственным ему пренебрежением надул губы.

— Никакого искусства! Спят себе, свернувшись по-собачьи...

Достойный фульбе явно не пылал излишней любовью к кониаги.

— Но эти собаки,— отрезал я не без ехидства,— умели царапать и кусать, как львы, о чем Альфа Яия, ваш дедушка, мог бы нам кое-что порассказать, если бы был жив...

Диалло проглотил горькую пилюлю и сжал губы; с гостем спорить не годилось.

— Вы их любите! — заметил он с выражением сочувствия к человеку, у которого плохой вкус.

Он не ошибался: я действительно питал слабость к кониаги. И не только потому, что они были непобедимыми воинами. Они своим примером учили кое-чему большему: умные, дальновидные приемы, которыми пользовались эти простые люди, чтобы воспитать в себе такую твердость и такую воинственность, были поистине потрясающи и заслуживали уважения.

Их принципы повышения своей обороноспособности мог бы перенять (с пользой для себя) любой европейский народ.

ПЛЕМЯ КОНИАГИ

Солнце палило беспощадно. Мы медленно проходили близ хижин тиарега, поселения молодых людей, как вдруг что-то белое явственно обозначилось вдали. Призрак появился из какой-то отдаленной хижины и проворно приближался к нам. Вокруг столько болта-

ли о пресловутой нагоде кониаги, что я вылупил глаза при виде фигуры, закутанной в просторное бубу из белоснежного полотна.

— Ах ты, прах тебя возьми! — вырвалось у меня. — Это кониаги?

— Ну да! — ответил один из сопровождавших нас парней. — Это староста деревни Итиу.

Староста держал руки по швам, как бы по команде «смирно». Он подошел, шелестя своим ослепительным великолепием и оказался чрезвычайно симпатичным и общительным кониаги. Староста выразил готовность проводить нас по всей деревне и показать все самое интересное, заявив при этом, что, наверное, немного будет такого, что могло бы нас заинтересовать.

Он знал французский язык, а должность свою занимал всего год, то есть был новым старостой, тогда как старый, со времен колонии, вышел в бесславную отставку.

— Почему в деревне так пусто? — спросил я его.

— Все... почти все,— поправился он,— в поле, собирают орехи...

Земляные орехи для многих поколений кониаги были главным продуктом производства.

В деревне, однако, оставалось больше жителей, чем нам казалось сначала. Так, когда мы бродили по песку вдоль тиарега, из нескольких хижин вышли четверо молодых людей. Они собрались вместе и не спускали с нас критических взглядов. Мы им не нравились, что сразу было видно по их лицам.

Все четверо были одеты в обычные европейские шорты, кроме того, трое из них — в рубашки; так где же, святой боже, эти пресловутые голые кониаги? Предположим, что они получили приказ не показываться сегодня голышом, но все-таки у этих четырех недовольных было кое-какое барахлишко. Вдали от городов, в глубине бруса кониаги выступали в костюмах Адама, в чем мать родила, только повязка на бедрах и немного украшений — разве это такое уж диво в Африке? Что-то здесь не соответствовало официальной точке зрения на почтенных нудистов.

Староста деревни показал нам место, где в 1902 году воины кониаги под корень вырезали отряд фран-

цузских солдат вместе с их командиром, поручиком Монкоржем. Воспоминания о поражениях французов высоко ценились теперь в Гвинее и свидетельствовали о благонадежности и патриотизме, но, когда я спросил старосту, знает ли он о других, более давних подвигах своего племени, он, украдкой скользнув взглядом в сторону коменданта Диалло, предпочел ничего не вспоминать.

А история этих мест была необыкновенной, удивительной.

Когда фульбе едва вошли в силу в Фута-Джаллоне и, распираемые умопомрачительной гордостью, решили обратить в рабство языческие народы во имя Пророка, племя кониаги с давних времен населяло здешние края. Оно вело жизнь блаженную и ограниченную, чтило своих идолов, выполняло замысловатые обряды, в период дождей устраивало торжества посвящения молодежи. Народ этот не знал никакого ремесла, даже ткачества. Люди ходили без одежды и не стремились обрабатывать землю, зато отчаянно любили охоту. Бесстрашно охотясь с копьем и луком на слона и буйвола, они приобрели зоркий глаз, ловкость и все качества воина, но, пожалуй, в самой большой мере — безумную любовь к свободе.

Уже с половины XVIII века из глубины гор Фута-Джаллон начали просачиваться слухи о народе фульбе. Увлекаемые пробудившимся вдруг религиозным фанатизмом, фульбе провозгласили страшный для соседей лозунг: «Бог сотворил неверных и дал им нивы, жен и детей для того, чтобы все они стали рабами и собственностью правоверных» — и огнем и мечом воплощали его в действительность. Обладая лучшим оружием — своими знаменитыми саблями, конницей, охваченные фанатизмом, они неизменно одерживали победы, а покоренные племена превращали в рабов, которые должны были вдали от страны отцов обрабатывать землю своих господ. Фульбе занимались лишь разведением скота и брезговали копать в земле.

В первой половине XIX века они овладели уже территорией Фута-Джаллон и совершали победоносные набеги все дальше на равнину, непосредственно угрожая племени кониаги. Кониаги грозило уничтожение, как многим мелким народностям до них.

Численность кониаги никогда не превышала десяти тысяч, из которых лишь четвертая часть считалась взрослыми охотниками. На примере других племен кониаги хорошо знали, что даже отчаянная храбрость не спасет их от значительно превосходящего противника, который тоже славился храбростью. Кроме того, некоторые фульбе имели даже огнестрельное оружие.

Кониаги были известны ружья. Многочисленные бродячие торговцы привозили их с побережья и предлагали на продажу. Но опытные охотники отвергали ружья с презрением, так как терпеть не могли шума, который распугивал зверя в чаще, а сами они так ловко подкрадывались к зверю, что копье и лук оставались для них лучшим оружием.

Но лучшим оно было для охоты на зверя, но не для отражения врага. Как они осознали это — вещь на первый взгляд такая простая, а в условиях их быта просто сенсационная, — теперь трудно установить. Они четко представляли себе то, чего не могли понять другие племена до них, серьезность своего положения и необходимость действенной обороны, действенной, а не героически самоубийственной. Они нуждались в более надежном оружии, в ружьях. Но на что их купить, если у них не было товаров на обмен, а слоновых бивней было недостаточно?

То, что произошло в этот период в сознании кониаги, можно было бы назвать революцией, беспрецедентной в истории других племен. На подобном уровне — революцией и героизмом. Под давлением суровой необходимости кониаги из прирожденных охотников превратились в земледельцев — явление трудное для понимания, в земледельцев страстных, неутомимых и способных. Торговцы с побережья требовали тогда земляных орехов. И кониаги взялись за разведение земляных орехов.

К несчастью, еще до того, как они в обмен на орехи приобрели ружья, начались набеги фульбе. Сначала племя выручало охотничьи навыки и тщательная разведка, которую проводили молодые воины из тиарегов. Фульбе врывались в пустые селения и попадали в хитроумные засады, откуда раздавался гром выстрелов. Время шло, и выстрелы стали раздаваться все чаще, все большее число фульбе падало с коней.

Непобедимые сабли здесь уступали. Уязвленная гордость фульбе не позволяла им оставить кониаги безнаказанными за свои поражения, но что было делать. Они скрежетали зубами, чуть не лезли вон из кожи: растоптать, истребить наглых дикарей стало их страстным желанием, делом их чести. Время от времени фульбе удавалось задеть друзей свирепых кониаги, племена бассари и бадиаранке, но их самих они ни разу не смогли схватить в свои клещи по-настоящему.

В чем был секрет беспримерного сопротивления кониаги? За относительно короткое время, сохраняя и дальше свои обычаи и языческие верования, племя преобразилось в одну сплоченную военную организацию, поразительно упорядоченную для примитивного народа. Приблизительно четверть всех кониаги, то есть юноши и мужчины в расцвете сил, образовали постоянную, профессиональную армию, доходящую по численности до двух с половиной тысяч воинов, которые не выполняли никакой другой работы, кроме обеспечения безопасности племени.

В деревенских тиарегах вооруженные отряды жили, как в казармах, а их разведка была так точна, что знала о передвижении фульбейских орд задолго до их приближения к охотничьим местам племени.

Вскоре добыча ружей стала у кониаги манией, ружье хотел иметь каждый воин, и, что самое интересное, все в конце концов приобрели ружья. Это было их огромное национальное достояние. Они вооружились не менее чем двумя тысячами ружей, в результате чего возник неожиданный парадокс: примитивное племя имело лучшую армию, вооруженную более современным оружием, чем народ относительно более цивилизованных, но упорно цепляющихся за свои сабли фульбе. Еще не было случая, чтобы худшее оружие одержало легкую победу над лучшим, поэтому кониаги удавалось успешно отбивать набеги врага.

Появление такого количества огнестрельного оружия было заслугой остальной части племени, этих семи или восьми тысяч женщин, стариков и детей. Со страстью и неугасающим трудолюбием, также невиданным среди других племен, эти невоеннообязанные

взялись за тяжелое дело выращивания земляных орехов. Они знали, что судьба племени зависит от них в той же мере, что и от воинов. Это была работа лихорадочная, но разумная и умелая, и она всегда давала обильные плоды. Островерхие хижины наполнялись ценным продуктом, с побережья прибывали купцы, которые вели оживленный обмен ружей на орехи. Таким образом, изобретательные кониаги с самого начала создали неплохую материальную базу, которая обеспечила им эффективное вооружение.

И они выиграли, защитили себя. Даже грозный Альфа Яия не сладил с ними. Из вылазок против кониаги он возвращался в Лабе с пустыми руками, без добычи, без рабов. Французы пока во всем ему способствовали, предоставили ему полную свободу действий — ничто не помогло, он не покорил этого замечательного племени.

А кониаги? Они, успешно сопротивляясь африканским захватчикам, предполагали также уберечься от европейских агрессоров. Когда около 1900 года французы водворились в Юкункуне, кониаги не признали их господства и отказались платить им подати, а также поставлять бесплатных рабочих для общественных работ. В глазах владельцев колонии это было равносильно бунту, поэтому они послали отряд солдат, чтобы поучить наглецов уму-разуму. Но у кониаги было настоящее оружие, и они перебили в Итиу весь отряд.

Поэтому из Конакри была отправлена новая карательная экспедиция, которая в марте 1904 года достигла владений кониаги и сделала свое дело. Племя боролось отчаянно, с неудержимым мужеством, но снова лучшее оружие взяло верх: артиллерия и скорострельные карабины разгромили кремневые ружья. После двухдневного смертоубийственного сражения остатки сгруппированных в боевые десятки воинов кониаги сдались: уже не было сил и боеприпасов. Кониаги были вынуждены сдать победителям все огнестрельное оружие, и тогда ошеломленные французы насчитали тысячу восемьсот ружей, отобранных у покоренных.

Так племя кониаги попало под иго колонизаторов.

НЕСОКРУШИМЫЕ

Огнестрельное оружие так много значило для кониаги, было гордостью племени и единственной гарантией независимости. Французы, отобрав у них оружие, лишили их творческого стимула и радости жизни. Племя непобедимых до сих пор воинов и непревзойденных охотников пришло в упадок, образно выражаясь, ушло в подполье, и этот уход наверняка спас его от окончательного разгрома. В подполье ушли более или менее тайные союзы молодежи, которыми руководили старшие воины, а также жрецы. Сосредоточиваясь в тиарегах, молодые воины сохраняли и сохраняют жизнеспособность племени и прежде всего — силу сопротивления чуждым влияниям. Во время нашего тяжелого путешествия по пескам деревни Итиу мы видели вдали местечко Юкункун, где сейчас правил комендант фульбе, а немного в стороне, в бруссе, светлело несколько белых строений, как бы обособленный хутор. Здесь давно осели католические миссионеры, белые отцы церкви, чтобы обращать язычников-кониаги в праведную веру, но они не пользовались большим успехом, так же как раньше мусульмане-фульбе, которые старались насаждать здесь свою веру с помощью сабель.

Численность кониаги не увеличивается уже в течение десятков лет. Это обстоятельство крайне интриговало французскую администрацию времен колонии и давало простор самым разнообразным предположениям. Вину сваливали прежде всего на молодых девушек племени, имевших якобы обыкновение избавляться от плода. Они делали это для того, чтобы как можно дольше оставаться на девичьем положении, так как у племени был распространен такой обычай: девушка, родившая здорового ребенка, некоторое время спустя должна была выйти замуж. Может быть, в том, что племя не увеличивалось, и были отчасти виноваты молодые ветреницы, но, пожалуй, не это главное. Истребление цвета молодежи и вообще мужчин в борьбе с французами, а позднее — упадок духа всего племени были еще одной причиной подобного опустошения. Однако основная причина падения рождаемости — это полное отсутствие гигиены.

Вокруг Итиу, куда ни бросишь взгляд, не было ни

капли воды. Какая-то речушка, кажется, протекала где-то, но очень далеко от людей. В деревне роилось огромное количество мух. До предела агрессивные, они были настоящим бедствием. Нас все время облепляло несколько десятков несносных насекомых, и не было возможности избавиться от них. Чуть отлетев, они тотчас возвращались и набрасывались на нас с удвоенной яростью, так, словно сидеть на человеческом теле было необходимо для их существования. Может быть, им надо было отложить на нас личинки? Черт их знает, но ясно одно: такое количество болезнетворной мерзости должно было сеять тяжелые болезни среди кониагийской детворы.

Горькие раздумья: несколько десятков лет назад крупная и высококультурная европейская держава покорила независимых до того времени кониаги, но, отняв у племени свободу, что она дала ему взамен? Чему его научила? Как защитила его от болезней и вымирания? Бесславный итог пятидесяти четырех лет господства.

А кониаги за эти годы отнюдь не деградировали и приносили колонии известную пользу. Оставаясь трудолюбивыми земледельцами, они выращивали больше земляных орехов, чем потребляли сами, и поэтому могли поставлять на колониальный рынок излишек своих запасов, получая за это... бусы. Никаких лекарств, никакой медицинской помощи.

Когда мы на машинах выехали из Итиу в Икунун, другую деревню кониаги, несколькими километрами дальше, по дороге я понял, как глубоко запали мне в душу смысленные кониаги. Какие это были трогательные, замечательные молодцы, что за характеры! Мужественная борьба за свободу и тот способ, которым они добывали огнестрельное оружие, вызывали искреннее уважение и свидетельствовали о том, что у кониаги была голова на плечах. Однако все было против них со времен фульбейских набегов до самого сегодняшнего дня: даже эти расположившиеся вблизи миссионеры, наверное по-своему желающие им добра, не умели или не хотели надлежащим образом помочь им, хотя бы избавить их от убийственного нашествия мух.

Икунун показался мне более веселой деревней, чем

Итиу. Здесь можно было заметить какую-то жизнь. Женщины в поле, сидя на земле, очищали от волокон созревшие орехи. Молодая женщина, которую я сфотографировал, могла служить олицетворением здоровья и красоты. Какой-то бойкой девушке я деликатно подарил несколько франков, за что она поблагодарила меня, отвесив поклон и присев на одно колено с такой грацией, что потрясла этим Мечислава Эйбеля. По его мнению, столь изящного реверанса не постыдилась бы и фрейлина при дворе королевы Виктории.

Люди в Икунуне держались с большим достоинством, без страха смотрели в глаза, охотно отвечали на вопросы. Здесь не умерло чувство здоровой гордости. Некоторые, особенно юнцы, держались нарочито дерзко и словно хотели показать выражением лица и всем обликом сопровождавшим нас фульбе, что не боятся их. Это было трогательно. Пока мы разговаривали со старшими, поблизости стоял, скрестив руки на груди, двенадцатилетний сорванец с нахальной рожей. Бедро его были обернуты сзади и с боков тряпкой, спереди по исчезающему теперь у взрослых мужчин кониаги обычаю торчал надетый на половой орган белый чехол из тростника: в таком наряде в прежние времена, в период военной славы, выступали воины племени.

В другом месте мы заметили юношу постарше. Он был христианином, о чем свидетельствовал медный крестик на груди. Этот франт носил короткие европейские шорты, а на голове — французский берет, наверняка подарки отцов-миссионеров. Но, желая показать, что соприкосновение с чужой верой не убавило в нем добродетелей его племени, молодец опирался правой рукой на целых три лука, а левой держал стрелу и указывал ею вдаль, живо поясняя что-то моим фульбе. Это была великолепная поза притягательной простоты.

Мы уловили момент, когда из бруса возвращались трое кониаги: отец и двое сыновей-подростков. Отец хилый, худой, весь закутан в лохмотья, в руках жердь, на которую он опирался; мальчики же — молодцы хоть куда — были совсем обнажены, если не считать тряпки, покрывавшей бедра. Они заботились о своем внешнем виде, важничали, на них были серьги и множество

украшений гри-гри. Луки в руках и полные стрел колчаны придавали им воинственный вид.

Когда мы дружески кивнули мальчишкам, они послушно остановились, вытянувшись как по команде. С любезной снисходительностью, достойной зрелых воинов, они переносили мои манипуляции с фотоаппаратом и терпеливо позволяли себя снимать. Они знали, что это фотоаппарат и что их изображения увидит свет. Поэтому кониаги постарались соорудить великолепные, грозные рожи, которые просто исходили мальчишеской гордостью. На их лицах можно было прочесть все: что они все время закаляются и полны сил, что их отцы славно боролись с французами, а деды не поддались фульбе. В наивном выражении этой силы было столько трогательности, что так и хватало за сердце.

Во время моего пребывания в Конакри, перед выездом в Юкункун, ходили упорные слухи, которые якобы просочились из правительственных кругов, о том, что вынашивается проект полного уничтожения племени кониаги. Оно будто бы подлежало рассредоточению среди других племен и народностей в наказание за упорство, с каким кониаги придерживаются обычая ходить обнаженными. В Конакри этот обычай почитали за позор, которого не может перенести современное государство.

Так вот, в Итиу и Икунуне можно было найти подтверждение очевидной бессмысленности таких обвинений: я фотографировал всех кониаги, которых встречал, и все имели на себе хоть какую-нибудь тряпку: распространенные в африканском брусе набедренные повязки или шорты, а иногда и рубашки. Ходить обнаженными по пояс было принято как у мужчин, так и у женщин даже в предместьях Конакри или Аккры, особенно вблизи уличных водопроводов, а здесь и по-прежнему. Я не видел ни одного кониаги зрелого возраста с тростниковой трубочкой, прикрывающей половой орган, — этот обычай племени сохранился только среди желторотых юнцов. Миф о голых кониаги оказался отъявленным вздором.

В период, когда у молодого государства лишь режутся зубы, могла по недосмотру произойти какая-нибудь трагическая по своим последствиям ошибка, но



...Ходить обнаженными по пояс было принято как у мужчин, так и у женщин даже в предместьях Конакри..,

я не могу себе представить, чтобы правительство Секу Туре не знало о замечательных результатах, достигнутых Советским Союзом в области социалистических преобразований у народов Сибири. А ведь эти народы зачастую находились на более низком уровне развития, чем кониаги.

Северный Вьетнам пошел в этом отношении вслед за Советским Союзом, и это тоже принесло прекрасные плоды, например среди первобытного племени са, которое я в свое время посетил.

Но независимо ни от чего новоиспеченная республика Гвинея была в долгу перед воинами кониаги, в особом долгу за их заслуги: ведь кониаги, защищая свою свободу, оказывали яростное сопротивление захватчикам.

Вот почему я не верю сплетням, не приносящим ничего, кроме вреда, Гвинейской Республике.

ДЕРЕВНЯ-КРЕПОСТЬ

Было бы наивно думать, что кониаги примут нас, Эйбеля и меня, с открытой душой, если мы приедем одни, но не было также сомнения в том, что сопровождающие нас фульбе действовали на них, как струя холодной воды. О свободном обмене мнениями не могло быть и речи; отсутствие собственной машины и тем самым зависимость от местных властей просто сводили на нет все наши прекрасные планы относительно кониаги.

Начальство в Юкункуне не слишком одобрительно, как мне казалось, смотрело на все наши попытки найти контакт с дерзким племенем. Оно желало, чтобы мы интересовались чем-нибудь другим; за обедом в резиденции округа, прошедшим в приятной обстановке, комендант Барри Махмаду предложил нам вечернюю программу. Конде Альсени, симпатичный староста Кумбиа, должен был отвезти нас в показательную деревню Камаби, которая вступила на путь прогресса.

— Это, наверное, передовая деревня? — спросил я.

— Да, — подтвердил Барри Махмаду. — Передовая.

И в партийном и в производственном отношении. Вас это интересует?

— Почему нет? Очень интересует! — ответил я, и это был искренний ответ: образцовая деревня в этой глуши была, безусловно, интересным явлением.

— Это деревня племени кониаги? — недоверчиво спросил я.

— Какое там! Там есть фульбе, сараколи, сусу, тукулеры, мандинго. Камаби — большая деревня.

Сусу с фульбе издавна жили как кошка с собакой, другие племена тоже не питали друг к другу симпатии.

— И все дружно живут вместе? — допытывался я.

— Как дети одной матери! — уверил меня комендант.

— Феноменально! — заявил я, и это слово в тот день еще не раз приходило мне в голову.

Мы должны были выехать на пикапе через час после обеда, а пока пытались немного отдохнуть в нашей квартире, замученные утренней беготней по деревням кониаги.

— Интересно, что это за деревня Камаби? — спросил меня Эйбель.

Любопытство его было вполне понятно: после наших утренних наблюдений в деревнях кониаги хозяева задумали ввести нас после обеда в живительную атмосферу государственно-созидательных дел.

К сожалению, все началось с канители. Мы поздно двинулись в путь, Конде Альсени сам вел пикап, кроме того, нас сопровождал Дьябола Мустафа, учитель из Юкункуна, по национальности сусу, и еще два или три человека, словом, опять многочисленный отряд, только на этот раз без фульбе. Мы порядочно задержались в Кундаре, которая оказалась на нашем пути, а когда автомобиль набрал наконец скорость на паршивой дороге, ведущей куда-то на запад к границе с Португальской Гвинеей, выяснилось, что до Камаби довольно далеко — километров сорок с лишним от Юкункуна. Солнце опускалось, и освещение для фотографирования становилось все хуже.

Выяснилось, что надо еще заехать в какую-то деревню.

— Это, наверное, не Камаби? — спросил я.

— Нет, сударь! — ответил Конде.

Но это была тоже показательная деревня. В поле рядом с дорогой выстроился отряд молодцов и ждал нас. Когда Конде Альсени вышел, молодой командир отряда отрапортовал ему по всем армейским правилам. Это был отряд Союза гвинейской молодежи — первый в Африке зародыш национальной гвардии. Разумеется, снимки — света оказалось еще достаточно, — и мы двинулись дальше.

Когда мы наконец достигли Камаби, невероятно широко раскинувшейся деревни с многочисленным населением, нас встретил своевременно предупрежденный староста Альгамуду и сразу приказал двум парням бить в барабан, который висел во дворе его усадьбы. Барабан могучим гудением поднял все живое в деревне, весь актив, в то время как я старался сфотографировать в гаснущем свете внушительное приспособление, которое издавало такой властный грохот.

— Этот тип барабана, — объяснил мне Конде Альсени, — ненавистный инструмент, он уже обречен у нас на уничтожение...

— Почему? — удивился я.

— Он слишком напоминает старые, плохие времена, некогда его звук возвещал о жестоких распоряжениях колониальных властей, повергая людей в страх.

— А сейчас снова пугает людей, возвещая о прибытии двух непрошенных гостей, — огорчился я.

Конде, наделенный чувством юмора, рассмеялся, но меня занимал вопрос о барабанах. Ведь они представляли собой главный элемент африканской культуры, так как с их помощью почти все здешние народы разработали остроумную систему связи, которая способна передавать срочные известия на огромные расстояния со скоростью, достойной удивления. В этой области африканцы проявили внушающие уважение ум и находчивость. Что за смысл уничтожать это сейчас, когда далеко не везде есть телеграф?

— А если вы уничтожите барабаны, как же вы будете передавать сообщения?

— Не знаю, наверное, с курьерами...

— Ага, понятно, это прогресс! — весело подхватил я. — Один шаг вперед, двести — назад.

Еще гудели барабаны, еще сходились люди, еще не

всем пожали мы руки, а нам уже приказали двигаться в деревню. Многолюдная деревня насчитывала тысячу семьсот жителей и тянулась вдаль. Несмотря на то что утром мы набегались по солнцу в деревнях кониаги, нас тащили по гнусной песчаной дороге больше километра, чтобы показать гордость Камаби — хранилище земляных орехов, а также другое хранилище кукурузы, расположенное несколько дальше. Потом мы осмотрели мечеть в форме круглой африканской хижины, только раз в десять больше по размерам. Когда мы досыта пощелкали языками в знак одобрения и все похвалили, нас повели назад, в усадьбу старосты. По пути нам хотели еще продемонстрировать кузницу, но, по счастью, она осталась в стороне. Шагали мы во главе бесчисленной человеческой лавины.

— Что тут еще интересного? — спросил я у Конде и двадцати наиболее знатных граждан деревни, окружавших нас во время шествия. — Что наиболее характерно?

— Политическая жизнь! — ответил Конде не задумываясь. — Деятельность партии.

Действительно, в партии (то есть в Демократической партии Гвинеи) состояли почти все взрослые жители Камаби, как мужчины, так и женщины. Поскольку деревня была такая большая, а собрания созывались часто, пришлось создать два самостоятельных комитета партийной организации, чтобы наладить общественную работу. Несмотря на то что существовал староста и деревенский совет старшин, партия задавала тон всей деревенской жизни, она решала здесь все, без ее согласия не могло начаться ни одно важное дело.

— И в других деревнях так же? — допытывался я.

— Так же, только здесь, в Камаби, более сильная организация, лучше дисциплина и — что говорить — сознательнее люди, собранные из разных концов страны.

— А почему их собрали именно сюда?

— Граница! — коротко ответил Конде.

Из дальнейшего разговора с Конде я узнал, что деревень, подобных Камаби, в этих краях, на границе Гвинеи и Федерации Мали, существует довольно много: если прежде на границах государств возводились

оборонительные укрепления и в них размещались отряды первоклассных, овладевших военным искусством солдат, то теперь прежнее стальное оружие было заменено оружием более современным — политическим. Идейное воспитание и партийная дисциплина противопоставлялись враждебным веяниям, которыми угрожал Гвинеической Республике сосед.

Когда я понял это, моя усталость пропала, ее как рукой сняло, и я уже бодрее двигался навстречу всему, что припасла для нас Камаби.

ДИСЦИПЛИНА

Подходя к усадьбе старосты, я случайно оглянулся и буквально онемел не то от восторга, гордости, удивления, не то от ощущения комизма ситуации. Толпа, которая двигалась за нами, разрослась до нескольких сот человек и состояла преимущественно из мужчин и юношей, но были и женщины. Выглядела она невероятно внушительно, как шествие победоносного войска.

Маэстро Форд* избежал бы на этот раз растянутости действия и не смог бы лучше отработать сцену, тем более эффектную, что люди действительно были охвачены весельем и несколько возбуждены. Эта широкая людская лавина наступала на нас; мы смело маршировали впереди нее, и я очень жалел тогда, что небеса не наделили меня даром честолюбия: какое было бы наслаждение увидеть себя в этот момент в завидной роли Ягеллы, Батория**, Ганнибала *ante portas**** или руководителя — о вершина блаженства! — олимпийской команды, выступающего впереди нее на параде.

* Форд — американский кинопродюсер (*прим. ред.*).

** Ягелло (1348—1434) — великий князь литовский с 1377 г. и польский король с 1386 г. Родоначальник династии Ягеллонов. Баторий Стефан (1533—1586) — польский король в 1576—1586 г. (*прим. пер.*).

*** *Hannibal ante portas* (Ганнибал у ворот) — так извещалось население города, подвергшегося нападению грозного полководца (*прим. пер.*).

Дойдя до дома старосты, мы остались во дворе, а сопровождавшие нас люди разместились по обе стороны дороги. Вскоре мы слышали громкое, быстро приближающееся пение. По направлению к нам маршировал отряд из нескольких десятков юношей и девушек, и каждый молодой человек и каждая девушка выступали с выстроганным из дерева карабином на плече. Будущие воины обоего пола проделали перед нами ряд упражнений с оружием по команде начальника, отданной на французском языке — что поразило меня, — после чего отряд снова запел с большим темпераментом.

— Что они поют? — спросил я Конде.

— Ах, — улыбнулся он, — очень популярную песню. Это звучит так:

Как прекрасна ты, Гвинея.
Мы были рабами
под гнетом французов.
Сейчас мы свободны,
а Гвинея процветает.
Долго мы в рабстве стонали.
Сейчас, к огорчению французов,
наслаждаемся мы свободой,
и все это партии нашей
благодаря.

Поразительно, как одни и те же причины вызывают почти одинаковые отклики на разных географических широтах: три года назад я слышал в освобожденном Северном Вьетнаме, в горах Сипсонг Чонтаи, почти дословно такую же песню.

Минуту спустя мимо нас, распевая патриотические песни, продефилировал отряд девушек, также вооруженных деревянными карабинами. Подтянутые, стройные девы, все в одинаковых рубашках, своего рода униформе, маршировали, твердо убежденные в своей миссии, и бросали в нашу сторону взгляды с виду грозные и воинственные, а в действительности искрящиеся кокетливой улыбкой. Это было невыразимо забавно и мило.

Когда амазонки остановились поодаль, Конде Алсени взял слово и представил нас как гостей из дружественной Польши, а после неуверенных редких хлопков, выразивших радость присутствующих, Диабола Мустафа, учитель из Юкункуна, произнес тради-

ционную мощную речь по-фульбейски. Фульбейские слова, перемешанные с такими французскими выражениями, как *gouvernement, partie, patriotisme, liberté* *, должны были укреплять сердца, учить благонамеренности, возвещать радость сознания. Если я не ошибаюсь, оратор утверждал, что сейчас они живут хорошо, а будут жить еще лучше. Из уст Дьявола лился стремительный поток воодушевляющих слов, которые производили поразительное действие на слушателей. В конце концов все опустили головы и с глубоким вниманием обратили взоры к земле.

— Что-то не очень они любят официальные собрания,— шепнул мне Эйбель.

Когда Дьявола Мустафа кончил говорить, староста Альгамуду пригласил нас к себе. Во дворе, под манговым деревом, мы сели вокруг большого стола. Свет фонаря с трудом разгонял окружающую темноту. Началась художественная часть. Вначале певец, он же барабанщик, здоровался со всеми нами, подавая каждому руку, после чего мимо нас с тем же приветствием продефилировали около двух десятков молодых танцовщиц,— и начались песни и танцы. Барабанщик солировал, выкрикивая первые слова песни, а девушки подхватывали их хором и одновременно делали руками и ногами размеренные движения в такт аккомпанементу.

В их песне часто слышались знакомые слова: «*Секу Туре*», «*partie et gouvernement*» **. Когда я спросил Конде о содержании песни, он подтвердил мои предположения: пели гимн в честь главы партии, клялись ему в любви, клялись бороться за свободу до последней капли крови и так далее. Меня искренне восхищала последовательная тактика и железный порядок: любая оказия служила высшей цели, и абсолютно не допускалось простоев и брака в идеологической работе.

С большим интересом следил я за танцем девушек — их движения были необычайно сдержанны. Я не заметил в нем ни следа пресловутого экстаза, ни непристойной чувственности негритянских танцев, о ко-

* Правительство, партия, патриотизм, свобода (*франц.*).

** Партия и правительство (*франц.*).

торых столько было прочитано и которые можно увидеть иногда в художественных фильмах. Здесь не было ничего подобного: опрятно одетые девушки ступали аккуратными маленькими шажками вперед и назад в ритме звуков барабана, а руками, согнутыми в локтях, производили плавные, хорошо отработанные движения. Здесь было все: и приличие, и простота.

Сдержанный танец, лишенный всякой чувственности, мог казаться искусственным следствием суровости нравов, навязанной правительственными кругами,— так сильно он отличался от избитых представлений об Африке. Однако оказалось, что именно этот танец был типично африканским, распространенным во многих странах. Он был принят среди многих народов Западной Африки как танец официальный, светский, а в прежние времена даже придворный. Несколько месяцев спустя я столкнулся с ним, как со старым знакомым, в Аккре, столице Ганы, в отеле «Свийю», где африканки и африканцы танцевали его на дансинге. Здесь его называли «хай-лайф», но он был так же скромен, как и в отдаленной деревне Камаби. Лишь несколько позже выпитые виски и джины наложили на него отпечаток веселой фамильярности, как это обычно бывает на всех дансингах мира.

Какой-то ловкий плут, польский журналист, увидев этот «хай-лайф», создал вокруг него сенсацию и щедро накормил своих легковверных читателей жирной уткой, написав о демоническом действии танца на сознание, о руках, без всякого стыда блуждающих по бедрам и груди танцовщиц, о затуманенных глазах и экстазе танцующих — словом, разогнался на сладострастном скакуне преувеличения и породил в своем произведении какой-то разнузданный шабаш в самом сердце Аккры.

Во всяком случае, этот танец вводил в заблуждение уже не одного путешественника. Даже всегда уравновешенный командир английского корабля Ф. Е. Форбес позволил захватить себя пламенной фантазии. Увидев в середине XIX века при дворе царька Дагомеи танец амазонок — как следует из описания, тот самый, что я видел в деревне Камаби,— Форбес с ужасом усмотрел в мерном движении рук танцовщиц нечто символизирующее отсечение головы врага воин-

ственными амазонками. Танцовщицы в Камаби, пригожие девушки, делали те же движения руками, но были далеки от столь кроважанных помыслов.

По окончании духовного пира староста Альгамуду пригласил нас в дом для восприятия пищи телесной. Расположившись полулежа на плетеной циновке, мы захватывали ложками из общей миски вареный рис, который обмакивали потом в довольно острый соус и поглощали с волчьим аппетитом. Запив его совсем недурным кофе, конечно черным и страшно сладким, и поблагодарив этих энергичных людей за все, чем они потчевали нас, мы пустились в обратный путь в Юкункун.

— Когда бы вы хотели покинуть эти края? — спросил я Эйбея.

— Хоть завтра утром! — вздохнул он.

— Вы читаете мои мысли, — рассмеялся я.

Однако я был очень доволен посещением Юкункуна и его окрестностей. За короткое время мы узнали здесь много интересного, но отсутствие машины по-прежнему обрекло нас на милость и немилость здешних властей. Ввиду столь ограниченной свободы передвижения лучше было сразу вернуться в Конакри и направиться в другой конец Гвинеи. Когда во время ужина мы сообщили коменданту Барри Махмаду Ури о нашем намерении вернуться в Конакри, он совсем не скрывал, что ему это очень на руку, и обещал нам всяческую помощь.

И помог. На следующий день приехал грузовичок и староста Конде Альсени отвез нас в Лабе, где мы получили другую машину. К вечеру третьего дня я был уже в отеле «Парадиз» в Конакри и с удовольствием вспоминал экскурсию в округ Юкункун.

А В Т О М О Т Р И С А

Для того чтобы, путешествуя, увидеть побольше интересного, нужно везение; в последующие дни оказалось, что исключительно благосклонные боги не пожалели для меня обещанной машины. Разве не было это особым подарком судьбы, когда совсем неожидан-

но отзывчивая душа протянула мне незнакомую, но такую дружескую руку, а непреодолимая чаша позволила заглянуть в захватывающие тайны жизни животных? Чего же еще желать при таком сказочном счастье?

По правде сказать, все началось прозаично на исходе одной январской ночи на железнодорожном вокзале в Конакри. В этот раз я один отправился в путешествие на восток до города Канкана, за горами Фута-Джаллон. На вокзале было темновато, холодно, уютно, зато кишмя кишел нетерпеливый народ с невероятными узлами. Когда так называемая автотриса — поезд, состоящий из одного вагона с вторым классом впереди, а первым сзади, — подошла к перрону, вся эта кипящая лава начала штурмовать оба входа, яростно толкаясь. Это зрелище живо напомнило мне Варшаву и чрезвычайно растрогало.

Кроме меня ехали всего три европейца, западные немцы, но у них, счастливчиков, был сопровождающий из какого-то министерства, который отлично защитил их от своих соотечественников и посадил в удобные креслица. У меня тоже был билет в первый класс, но, никем не сопровождаемый, я лишь с трудом пробился внутрь вагона. Все места были заняты, а кондуктора не было. Кондуктора, как в конце концов оказалось, вообще не было, что я воспринял с удивлением.

Надо было действовать самому. Я встал в конце купе первого класса и, имея перед глазами всех пассажиров, стал присматриваться к ним по очереди, от лица к лицу, обвиняющим и изучающим взглядом василиска. Лампочки были плохие, царил полумрак — боже, снова трогательное воспоминание: такой же классический полумрак, как в поездах между Пушкинском и Познанью, — чтобы затруднить пассажирам чтение. На всех лицах застыло выражение великолепного безразличия, на меня смотрели пустые, непонимающие глаза.

Но один все-таки не выдержал — он был сражен моим взглядом. Веки его нервно затрепетали. А когда еще беспокойная улыбка тронула его губы, я уже твердо знал, что делать дальше. Не спуская с него глаз, я медленно, с угрожающим видом двинулся в его

направлении. Подойдя, я весело улыбнулся ему, так как он уже встал, уступая мне место.

— Ну,— дружески спросил я,— пассажир второго класса, правда?

— Да, я ошибся! — ответил он, казалось даже довольный тем, что ему не удалось здесь остаться.

— О! — пожалел я его.— Мне очень жаль...

— Нет, нет! — прервал он, добродушно обнажая зубы в улыбке.— Это я должен извиниться за ошибку! Я виноват!..

С взаимно вежливыми уверениями мы дружески расстались. Я сел.

Наконец поезд двинулся, с тем чтобы через два километра, на станции Диксинн, остановиться на целых полчаса. Здесь новая атака шумных пассажиров; вместе с ними явился и кондуктор.

Кондуктор сразу приступил к своим обязанностям. Когда я вручил ему билет, он довольно долго смотрел на него, тщательно читая, а потом, как бы в рассеянности, потянувшись за билетом моего соседа, спрятал в карман мой. Я попросил его вернуть билет. Рассеянный кондуктор быстро сунул руку в карман и вынул — билет второго класса.

Я рассмеялся и энергично затряс головой.

— Это не мой билет!

— Нет?! — он прикинулся удивленным и начал искать с озабоченным лицом.

— Он здесь! — помог я ему и показал на его правый карман.

Кондуктор обнаружил пропажу и с недовольным видом возвратил мне билет. Это привело меня в отличное настроение; я вынашивал в мыслях остроту по поводу того, что в Гвинее надо следить за карманами ближних своих.

Мой спутник — сидевший рядом со мной купец мандинго, который ехал в город Куруса на Нигере, как он сказал мне несколько позже,— ткнул меня в бок и спросил:

— Из какой части Франции вы родом?

— Ни из какой. Я не француз.

— Из Германии?

— Нет,— и я сказал ему, откуда я.

— Ах! — взорвался он и бросил в сторону кондук-

тора укоризненный взгляд.— Так что же эта смола прилепилась к вам?

Он бросил кондуктору несколько резких слов, вероятно указав ему на ошибку, после чего кондуктор перестал дуться на меня и в автотрисе наступило полное согласие между народами.

Инцидент с билетами явился последним рифом, который я преодолел. С этого момента путешествие пошло гладко, без неожиданностей. Вскоре яркая заря заполыхала на востоке и мир и жизнь снова стали привлекательны и прекрасны.

Когда мы двинулись из Конакри, мальчик лет, может быть, десяти, сидевший позади меня, принялся рыдать и всхлипывать. Это и ему подобные зрелища будили во мне всегда одни и те же мысли: если короткое расставание вызвало такую скорбь, сколько же слез и горя было здесь во время торговли рабами и вывоза их за море?

Я дал мальчику несколько конфет, и он перестал плакать, наверное пристыженный тем, что обратил на себя внимание. В ответ на это его мать или тетка принесла мне несколько бананов, а так как я не хотел оставаться в долгу перед ними, то на следующей станции купил им ананасы. Этот дружественный церемониал мы производили в полном молчании, без единого слова, что выглядело как-то странно — как немой фильм.

Места, по которым мы проезжали, не были мне незнакомы: приблизительно здесь мы ехали по автостраде до Маму. Как старых знакомых, приветствовал я пейзажи с горами, оливковыми пальмами и иногда с банановыми плантациями. Начинался день, погожий и приятный, как обычно в это время года, а романтическое разнообразие пейзажа переполняло душу радостью. Наиболее эффектно выглядели, как обычно, тюльпановые деревья. Эти дикорастущие магнолиевые попадались лишь изредка, всегда поодиночке; они все еще стояли в цвету и напоминали чарующие клубы алого пламени. Их можно было видеть сотню раз, и в сотый раз они всегда, неизменно, беспрестанно потрясали до глубины души. Пожалуй, это было высшее проявление экстаза тропиков и в то же время почти лунатическая оргия очарования и красоты. Приро-

да умеренных поясов не создала ничего, что хотя бы отдаленно напоминало эту пышную красу: только тропики были способны на такое безумство цвета. Не удивительно, что Гоген, страстный искатель солнечных красок, не мог удовольствоваться Францией; даже Мартиника была слишком бедна для него, и только Таити способствовал расцвету его творчества.

Вид алых деревьев будил во мне еще и другие воспоминания. Они напоминали мне стадо павианов, которое мы встретили по дороге в Юкункун. Я хотел как-то сопоставить обезьян с прекрасным деревом, но мне помешал их деспотичный вожак. Так у меня ничего и не вышло.

Через два-три часа после отъезда из Конакри мы были уже в настоящих, больших горах и ползли, извиваясь, по ущельям Фута-Джаллон, а около полудня прибыли в Маму. Стоянка здесь была продолжительной, и пассажиры вышли на станцию подкрепиться. Наибольший успех имели коробочки с сардинами; все, даже бедняки из второго класса, покупали их у разносчиц и ели знаменитые сардины с французским хлебом. Сардины в коробках — популярный дешевый продукт во всем мире, только — вследствие таинственных комбинаций и странного чародейства — не у нас, в Польше.

На восток от Маму горы становились ниже, а около трех часов дня мы выехали из основного футаджаллонского массива и оказались среди пологих холмов, которые несколько дальше переходили в суданскую равнину. У подножия этих холмов, уже в бассейне Нигера, расположился славный город Дабола, до недавнего времени столица одного из наиболее могущественных фульбейских властителей, альмами, если не ошибаюсь, из рода Альфа.

Я решил остановиться на несколько дней в Даболе. Не для поклонения древним властителям, а потому, что, как меня информировали в Конакри и Юкункуне, кажется, здесь женщины фульбе еще сохранили обычай носить волосы зачесанными в форме петушиного гребня — обычай, исчезнувший в других частях страны. До сих пор я видел удивительную прическу только на скульптурках, которые продавались в Конакри, а так как прическа была очень фотогенична, я хотел теперь

поохотиться за ней с аппаратом — ну и, конечно, за прекрасными ее обладательницами.

Сойдя с поезда в Даболе, на вокзале, в суматохе которого было бы нетрудно сломать голову, я узнал от красавца фульбе, что отель далеко, почти в двух километрах от станции. Я воспринял это сообщение недоверчиво, снова почуяв неладное, тем более что на площади не было ни одного такси, да и вообще никакого транспорта. Услужливый фульбе нашел молодого носильщика, который должен был отнести мой чемодан в отель. Когда я предусмотрительно спросил, сколько он возьмет, удивление мое было неопишимо: носильщик запросил только пятьдесят франков.

— А до отеля действительно так далеко? — все еще не верил я.

— Далеко! — подтвердили фульбе и носильщик.

— Километр?

— Значительно больше! — уверял фульбе с вежливым выражением на лице.

Может быть, они были правы.

Я устыдился своей недоверчивости к каждому африканцу. Здесь не было никакого издевательства, меня не хотели обобрать. Может быть, я наконец попал в край идиллических отношений и беспримерной честности?

Я сердечно распрощался с милым фульбе, а потом пошел за носильщиком в отель. Действительно, это было далеко. Отель находился на окраине городка, который пришлось пройти из конца в конец. По пути я видел много женщин, но мне не попалось ни одной с петушиным гребнем на голове.

— А где же дамочки с петушиной прической? — спросил я носильщика.

Он этого не знал, даже не слышал об этом, поэтому я не стал его мучать.

Уже издали отель производил приятное впечатление: его несколько одноэтажных строений были погружены в благословенную тень больших деревьев. Вокруг веяло покоем и уютом, так же мило было и внутри: в главном зале, который служил и рестораном и баром, несколько мужчин — двое белых, остальные африканцы — сидели на высоких стульях в баре и, несомненно, скрашивали жизнь послеобеденным аперитивом.

тивом. За стойкой бара стояла молодая француженка, очень упитанная, яркая брюнетка с мефистофельски наведенными бровями, жена владельца отеля. Слишком широкие, удлиненные, цвета воронова крыла брови должны были придать ей демонический вид, что совершенно противоречило выражению доброты и сладостной мягкости ее лица и ее пышной полноте.

Я приветствовал присутствующих бодрым: «Bonjour!» Все как один смерили меня удивленным взглядом, точно перед ними появилось привидение. Я был в хорошем настроении, и, желая сразу избежать недогадываний, еще с порога замахиваясь представился всем сразу:

— Я писатель из Польши. Приехал сюда, чтобы как можно лучше рассказать о Гвинее. Хочу несколько дней прожить здесь. Можно?

Крашенные брови, к которым я обратил свой вопрос, ответили с улыбкой:

— Разумеется! Что за вопрос?

Тогда я обернулся к носильщику и вложил ему в руку сто франков. Носильщик выпучил глаза, словно увидел чудо. Не иначе как я достиг страны неиспорченных людей.

Семь пар глаз все еще продолжали напряженно изучать меня; однако когда я случайно выглянул из широкого окна во двор, то онемел от удивления: я увидел еще одну пару глаз, восьмую. Там сидел на привязи шимпанзе и пожирал меня пламенным взором.

Но почему он так жадно глядел на вновь прибывшего? Чего он хотел? Дружбы? Я так и не мог понять, почему произвел такое впечатление на обезьяну.

Ш И М П А Н З Е

Пытаясь войти в доверие к шимпанзе, я приближался к нему с бисквитами, привезенными из Конакри, а обезьяна, застыв в неподвижности, словно в неистовой молитве упорно смотрела только мне в глаза. Когда я подошел, шимпанзе протянул мне правую руку в знак приветствия и пожал ее. При этом он стиснул мою руку совсем так, как это делают люди,

когда хотят показать кому-либо свое расположение. В то же время его морда — пожалуй, было бы правильнее сказать лицо — расплылась в широкой улыбке и ласковое, прерывистое ворчание так выразительно, так по-человечески понятно возвестило об испытываемом животным удовольствием.

Пока шимпанзе был неподвижен, он оставался только обезьяной; когда же он ожил, зверь вдруг исчез. Столько раз я читал об этом, но, увидев все собственными глазами, был явно потрясен, словно сделал сенсационное открытие. Это и правда было настолько неожиданно, что просто дух захватывало.

«Не совсем человек, но человеческого в нем много», — писал когда-то о шимпанзе знаменитый А. Е. Брем. Сколько же именно этого человеческого можно было увидеть в великолепном экземпляре, с которым я познакомился в Даболе! Разумеется, это был не человек, но он необыкновенно напоминал человека. Это, бесспорно, был какой-то неудачный кузен человека, какой-то потомок общего с человеком праотца, наш близкий родственник, лишь задержавшийся в своем развитии. Не кретин, а какое-то несчастное дитя, с не по возрасту развитой гаммой чувств, поразительно похожих на наши, и с разумом почти человеческим. Поняв это, я не мог овладеть собой: меня охватило что-то вроде паники.

— Comment ça va, Сосо? * — назвал я его по имени, которое узнал у хозяйки.

Он ответил дружеским ворчанием, двумя пальцами осторожно взял из моей руки один бисквит и сжал его губами.

— Съешь, Коко, это сладко, вкусно! — уговаривал я его.

В колебании он медленно сгрыз бисквит, из вежливости, не желая доставить мне неприятность: однако он предпочел бы, вероятно, что-нибудь другое, наверное банан, о чем легко было догадаться по неопределенному выражению его лица.

Но банана у меня не было; когда я дал ему второй бисквит, он взял его так же вежливо, однако на этот раз с плаксивым ворчанием. Он тихо жаловался,

* Как поживаешь, Коко (франц.).

верхняя губа его горестно обвисла, глаза потухли: выразительность его чувств была просто непостижима, характерный актер не изобразил бы разочарования ярче.

Но вот его глаза заблестели, в них загорелись озорные огоньки: ему в голову пришла какая-то мысль. Некоторое время он беспомощно держал бисквит в правой руке, затем вдруг протянул ко мне левую, схватил за рубашку на груди и молниеносным движением всунул бисквит мне в карман. Потом, бурно радуясь своей удачной шутке (ведь хорошая шутка дорого стоит), шимпанзе начал весело похмыкивать: хо, хо, хо! — бить руками по пню, к которому он был привязан, и перескакивать с ноги на ногу. При этом он строил мне уморительные рожи. Тонкое чувство юмора, свойство исключительно человеческое, пожалуй, неизвестно другим животным, даже обезьянам, но это был именно человек, гомункулус.

— Ах ты шельма! — смеялся я вместе с ним.

Он снова подал мне правую руку, словно извиняясь. Шимпанзе, видимо, любил часто подавать руку — по французскому обычаю. Пользуясь случаем, я пригляделся к его лапище. Она была тоже очень похожа на человеческую, с быстрыми цепкими пальцами, только немного более короткими. Когда я повернул руку и увидел ладонь, то даже присвистнул от удивления: все линии, какие пересекают ладонь человека, были и у Коко. Линия жизни была довольно длинная, она предсказывала долгую жизнь; линия головы — заурядная. Коко философом не был и не будет; зато линия сердца — великолепная: феноменальная, глубокая борозда шла через всю ладонь. Коко был создан для сильных чувств, волнений, для великой любви.

А линия судьбы — что за причудливый курьез! Вся перекрученная, изменчивая, запутанная, шальная, она обрывалась как бы дальним трагическим путешествием. Путешествием куда? В неведомые страны, а может быть, в холодную Францию? Эй, Коко, когда твоя хозяйка, выезжая во Францию, захочет взять тебя с собой, ты не соглашайся, беги в лес. Но как же ты убежишь от людей, если у тебя такая глубокая линия сердца?

Шерсть шимпанзе была черная, зато лицо — более светлое и меньше покрыто волосами. Очень большой рот и выдающаяся вперед нижняя челюсть придавали ему добродушный вид; он, и правда, был добродушен.

Когда шимпанзе стоял на ногах, он не достигал метра с четвертью, то есть ему еще немного нехватало до полного роста взрослой обезьяны. Привязанный на длинную цепочку, он целый день находился во дворе. Чаще всего он сидел на высоком пне срубленного дерева и смертельно скучал, будучи по природе компанейским малым. Хозяйка отеля объяснила мне, почему он такой ручной: шимпанзе родился в неволе, и с самого его рождения, в течение нескольких лет, она растила его, как собственного ребенка. Сама она была бездетна.

Коко вежливо разрешал мне разглядывать линии его руки, но в конце концов потерял терпение и приступил к другой игре. Его заинтересовали мои сандалии, которые застегивались на пряжки. Он спрыгнул на землю, уселся поудобнее и начал трудиться над правой пряжкой, стараясь ее расстегнуть. Он делал это с необыкновенной осторожностью, так, словно имел дело с маленьким ребенком. Ни одно резкое движение не нарушало размеренного ритма его работы. Легким, едва ощутимым прикосновением пальцев он прикасался к пряжке, ощупывал, временами тихонько нажимал... Шимпанзе был совсем на правильном пути и тянул за нужный конец ремешка, но слишком слабо, поэтому не расстегнул пряжки и не понял сути дела.

В тщетных поисках разрешения задачи он всю душу, если так можно сказать, вкладывал во взгляд. В его глазах отражалось огромное усилие мысли — так пристально, с разумным волнением впивался его взгляд в предмет, который занимал его. Способность к такому усилию, такой пытливый интерес к сути дела тоже были типично человеческими, и эта черта сближала его с человеком.

Шимпанзе бился целых десять минут, но не нашел ключа к загадке. Однако было видно, что он у цели; его мысль поднялась уже до степени познания, и лишь немного не хватало до понимания сути вещей.

Тогда я на его глазах отстегнул пряжку, показы-

вая ему, что надо тянуть за конец ремешка с большей силой, чем это делал он, и снова застегнул ее. Он даже забулькал от радостного воодушевления. Нетерпеливым движением он оттолкнул мою руку от сандалии и попробовал сам. На этот раз все получилось замечательно. С первой же попытки он с легкостью отстегнул пряжку, а после трех или четырех попыток сумел также ее застегнуть. Мы оба были на седьмом небе от счастья, словно Коко сдал экзамен на аттестат зрелости.

В безумной радости шимпанзе издавал приглушенные торжествующие крики, скалил зубы, улыбался от уха до уха, одновременно протягивая мне руку, как будто поздравлял меня и себя. Потом он начал танцевать, прыгать с ноги на ногу, бить рукой по земле. Он, разбойник, так разошелся, что я с большой охотой принял бы участие в его танце, если бы не опасался, что постояльцы отеля сочтут меня за сумасшедшего.

Ш А В О

Тем временем к нам подошла хозяйка отеля. Ее дружеская улыбка из-под демонических бровей остудила буйное веселье и мое и шимпанзе. словно проспнувшись, мы вернулись на землю из радужной страны пленительного Брема, когда наших ушей достиг бархатный голос дородной брюнетки:

— У мсье Шаво к вам просьба!

Что за черт? Полиция? Я переполошился; глупо и без причины. Взяв себя в руки, я спросил:

— Кто этот господин? Африканец?

— Нет, француз, здешний, живет в бруссе. Он хотел передать вам через меня свою просьбу.

— Я вас слушаю. Пожалуйста! — вздохнул я свободнее. — Чем могу служить?

— Он хотел бы пригласить вас на некоторое время к себе погостить в его бруссе...

— Но ведь он совсем не знает меня и я его не знаю.

— Он знает вас, он слышал только что, как вы представились. Это очень порядочный человек! — угаривала меня пышная хозяйка.

Во мне вспыхнуло инстинктивное желание воспротивиться, как будто кто-то чужой вторгся в мою жизнь и насильно хотел оторвать меня от шимпанзе и изящных женщин фульбе с прическами.

— Но я предполагаю на несколько дней остановиться здесь, в Даболе, а потом ехать дальше, в Канкан! — сообщил я.

— Поговорите с ним сами! — просила хозяйка.

Так я и сделал.

Шаво, один из тех европейцев, что сидели за стойкой бара, не проявлял нервной горячности, свойственной французам, что сразу меня к нему расположило. Ему не было еще и сорока, он был полный, но не оплывший, производил впечатление человека здорового и достойного доверия. Со скромной несмелой улыбкой он повторил мне все, что уже говорила хозяйка отеля, но я, не желая расставаться ни с моими фульбе, ни с шимпанзе, вежливо, но решительно отказал ему. Мой отказ очень разочаровал и явно опечалил Шава. Улыбка и глаза его сделались такими грустными, что мне стало его жаль.

— Может быть, я бы заехал к вам через два-три дня? — старался я смягчить удар.

Шава, как оказалось, жил далеко в чаще, поблизости от деревни Сарая, километрах в ста от Даболы. Еще сегодня, самое позднее через час, он должен был возвратиться на своем грузовичке домой и не предполагал вернуться в Даболу раньше чем через четыре-пять дней.

— Но если бы вы сегодня поехали со мной, — говорил он, — и пожелали бы вернуться в Даболу через два или три дня, то, разумеется, я немедленно отвез бы вас.

По выражению его лица чувствовалось, что ему почему-то очень, как-то чрезвычайно было нужно, чтобы я погостил у него. Черт побери! Я сообразил, что, будучи человеком культурным и безнадежно отрезанным от мира в своих дебрях, он жаждал общества гостя, только что прибывшего из большого света, но чтобы так сразу, необдуманно приглашать к себе совер-

шенно постороннего ему человека — это показалось мне каким-то странным сумасбродством.

— А вы совершенно уверены в том, что не обманетесь во мне? — шутливо спросил я его.

— Совершенно уверен! — его глаза весело заблестели. — У меня есть веское подтверждение этому.

— Веское?

— Посмотрите, пожалуйста!

Через большое окно он показал пальцем во двор. Шимпанзе, заметив, что я на него смотрю, начал приглашать меня к себе рукой. Он без конца повторял один и тот же жест: все вытягивал ко мне руку и торопливо отдергивал ее назад, словно стыдился этого приглашения.

— Вы понравились Коко! — сказал Шаво.

— Ему, наверное, одинаково нравятся все постоляльцы!

— Ничего подобного! При виде некоторых парней он всегда впадает в ярость и охотно покусал бы их, и это как раз такие типы, которых лучше избегать. У Коко безошибочное чутье...

Шаво обратил внимание еще на одну деталь: шимпанзе, приглашая меня подойти, протягивал к нам открытую ладонь. Людям, которых он не переносил, он показывал кулак. Это было хорошо всем известно.

— Словом, Коко высказывает обо мне хорошее мнение! — расхохотался я.

— Самое лучшее из возможных...

В конце концов, соглашаясь погостить у своеобразного француза, чего я мог опасаться? Что покупаю кота в мешке? Но ведь я искал приключений. Правда, я задержался бы на два-три дня против моего прежнего плана, но такая ли уж это потеря времени? А сам Шаво был для меня очень интересной загадкой, он просто разжег мое любопытство. Несомненно, по каким-то там причинам он жаждал человеческого общения, так почему бы и не помочь ему?

— Так вы привезете меня в Даболу через два-три дня? — еще раз спросил я его.

— Ну конечно, привезу! У вас здесь какие-нибудь дела?

— Я хотел бы сфотографировать женщин фульбе с причудливыми прическами.

Шаво безмерно удивился. И когда я объяснил ему, в чем дело, он сообщил, что уже много лет не видел здесь таких причесок, подобный обычай здесь давно забыт. Это подтвердили все мужчины, которые сидели в баре.

— Конец! — усмехнулся я. — Раз так, то я буду спешить сюда только к Коко!

Сделавшись серьезным, Шаво спросил:

— Вы любите природу?

Когда я ответил утвердительно, он стал уговаривать меня:

— У меня еще можно увидеть последние богатства старой Африки. Есть дикие животные. Даже слоны сохранились. Их пастбища километрах в пятнадцати от моего дома.

Ничего нельзя было поделаться, у меня не было выхода, я позволил себя соблазнить. Шимпанзе мог подождать. Соглашаясь, я поставил лишь одно условие, а именно что в Даболе Шаво будет моим гостем, как в Сарае я буду его, — и вскоре мы сели за ужин.

Я не жалел для нас обоих вина, исключительно вкусного «vin de table» *, чтобы лед тронулся и развязались языки. Мне хотелось не только понять, что было у француза за душой, но и самому немножко разойтись, настроиться на эту безумную затею.

Шаво не был чудаком. Имея кое-какое образование и обладая хорошими манерами, он мог приятно и остроумно болгать на любую тему. Он любил Африку, дела его шли недурно, так как у него не было слишком высоких запросов; в своем бруссе он выращивал рис, имел также небольшую лесопилку и не думал возвращаться во Францию. Он обожал природу, любил животных, но так, как может их любить человек, живущий в пустыне: во время своих многочисленных поездок на грузовичке по брусу он всегда имел заряженный карабин и двустволку.

Словом, это был удачный вечер.

За соседним столом ужинали супруги — владельцы отеля в обществе Коко. Шимпанзе сел к столу, как человек, и держался совершенно так же, как человек. Он съел суп ложкой, налил себе четверть стаканчика

* Столовое вино (франц.).

вина, долил водой доверху и, отпив глоток, выразил свое удовольствие удовлетворенным чмоканьем, как заправский знаток. Потом он положил себе в тарелку мяса, картошки и овощей и стал есть с нескрываемым аппетитом. Он хотел добавить еще, но хозяйка спокойно заметила ему, чтобы он не обжирался, потому что будет еще сладкое. Шимпанзе скорчил унылую рожу, но послушался.

Когда его хозяева занялись разговором и ему показалось, что на него никто не смотрит, Коко мигом схватил бутылку вина и налил себе целый стакан. Хозяйка, отчитывая его, хотела отобрать у него спиртное, но он проворно увертывался от ее рук. Шимпанзе поднял стакан, обращаясь к нашему столу, как будто пил за нас, и стал с жадностью тянуть вино большими глотками. Он выпил добрую половину, прежде чем у него отняли стакан. Сыгранная им шутка привела шимпанзе в такое хорошее настроение, что он начал строить нам невероятно смешные рожи и торжествуяще махать руками.

Я с удивлением смотрел на него, вновь потрясенный до глубины души. Потрясенный мыслью о том, насколько ничтожна преграда, которая разделяла ум шимпанзе и наш человеческий. Ведь обезьяна обладала не только исключительным даром подражания и умом, который превращал этот дар в разумное мышление, но сверх того таким живым чувством юмора!

Около девяти мы выехали в густую черную ночь. Сначала мы ехали на восток по хорошему шоссе, которое вело в направлении городка Курусы на Нигере, но примерно на половине дороги, километрах в восьмидесяти от Даболы, свернули вправо, на запущенную ухабистую дорогу. Брус, который до сих пор держался на почтительном расстоянии от дороги, набрался здесь храбрости. Он наскакивал и напирал на нас, бился ветвями в стекла машины. На бовальях, обширных паллах, заросли отступали далеко в стороны. Тогда на бесплодных полянах в свете фар видна была нескончаемая масса грибов-термитников. Они стояли, точно серые гномы в колпачках; контуры их мне были уже знакомы по путешествию в Юкункун.

Мы разговаривали друг с другом немного. Шаво был занят сложной дорогой, я пребывал в полудреме.

Но один раз я мгновенно пришел в себя: мы ехали узким коридором между двумя стенами густой желтой травы, высотой самое меньшее в три человеческих роста. Фантастическая растительность словно перенесла нас в другой, неземной мир или в другую эпоху: такая гигантская трава могла расти в эпоху динозавров и скрывать в своей чаще невиданные чудовища. Пахнуло доисторической Африкой.

— Хорошее укрытие для слонов! — заметил я.

— Нет, — ответил Шаво. — Слоны не любят шелестящей травы, кроме того, здесь нет для них корма. Им нужен лес, деревья.

— А другие животные?

— Могут быть. Леопарды, антилопы, кабаны, всякая мелочь...

Как бы в подтверждение его слов, далеко впереди нас, куда достигал лишь слабый свет фар, в узкой горловине дороги, сгрудились какие-то животные. Шаво дал сильный газ и зашарил правой рукой по днищу кабины, где лежали ружья. Перед нами теснилось такое большое стадо, что я сразу не мог понять, что за животные лезли через дорогу.

— Кобы! — шепнул мой товарищ.

Теперь и я узнал: крупные антилопы с рогами в форме лиры были великолепны. Машина мчалась, приближаясь к животным, мы все яснее различали светлые головы и темные спины. Когда мы оказались шагах в ста от стада, Шаво резко затормозил и выскочил из машины с карабином в руке.

К сожалению, слишком поздно. На дороге уже не было антилоп. Либо пробежало все стадо, либо последние животные, не выходя на дорогу, отпрянули в заросли, испугавшись остановившегося автомобиля.

Мы стояли не шевелясь. Сердце у меня стучало. Горловина дороги, в которой несколько секунд назад кипела жизнь, зияла теперь пустотой. Стебли растрепанной травы, повисшие над дорогой, еще трепетали. Некоторое время мы слышали удаляющийся топот копыт и шелест зарослей, потом все стихло. Только цикады, как обычно, пронизывали воздух вьедливым стрекотанием.

Сколько было антилоп? Сто? Двести? Природа закусила удила фантазии и на мгновение обнаружила

перед нами великолепие своего репертуара. Как раз настолько, чтобы околдовать человека, вызвать у него тревожную тоску.

Через несколько километров одинокая антилопа, добрая знакомая мина с громадными ложками-ушами, встала на дороге, вглядываясь в свет наших фар без страха, словно полностью доверяла человеку.

— Мины любят держаться вблизи человеческих поселений,— объяснил Шаво.

— И не боятся человека? — спросил я.

— Меньше, чем леопарда.

— А как человек отвечает на их доверчивость?

— Стреляет, разумеется...

На этот раз, однако, Шаво не собирался стрелять. Мина постояла еще некоторое время, прежде чем скрылась в зарослях, а через несколько сот шагов впереди среди деревьев возник силуэт строения, перед которым стояла машина. Мы были у цели. Часы показывали полночь. Шаво крикнул; из дома вышла заспанная женщина.

— Моя жена! — представил он.

Несмотря на темноту ночи, я заметил, что это была африканка.

ТАИТИ

Я не знаю, издают ли антилопы кобы какие-нибудь звуки, но, когда этой ночью я услышал их во сне, мне стало жутко: ни дать ни взять голоса из ада. Животные, которые мне снились, были крупнее, чем в действительности, они носились вокруг меня плотной, беспрестанно движущейся массой, издавали ужасные звуки, так как были напуганы. Они выли, рычали, хрюкали, стонали, как окаянные души. Даже во сне я смутно понимал абсурдное противоречие: по внешности они были воплощением очарования, по голосу — устрашающие чудища. Их голоса были так пронзительны, что, когда я время от времени пробуждался, в полусне словно все еще слышал визг. Странные антилопы.

За завтраком все выяснилось: ночью кричали так

жутко не призрачные видения, а живые звери, которые нахально подходили в темноте к самому дому. Хищники рыскали в округе в поисках корма, особенно кухонных отбросов, но при случае не пренебрегли бы и живой добычей — собакой, курицей, бараном, коровой, в исключительных случаях — беззащитным человеком. На ночь надо было запираить от них все съедобное. Они были трусливы и обычно убегали от одного человеческого голоса, но, нападая большой стаей, иногда проявляли безумную дерзость. Человек, ночующий в брусе, опасался не только льва и леопарда, но также наглости гиен, готовых, пока он спит, вытянуть мешок из-под его головы или вырвать кусок живого тела. Они были ужасно прожорливы, а их сильные челюсти легко дробили самую толстую кость.

Я узнавал любопытные вещи о ночных гостях во время завтрака, который проходил на просторной веранде. Мы завтракали вчетвером: Шаво, два его сына — тринадцатилетний Поль и десятилетний Жан-Поль, учтивые маленькие мулаты, — и я. Жена Шаво, худощавая и еще довольно молодая женщина фульбе, молча прислуживала нам вместе с боем, которого звали Мансале Кули.

До чего же приятно было сидеть в этом дружеском кругу, на свежем воздухе, сказочно прохладным утром, слушать Шаво, который рассказывал о неприятностях с гиенами как о рядовом событии повседневной жизни, тешить взгляд трепетной игрой изумрудных теней в роще перед нами и уничтожать вкусный завтрак: отличный кофе в мисочках и какие-то замысловатые африканские блинчики, которые хозяйка пекла тут же рядом на железной печурке.

Дом Шаво необычайно напоминал подворья мелкопоместной шляхты в Полесье. Он был весьма обширен и относительно низок, одноэтажный. Крыша, покрытая толстой соломой, внизу заканчивалась широким навесом, который отбрасывал тень на белые, оштукатуренные стены. Лишь очень широкий вход и широкие окна были не такие, как в Польше, — тропические. Впечатление скромного уюта еще более усиливалось внутри дома: половину его занимала гостиная, где принимали гостей и больше всего находились днем. Низкий, круглый стол, окруженный кабинетными креслами, был

центром помещения и манил возможностью выпить стаканчик аперитива. В одном из углов стоял второй стол, четырехугольный, грубо сколоченный, с простыми лавками; здесь обедали и ужинали. В этой гостиной я ночевал на козетке, застланной для сна.

В другой половине дома помещалась спальня супругов, а также просторная ванная с душем и бассейном, вделанным в пол. Водопровода в доме не было. Сыновья хозяев и бой спали в отдельной круглой мазанке шагах в ста от дома, и там же находилось кухонное помещение. Все дышало опрятностью и свидетельствовало не о стремлении к роскоши, а прежде всего о желании обеспечить себе наибольшие удобства простыми средствами.

В этот день было воскресенье, на лесопилке не работали. Шаво был свободен. Мы могли поболтать. Мы беседовали о чудесах бруса, о чудачествах людей, о шлемоголовых птицах турако, о крупных флажках-козодоях, об орле-скоморохе, которого африканцы называют обезьяной небес — такие штуки он выделяет в воздухе, — о рыжих обезьянах на опушке зарослей, о мандинго и фульбе, хороших, но страшно капризных соседях, о лесопилке и рисовых полях Шаво.

Но больше всего мы говорили о судьбе моего хозяина и его близких, завлеченных в этот красочный мир. Шаво врос в здешнюю землю, как и другие жители, он чувствовал себя в общей сети, которая, несмотря на то что ее невозможно было разорвать, не стала для него враждебными путями, не душила его. Напротив, она давала ему ощущение полноты жизни и такого счастья, какого — уверял он меня — он наверняка не узнал бы ни в другом окружении, ни в другой стране, даже во Франции.

Когда он прервал на минуту свои трогательные признания, я заговорил:

— Несколько лет назад я был на Таити, действительно самом прекрасном из всех островов, несмотря на банальную пропаганду. Люди до сих пор живут там в райской беззаботности среди необычайно щедрой природы, предаются танцам, пению, любви. Многие французы, искатели идиллического счастья, осели на Таити, поселились в хижинах, женились на жительницах острова, жили, ели, одевались, как местное на-

селение, даже принимали их обычаи и образ мыслей, хотели быть счастливы так же, как они, но, когда, казалось, достигали вершины счастья,— что-то в них предательски надламывалось. Спустя несколько лет, а чаще всего уже через несколько месяцев искатели идиллии терпели полное поражение — я знал таких множество. Они были по горло сыты так называемым счастьем, им становился противен примитивный образ жизни, у жен-таитянок они открывали безнадежную духовную пустоту и, горько разочарованные, не раз всерьез надломленные, бежали к цивилизации, к своим... Каково?..

Лицо Шаво весело задрожало, глаза его превратились в щелочки, когда он с живостью прервал меня:

— Ах, вы, наверное, хотите спросить, не так ли обстоят дела здесь, в гвинейском бруссе, не пахнет ли тем же, что на Таити? Не уготовил ли себе кое-кто разочарование и печальную судьбу на манер тех любителей идиллий? Вы об этом хотите спросить?

Говоря «кое-кто», Шаво потешно указывал на себя пальцем. Я возражал против такого крайнего сравнения с преувеличенным энтузиазмом, но он, развеселившись, бил кулаком по своей ладони.

— Хотите, я приведу неоспоримое доказательство того, что здесь все совершенно иначе, чем на Таити?

— Пожалуйста, я слушаю.

— Простая вещь: гражданин Шарль Шаво сидит в Гвинее по доброй воле уже больше двадцати лет и, бог даст, просидит здесь еще столько же!

После чего, посерьезнев, он начал выкладывать, в чем заключается разница и почему он здесь счастлив. Поклонники Таити — это прежде всего пустые люди, эротоманы, которые приезжали туда, чтобы осуществлять свои болезненные, разнузданные мечты о любви. Что вносили они в жизнь острова? Желание жить исключительно чувственной жизнью, эгоизм, поверхностные понятия, почерпнутые из сентиментальных фильмов, грубую распущенность. Что давали они острову? Ничего, они хотели только брать — брать все по дешевке. Разве не ясно, что это должно было кончиться скукой, недовольством, полным разочарованием? Поэтому, что они поклонялись не Таити, а лишь своим низменным страстям.

А Шаво? Он совсем иначе относился к Африке. Возможно, что это звучит возвышенно, но он любил Африку. Сам факт возникновения такого чувства был достаточно необычен, романтичен, может быть, даже фантастичен, но само чувство Шаво оказалось простым, здоровым и практичным. Он любил Африку, усердно трудился и был счастлив, что своими усилиями способствует ее подъему. Он был, можно сказать, горячим патриотом Африки (явление очень редкое среди европейцев), и его патриотизм выражался в искренних, даже, пожалуй, сентиментальных, хотя и вполне мужских чувствах ко всему, что входило в понятие Африка,— к людям, земле, растениям, животным.

Этò была его большая любовь, какая-то иррациональная любовь. У меня было такое впечатление, что Шаво, беря в жены девушку фульбе, брал ее не только из-за красоты и личных достоинств, но также и потому, что, по его понятиям, она была олицетворением всего африканского, живым, изящным воплощением Африки.

Я громко выразил свое удивление тем, что Шаво, просидевший больше двадцати лет в бресе, так блестяще сумел охарактеризовать поклонников Таити. Это свидетельствовало о его начитанности. Может быть, у него хорошая библиотека?

— К сожалению, убогая! — ответил он и, так как мы уже давно окончили завтрак, провел меня в дом. В углу гостиной он указал на небольшой стеллаж, уставленный книгами. На столике рядом лежала кипа французских иллюстрированных журналов, относительно свежих.

— Все это я прочел внимательно, с увлечением,— сказал Шаво.— Увы, больше всего в последнее время рассуждают о чреве девицы Фарах — родит она шаху Ирана наследника или нет,— но иногда можно кое-что узнать о незадачливых поклонниках Таити...

Первая с краю книга, которую я взял, сразу меня заинтересовала: доктор Эмиль Громье писал о фауне Гвинеи.

— Не плоха! — заметил Шаво.— Только немного дилетантская, полна пробелов...

— Я хотел бы ее прочитать!

— Здесь все в вашем распоряжении!..

Тем временем со двора вошел Поль, старший сын

хозяина, с минуту он вежливо ждал, когда мы кончим говорить о книгах, потом тихо сообщил отцу:

— Прилетел орел!..

— Ну так пойдете к нему! — обратился ко мне хозяин. — Это старый, недобрый знакомый. Сегодня он рано явился.

ОРЕЛ-СКОМОРОХ *

Прежде чем мы покинули дом, Шаво приказал сыну принести из спальни двустволку и два патрона с самой крупной дробью. Не дожидаясь, пока принесут оружие, мы оба не спеша вышли во двор и направились в сторону хозяйственных построек, отдаленных от дома, как я уже упоминал, примерно шагов на сто.

Настоящая роща находилась по другую сторону дома, а здесь было больше свободного пространства, росло лишь несколько манговых деревьев на некотором расстоянии друг от друга, виднелись большие куски неба, а чуть дальше, в стороне, светлело уже совершенно открытое пустое место; в период дождей тут, наверное, был огород. За этим небольшим полем начинался дикий брус, из которого ночью подходили к дому голодные скандалисты, гиены.

Во дворе мы обнаружили полное смятение, сущий хаос перед судным днем. Куры, которые до этого беззаботно рылись в земле на поле, неслись сломя голову в сторону кухни, подгоняемые хозяйкой. Бой Мансале Кули и Жан-Поль, младший сын Шаво, гнали в укрытие несколько блеющих овец. Две дворняги, словно ошарен со страху, яростно лаяли и в беспамятстве носились по двору, то и дело попадаясь под ноги. Спешащие люди постоянно задирали кверху головы. Словом, Содом и Гоморра.

А вот и виновник беспокойства. Мы заметили его, летящего высоко над кромкой бруса, недалеко от нашего маленького поля. В противоположность тому переполоху, который все усиливался на земле, сам он гордо и неторопливо летел в вышине — истинное вопло-

* Орел-скоморох, или фигляр (*Terathopius ecaudatus*), — хищная птица семейства ястребиных (прим. пер.).

шение величественного покоя. Настоящий гигант! Сколько метров могло быть в размахе его мощных крыльев? Два с половиной, может быть, три? Он отличался маленьким хвостом и поразительно большой головой. Исключительно сильный, страшный клюв, поражающий даже на таком расстоянии, убедительно свидетельствовал о том, какой это задира.

Орел не кружил над нами по обычаю других хищников, а летел в одном направлении, затем делал большой круг и возвращался тем же путем.

Мы следили за его полетом из-под дерева, укрытые листвой.

— Враг номер один! — заметил Шаво.

В этот момент Поль, выглянув из-за деревьев, принес ружье. Шаво проверил, теми ли патронами оно заряжено.

— Враг номер один! — повторил он.— Всего неделю назад он утащил у нас отличного ягненка. Сейчас он появляется почти каждый день, хоть на несколько минут. Вы видите его клюв?

— Вижу.

— Одним ударом он пробивает череп взрослого барана. Как ореховую скорлупу.

— И может поднять его в воздух?

— Как перепелку.

Поскольку птица летала в основном над полем, мы двинулись в ту сторону, стараясь все время находиться под защитой деревьев. Первым крался Шаво с ружьем, приготовленным для выстрела.

Вдруг я остановился как вкопанный, обескураженный поведением орла. Гигант, который до этой минуты держался с достоинством, как подобало царю птиц, внезапно превратился в циркового клоуна. Ему захотелось подурачиться. Ни с того ни с сего орел сложил вдоль тела одно крыло, не переставая махать другим. В результате, продолжая лететь вперед, он стал переворачиваться вокруг своей оси, словно ввинчивался штопором в воздух. Это в точности напоминало фигуру самолетов-истребителей, которая называется «бочка».

— Однако забавный типчик! — удивился я.

— Мы называем его орлом-скоморохом, и мне кажется, что это и официальное его название,— объяснил Шаво.— Он относится к семейству орлов скорее всего

рыбоядных, которые обычно селятся у большой воды...

— Но ведь здесь нет такой воды!

— Есть Нигер в тридцати километрах отсюда. Я предполагаю, что он прилетает с Нигера.

Сейчас, когда орел вращался вокруг своей оси, я видел, что он не сплошь черный: поверхность крыльев была у него красивого коричневого цвета.

Через некоторое время ему надоело делать «бочки» и он приступил к следующему номеру. Он попеременно то складывал крылья, камнем падая вниз, то распластывал их, паря по горизонтали; от этого казалось, что он опускается, как по воздушной лестнице. Но мало этого: вскоре он начал кувыркаться, самым настоящим образом кувыркаться, переворачиваясь через голову.

Так он проказничал и дурачился в воздухе, не больше чем в нескольких десятках метров над землей. Мы рванулись вперед, когда он еще продолжал безумствовать и скакать козлом. Но, странное дело, он следил за нами и не подпустил к себе. В какой-то момент он перестал резвиться и тотчас же успокоился. Он снова был достойным владыкой, высматривающим свою жертву. Дьявольски предусмотрительный, он облетел нас стороной, не позволяя подойти к себе.

— Я бы не поверил, — шепнул я Шаво, — если бы не видел все своими глазами. Чем это объяснить? Для чего он это делал?

— Я не знаю! — пожал плечами хозяин. — Я не нахожу разумного объяснения. Просто каприз природы. Животные часто испытывают потребность играть: может быть, орла охватывает желание резвиться — и все.

— И часто это случается?

— Он посещает нас уже две недели, но бесновался только три-четыре раза... В него надо стрелять из маузера. Повторяю: это враг номер один!

Тем временем орел снова величественно летал над нами и, как прежде, вычерчивал в небе зловещие линии. Там, наверху, он выписывал для земли свое «мене-текел-упарсин»*, предсказывая смерть всем творениям, более слабым, чем он. У слабых был только один способ защиты — спрятаться в укрытие — и одна воз-

* По библейскому преданию, такая надпись, напечатанная таинственной рукой, появилась на стене чертога царя Валтасара. В ту же ночь, как сказано в Библии, он был убит (*прим. пер.*).

можность передышки, когда крылатый владыка отдавался таинственной игре.

Вскоре орел убедился, что у нас ему не удастся ничем поживиться. Можно было догадаться, что он собирается улететь.

Между тем он что-то заметил на земле. Паря над зарослями кустарника, которые прилегали к полю, он вдруг сложил крылья, метнулся как молния вниз, в кустарник. Через несколько мгновений орел взмыл в воздух, но на этот раз он держал в когтях что-то бешено извивающееся — большую змею. С этой добычей он пропал из виду, и вправду направившись на юг, в сторону Нигера.

— Не враг, а друг номер один! — закричал я весело, показывая пальцем на улетающую птицу.

— Ну, хорошо! Пусть будет так! — согласился Шаво. — Но все-таки я приготовлю для него пулю.

Итак, в ближайшие дни предстояла интересная охота на орла, вернее, слежка за ним. Тем временем Шаво отложил ружье, достал длинный нож и пошел резать одного из подростших ягнят.

Было воскресенье, и был гость в доме.

МАНДИНГО

Довольно поздно после обеда — состоявшего из великолепной печенки и грудинки ягненка — мы выехали на охоту на грузовичке Шаво. К антилопам, как объяснил хозяин, можно было подъехать на машине на двадцать шагов, а если подходить пешком, они убегают, еще издали почуяв человека.

Грузовичок был неоценим. Шесть литров бензина на сто километров, грузоподъемность одна тонна, а собственный вес полтонны — как перышко: обыкновенный смертный, совсем не силач, с легкостью мог поднять заднюю часть автомобиля и занести ее вбок; можно сказать жестянка, но жестянка прочная, как бетон.

Примерно в полукилометре от жилища Шаво мы заметили на его старом рисовом поле двух рыжих обезьян. Это были потешные создания, довольно круп-

ные, с физиономиями арлекинов. Позже, сколько бы раз мы ни приезжали сюда в жаркое время дня, мы всегда заставляли их здесь, в ста метрах от дороги. Они резвились и шалили, разыскивая какой-то корм, наверное насекомых. Каждый раз мы забавлялись, наблюдая проделки рыжих; обезьяны были пунктуальны, как часы, и добросовестны, как надежные чиновники.

Зверь чаще всего попадался на опушках бовалей, там, где палы переходили в чащу, но сегодня нам ничего не попало. Зато мы проехали несколько деревень и Шаво рассказывал мне о жителях. За эти годы он сжился с ними, высоко их ценил и сам был чрезвычайно любим ими. С новыми властями он жил в полном согласии. Когда в одной из деревушек мы увидели вдали от дороги новенькое здание из кирпича, покрытое белой штукатуркой, солидное, хотя и одноэтажное, Шаво объяснил, что это жители сами построили такую прекрасную школу на собственные средства и что работали они добровольно. Использование общественных средств на общественно полезные цели, так называемая инвестиция,— движение в настоящее время очень популярное в Гвинее. Сам Шаво предоставил им доски со своей лесопилки.

Я хотел выйти из машины и подойти к школе, чтобы сфотографировать ее вблизи, но Шаво предупредил, чтобы я этого не делал. У нас могли бы возникнуть неприятности. Жители этой деревни, одержимые сознанием важности своей современной миссии, даже его выводили из терпения. Сейчас они могут косо посмотреть на фотографирование чужим европейцем нового объекта и задержать его на несколько часов.

— Разве школа — это объект особой важности? — со смехом спросил я.

— Нет,— ответил он,— не совсем так, хотя, может быть, отчасти...

— А может быть, белый человек сглазит их постройку?

— Вот-вот, это уже более вероятно.— Он добродушно улыбнулся.— Недаром в течение нескольких недель белые люди прилагали столько усилий, чтобы снискать себе репутацию злых колдунов...

Я сделал снимок школы лишь издали, украдкой, из остановившегося на минуту автомобиля.

— Школа,— объяснил Шаво,— уже полгода, как готова, но все еще бездействует. Это несчастье Гвинеи: не хватает учителей...

В других деревнях жители относились к нам очень доброжелательно: Шаво, старого знакомого, везде приветствовали дружески, меня тоже. Хорошо сложенные люди, рослые, с открытым быстрым взглядом, очень напоминали красавца Конде Альсени, старосту Кумбиа; он происходил как раз из этого народа — мандинго. В деревнях, которые мы посещали, жили преимущественно мандинго. Здесь начиналась их страна.

Мне хорошо запомнилось, что заносчивый Диалло относился к Конде несколько свысока не только потому, что он сам, фульбейский аристократ, считал себя господином, а Конде был из черни, но прежде всего потому, что он принадлежал к гордому народу фульбе, тогда как Конде — лишь к мандинго.

Что за несправедливость, какое незнание истории! Кто вколачивал в фульбе такую вздорную спесь, французы? Я уж обхожу тот факт, что Секу Туре, энергичный президент современной Гвинеи, — мандинго, так же как и Самори, его предок, великий вождь и создатель последнего в этих краях в XIX веке африканского государства. Зачем же забывать о славном далеком прошлом? Ведь наряду с Ганой * и Сонгаи ** одной из трех

* Гана — средневековое государство в Западном Судане. Его образование относят к концу IV в., а гибель — к концу XII — началу XIII в. Создателями государства были предки народа сонинке. Цари Ганы держали в своих руках торговые пути в Западную Африку из стран Средиземноморья и получали большие доходы от торговли золотом, солью и рабами. В одной из областей Ганы — Бамбуке — велась добыча золога.

В 1076 г. столица Ганы Кумби, была захвачена и разгромлена войсками кочевых берберских племен. После этого могущество Ганы быстро пошло на убыль, и в XIII в. цари Ганы стали вассалами новой державы — Мали (*прим. ред.*).

** Сонгаи — средневековое государство в Западном Судане (1465—1595). В XV—XVI вв. Сонгайская держава являлась господствующей политической силой в Западном Судане. Власть сонгайских царей («ши») признавали города Северной Нигерии; сонгайские войска доходили до плоскогорья Фута-Джаллон. В стране существовала централизованная администрация и сложное законодательство. Межфеодальные раздоры и восстание рабов подорвали мощь Сонгайской державы, и в конце XVI в. она рухнула под натиском марокканских завоевателей (*прим. ред.*).

древних великих африканских держав, и при том самой великолепной, было государство Мали, созданное мандинго и существовавшее по Верхнему и Среднему Нигеру с XI по XVI век. Высокий уровень благосостояния, цивилизации и культуры, чуть ли не более высокий, чем в Европе того времени, с удивлением описывали авторы арабских хроник, посещавшие славное государство. Их описания, подробные и добросовестные, как подтвердили исследования ученых, дают сенсационные свидетельства очевидных способностей мандинго создавать культурные ценности и сложные государственные организации, а доказательством того, что эти способности сохранились по сей день, служит история последнего времени.

Деревни, которые мы проезжали, производили впечатление убогих дыр, затерявшихся в бресе, и нужно было живое воображение, чтобы представить великое прошлое мандинго. Прошлое было действительно великое и бурное, богатое событиями и насыщенное небывалыми страстями.

Из нагромождения удивительных событий, взлетов, патетических образов, невероятных безумств мы выберем хотя бы два эпизода.

Небольшое царство Мали существовало уже два века на верхнем Нигере и, так же как десятки других государств-карликов, попеременно то грызлось, то якашалось с соседями. В XIII веке один из соседей, властитель Сосо, оперившись и набравшись спеси, возмечтал о славе и покорении земель на Нигере. Неспособность тогдашнего царя мандинго к управлению государством усиливала захватнические аппетиты соседа, но у этого царя-недотепы был сильный козырь — целая куча сыновей, числом двенадцать, все отчаянные воины и рубаки, за исключением только одного убогого. Властитель Сосо любил солидную работу: он предательски подослал в Мали убийц, и они уложили одиннадцать царских сыновей, для смеху сохранив, однако, жизнь двенадцатому, калеке, уроду, заморышу, которого ни один разумный человек не принимал в расчет.

Но тут вскоре оказалось, что властитель Сосо все-таки фатально просчитался. Этот двенадцатый, такой заморыш в юные годы, всем на удивление превратился в льва, леопарда, орла и змею. Он поклялся жестоко

отомстить убийце братьев и сдержал свою клятву несколько лет спустя. Собрав большую компанию молодцов, он вдохнул в них жажду борьбы и повел на Сосо. Он стер врага в порошок и приказал заколоть гнусного царька.

Воодушевленный победой малийский властитель воспылал желанием показать миру, на что он способен. На юге существовала обширная держава Гана: он набросился на нее, сокрушил, нанеся ей смертельный удар, и включил в состав своего государства. Такая же участь постигла и других соседей, а когда он умирал, созданная им империя Мали была самым большим государством в Африке. Перенесенная на наш континент, она заняла бы всю Западную и Центральную Европу.

Героический завоеватель вошел в историю под именем Сундьята Кейта, и еще сейчас гриоты мандинго поют гимны в его честь. Без сомнения, он был гениальный вождь и великий создатель государства—африканский Наполеон, но смог ли бы он стать таким, если бы не трагические события его юности? Ибо в юности была ему клеймом молва о его беспомощности, всю жизнь он смывал с себя это клеймо, а смывая, совершал великие, исторические деяния.

Благодаря справедливым и умным правителям государство Мали в течение следующего века набирало мощи. Меньше чем через сто лет после Сундьяты Кейта царствовал самый славный из властителей, Канку Муса, прототип пресловутых легендарных правителей из восточных сказок.

А, может быть, Канку Муса сам подражал этим сказкам и своими царственными чудачествами превращал их в быль, позволяя себе восхитительные сумасбродства?

Мандинго уже три столетия назад стали мусульманами — намного веков раньше, чем кичливые в этом отношении фульбе,— и знаменитый Канку Муса решил по тогдашнему обычаю увенчать свою славную жизнь паломничеством в Мекку.

В 1324 году он отправился в путь с помпой и пышностью, затмевавшей все паломничества, известные до того времени. Его свита насчитывала шестьдесят тысяч человек; весь цвет Мали, все самое благородное, самое

избранное — достойные вожди, прекрасные женщины, несметные богатства — двигалось вместе с ним. Пятьсот силачей невольников сгибались под тяжестью одних только слитков золота, а сколько было прочих ценностей?

В арабских хрониках поныне сохранилось множество описаний славного паломничества. Так, Тарик ал-Фетах писал об удивительных прихотях властелина: паломники много дней брели по страшной пустыне, все больше страдая от недостатка воды. Однажды любимая жена Мусы стала жаловаться на то, что она-де вся грязная, покрыта пылью, и с тоской вспоминала прекрасные дни, когда могла купаться в волнах Нигера. Тронутый властелин без колебаний приказал выкопать в песке глубокий и длинный ров и вылить в него тысячу бурдюков воды из последних запасов. Образовалась небольшая река, в которой могла плескаться счастливая избранница и ее многочисленные служанки. «Далеко вокруг, — писал добросовестный автор хроники, — разносились возгласы радости и наслаждения довольных женщин».

Канку Муса, потеряв лишь половину свиты, с остальными путниками счастливо достиг Мекки, щедро рукою рассыпая золото по пути и у святой цели. После совершения положенных молитв он возвращался через Каир, где у него иссякли деньги. Но слава о богатстве Канку Мусы была такова, что к его свите все-таки лепились тысячи славословов и дармоедов, чтобы испить из потока его щедрости, а великодушный властелин никому не отказывал в дарах. К счастью, в Каире нашлись доверчивые банкиры, которые выложили ему столько денег, сколько он хотел.

Когда он приближался к родным краям над Нигером, у него была лишь горстка голодных путников и совсем пустой кошелек. Однако он возблагодарил аллаха, ниспославшего ему дружбу с поэтом Ибрагимом эс-Сахели, с которым он познакомился в Аравии, полюбил его и взял в Мали. Обаятельный и эксцентричный Канку Муса был в то же время покровителем наук и искусств.

Аллах и вправду был благосклонен: в отсутствие властелина верные ему войска расширили границы государства, присоединив важные города Тимбукту и

Гао. А Ибрагим эс-Сахели оказался не только поэтом, но и способным архитектором. Это он ввел в государстве Мали новый стиль мечетей в форме огромного купола.

Такую куполообразную мечеть я видел в деревне Камаби в округе Юкункун, а позже в городе Дингирае.

СТРАХ

За час до захода солнца мы все еще отдалялись от дома, высматривая в бресе зверя. В небе перед нами возник высокий столб дыма: горел участок леса.

При виде пожара Шаво сделал удивленное лицо. Это показалось мне странным: в последние недели повсюду было столько лесных пожаров — население умышленно поджигало лес, — что я уже привык к этому.

— Вы удивлены? — спросил я Шаво напрямик.

— Немного, — ответил он. — Сегодня третье января, а с первого строго запрещено жечь леса.

— Значит, в этой глуши люди не считаются с запретами властей! — мягко констатировал я. Шаво согласно кивнул головой, и дело, в конечном счете мало нас касающееся, было забыто.

Двигаясь дальше, мы вскоре достигли довольно многолюдной деревни Буну и, так как было уже поздно, решили вернуться.

Посреди деревни я увидел масличную пальму с огромным количеством птичьих гнезд, висящих на ветвях. Это были гнезда ткачей. Я выскочил из грузовичка, поспешил к дереву, сфотографировал гнезда вблизи и через три-четыре минуты уже возвратился к машине.

Тем временем сбежалось великое множество жителей деревни, несколько десятков мужчин и подростков. Они начали с Шаво возбужденный разговор, почти ссору. Француз вышел из машины и стал около дверцы, что-то оживленно объясняя им. Они обступили его тесным кольцом, были раздражены и часто указывали то на машину, то на меня. Что-то им не нравилось. Может

быть, то, что я без их согласия сфотографировал безобидную пальму?

Я уже хотел вытащить из портфеля внушительную и безотказно действующую охранную грамоту, разрешение гвинейского Министерства информации на фотографирование, когда, подойдя к машине, узнал, что дело не в этом. На нашей совести были другие прегрешения. Но какие, что мы натворили, в чем заключался наш грех? Шаво с жаром оправдывался. Он говорил, что мы приехали сюда лишь случайно, что у нас, честное слово, не было никакой определенной цели и мы уже собираемся возвращаться домой.

— Почему вы хотели возвращаться именно отсюда, почему не поехали дальше? Говорите правду! — требовали собравшиеся на своем родном языке.

Шаво знал их язык, но предпочитал разговаривать с ними через переводчика, что всегда смягчало остроту спора. Переводчиком был малый лет семнадцати, единственный человек в целом Буну, который немного знал французский.

Этот малый держался странно. Он сильно трясся всем телом, а челюсти его лязгали так, что это очень затрудняло речь. Бедняга страшно заикался. Я обратил на это внимание собравшихся, чтобы как-то отвлечь их от запальчивых намерений.

— Что с тобой? — сочувственно спросил я переводчика. — Почему ты так дрожишь?

Малый оторопел. Он перестал трястись, но лишь на минуту. Он не мог долго сдерживать дрожь: она была сильнее его воли.

— Это, наверное, малярия! — услужливо подсказал Шаво.

— Oui, monsieur, oui! * — поддакнул малый с воодушевлением. — Я болен малярией!

Я знал признаки малярии, но это не было похоже на болезнь, а напоминало что-то другое. Страх? Но перед чем? Волнение собравшихся было непонятно. Они производили впечатление людей, охваченных каким-то опасным безумством. Пока переводчик был занят разговором и спорами с ними, я бросил взгляд на Шаво.

* Да, господин, да (франц.).

— Что им, собственно, надо? — шепнул я.

— Не знаю! — ответил он вполголоса. — Что-то мне кажется, что сегодня в деревне какая-то большая неприятность, поэтому они так вышли из равновесия.

— Преступление?

— Может быть, и преступление. Но я думаю, что дело в этом лесном пожаре. Может, они опасаются жестокого наказания?

— Но мы-то какое к этому имеем отношение?

— О-о, самое непосредственное! Они принимают нас за официальную следственную комиссию, отсюда их враждебность...

— Нас, белых, за комиссию?

— Они не входят в такие тонкости. Они обезумели от страха. От них всего можно ожидать...

— Но не арестуют же они нас, во всяком случае... — пошутил я.

— Нет, но может быть еще хуже!... — нервно рассмеялся он.

И правда, мы были в дурацком положении. Деревенские жители обступили нас таким тесным кольцом, что мы едва могли двигаться, даже отступление к дверцам машины было отрезано. Одни возбужденно размахивали руками и громко втолковывали переводчику свои соображения, другие стояли со свирепым выражением лиц, бросали на нас мрачные взгляды, а руки держали под просторными бубу, словно укрывали там что-то.

«Удовольствие будет ниже среднего, — подумал я про себя с юмором висельника, — если они вдруг выхватят из-под бубу оружие...».

Тем временем толмач упорно бубнил свое, содрогаясь все сильнее и сильнее:

— Зачем, ну зачем вы приехали в нашу деревню?

— Прогулка, охота...

— Почему именно у нас, а не где-нибудь еще? Почему вы задержались здесь, а не поехали дальше?

— Чтобы сфотографировать пальму с гнездами...

— Разве больше нигде нет пальм?

— Есть, но эта была самая красивая...

— Потому красивая, что растет в нашей деревне, именно в нашей деревне?

И так без конца. Я поражался ангельскому терпению и неизменному такту Шаво.

Особенно свирепо смотрел на меня староста, пожилой мандинго с седой бородкой, в белом, праздничном бубу. Он буквально не спускал с меня хмурого взгляда. Чего только я не делал, чтобы вызвать на его лице хотя бы тень благосклонного выражения. Напрасно. Я посылал ему самые обворожительные улыбки, но все это были бесплодные мольбы, напрасное кокетство — полный крах.

В конце концов жители деревни сами устали от своей подозрительности, их ожесточение понемногу улеглось. Вероятно, желая выиграть время, они попросили, чтобы мы пошли в одну из их хижин. Но вежливый отказ Шаво так их разъярил, что положение снова осложнилось и расследование началось сначала.

Один раз Шаво вознамерился приблизиться к дверце грузовичка, но они, как бы невзначай, загородили ему дорогу.

— Какого черта! — воскликнул он. — Вы же меня хорошо знаете?!

— Тебя знаем, а этого, другого, нет! — Они бесцеремонно показывали на меня пальцами.

— Это мой друг из Польши, он приехал сюда охотиться.

— Охотиться? А ружья с собой не взял?

— Нет. Но я ему одолжил свое!

— Может быть, он приехал охотиться на пальмы, и притом непременно в нашей деревне?

Кое-кто вместе с Шаво рассмеялся шутке.

Неизвестно, как долго тянулся бы еще допрос, если бы в лагере наших мучителей не вспыхнули раздоры. Как это часто бывает, там возникли какие-то разногласия. Кто в лес, кто по дрова. Недоразумение росло, переходило в ссору. Что было причиной ссоры, Шаво не мог сообразить. Хорошо, что вокруг нас стало посвободнее.

— Удобный момент! — буркнул мой товарищ и подтолкнул меня в сторону машины. — Смываемся.

Спокойно подошли мы к дверцам и сели в машину. Люди вокруг нас видели это, но сейчас они были так захвачены ссорой друг с другом, что совершенно перестали думать о нас.

Неожиданное переключение их внимания немало удивило меня и показалось просто комичным.

— Однако они темпераментные ребята! — рассмеялся я.

— То, что вы видите, характерно для многих африканцев: они способны к необычайно резкой перемене настроений. Какое-то особое свойство характера...

Пока жители деревни были заняты собой, Шаво вывел машину — потихоньку, чтобы никого не задавить, — беспрепятственно развернулся и дал газ. Я оглянулся назад: переводчик уже не трясся, я это явственно заметил. Его испуг прошел.

Весть о нашем приключении разошлась по всей округе, и два дня спустя до нас дошли слухи о воинственных намерениях жителей Буну: в тот момент, пожалуй, они были недалеко от того, чтобы убрать предполагаемую следственную комиссию. И конечно, все дело было в подожженном ими лесе.

Разве не досадно было расстаться с жизнью в такой глуши?

Забавную шутку сыграл с нами страх: они боялись слишком сильно, мы — слишком мало, и те и другие заблуждались.

ТОМЕК

Из поездки мы вернулись совсем кислые. Не из-за происшествия в деревне Буну, так как оно было лишь забавным приключением, — мы были огорчены отсутствием зверя. После эффектного ночного зрелища, которое устроили нам антилопы кобы, можно было надеяться, что днем у нас будет еще больше впечатлений и сюрпризов. Так обещал Шаво.

Между тем ничего такого не произошло, мы не увидели никакого зверя. Мы проехали несколько десятков километров бруса, Шаво показывал мне места, где три дня назад паслось стадо коровьих антилоп и недавно пробиралось стадо кабанов и где позавчера стояли кобы, в ста шагах от дороги. Милый хозяин оживлял лесную чащу воспоминаниями о разнообразном и многочисленном звере, встреченном им за последнюю не-

делю, но сегодня, как назло, в чаще было пусто. Разумеется, если не считать вездесущих обезьян.

В Даболе Шаво обещал, что в его бресе я получу богатейшие впечатления, поэтому он и переживал сегодняшнюю нашу неудачу сильнее, чем она этого заслуживала. Мои заверения, что я отлично знаю причуды природы, не успокаивали его; ему просто не хотелось быть болтуном в моих глазах. Мы говорили об этом на обратном пути и потом, за ужином. Чтобы искупить свою вину, Шаво описал мне население и фауну окрестностей.

Его дом находился километрах в десяти от городишка Сарая, где была станция железной дороги, идущей к западу и востоку, от Конакри и Даболы до Курусы и Канкана. Так вот, железнодорожная линия пересекала этот край на две части, которые различались между собой. На север от линии был брус и, грубо говоря, цивилизация, так как здесь протянулось шоссе от Даболы до Курусы и кое-где были деревни, тогда как к югу от железной дороги раскинулись лишь дикие лесные дебри, рассеченные Нигером, населенные очень редко либо почти безлюдные.

Из вышесказанного следовал простой вывод. На севере, где находился дом Шаво, правда, еще кочевали стада животных, но зверь здесь был, естественно, осторожен и уже поистреблен. Зато на юге зверя было неизмеримо больше: слоны, дикие буйволы, леопарды и самые разнообразные антилопы нередко открыто рыскали в зарослях, а в Нигере плескались гиппопотамы, прятались крокодилы.

— До Нигера недалеко,— говорил Шаво.— Тридцать километров с небольшим.

— А можно доехать на машине?

— Нет, дорог там нет, только тропы. Можно бы на велосипеде...

Мы ужинали впятером. Шаво и я сидели с одной стороны, его жена, Поль и Жан-Поль — с другой. Разговаривали только мы двое, яростно уничтожая баранину с рисом и запивая ее тонким столовым вином. Я вспомнил, что привез из Конакри вкусные французские бисквиты, и, сбегав за своим дорожным мешком, кроме пачки бисквитов извлек из него фляжку с водкой.

Бисквиты я поднес жене Шаво, но она, приняв дар, тотчас передала его сыновьям, которые сразу охотно, хотя и с достойной признания сдержанностью, принялись за лакомство. Они съели по одному или по два бисквита, затем, воспитанные в духе каких-то лесных правил, отдали пачку матери. У всех трех персон, принимавших участие в этой церемонии, лица были преисполнены важностью происходящего.

Между тем на нашей, Шаво и моей, стороне стола было больше жизни. Пластиковая фляжка, в которой у меня хранилась водка, была красива на вид, и я питал к ней идиотскую привязанность, так как она напоминала мне о Камбодже, где я купил ее за доллар на базаре в Пном-Пене. Вместе с тем это была мерзкая, отвратительная дрянь: пластик в течение трех лет бешено вонял химической пакостью и любую жидкость насыщал запахом лизола. Поэтому и от водки несло адским духом, но, чудо, Шаво принял ее мило и охотно, так как жаждал, видно, напиток покрепче. Мы пили, морщились, но пили, крутили носом, но потягивали, смелые, окрыленные и все более веселые.

Шаво не давали покоя кишачие зверем южные районы. Не было сомнений, что зверь был там в изобилии и еще можно было получить представление о настоящей, старой Африке. На Нигере стояла симпатичная деревенька, которую Шаво знал, хотя и не помнил ее названия. До деревни можно было добраться по тропке на велосипедах, остановиться там на три-четыре дня и охотиться поблизости. В Сарае легко одолжить велосипеды, кроме того, оттуда стоило также взять с собой Мамаду Омара, лучшего охотника и загонщика в этих краях. Выхав через два или три дня, можно было бы вернуться через неделю. Потратить несколько лишних дней — а сколько впечатлений, приключений!

Говоря это, Шаво не обещал мне золотых гор, он как огня боялся преувеличений, но именно из его сдержанных слов вырисовывалась богатая и страшно заманчивая картина. В конце концов, времени у меня было достаточно, эти несколько дней немного значили, а возможность представлялась необыкновенно соблазнительная и, может быть, единственная — надо было воспользоваться ею. Увидеть теперь район Нигера таким, каким он был сто или больше лет назад, во вре-

мена его первых европейских открывателей,— это ли не сверхпривлекательное приключение!

— Ну так поедем туда! — согласился я.

— Прекрасно! — искренне обрадовался Шаво.— Завтра я отдам обычные распоряжения на лесопильне, и послезавтра мы махнем на Нигер!

Я вышел на минуту из дому. На улице все еще стоял тяжкий зной, хотя уже давно опустилась густая тьма. Цикады стрекотали в роще, и пока был слышен только их металлический стрекот и ничего больше. Позже, ночью, придет прохлада и явятся гиены.

Вернувшись в дом, я извлек из своего мешка плоскую четвертинку венгерской сливовицы, которую получил перед выездом из Польши от одного моего приятеля, Томека.

— Она была у меня на особый случай, чтобы выпить, если придется разделить с кем-нибудь радость! — объяснил я.— Сегодня как раз такой день!

Сливовица, на мой вкус, чересчур отдавала самогоном, но Шаво пришел в нескрываемый восторг, потому что как раз этот напиток напоминал ему какие-то счастливые дни прошлых, юных лет, которые он провел в Шварцвальде в Германии, где наслаждался подобной наливкой. Видя его волнение, я сообщил, что мы уже не будем больше сегодня пить; пусть он спрячет остальное у себя.

— А вот о Томеке стоило бы сказать несколько слов! — не удержался я.

И подобно тому как Шаво несколько минут назад обращался мыслью на юг, а я спешил за ним, ослепленный зрелищем обильного зверя, так теперь я увлекал его на север и очаровывал радужным призраком незаурядной личности. В чем было исключительное обаяние этого человека?

Когда однажды, преподнося Томеку книгу, я написал в дарственной надписи довольно высокопарно: «Возлюбленному жизнью», это была святая правда: жизнь любила Томака, но и он любил ее более пламенно, чем большинство людей. Являя собой пример удивительного человеческого сплава, он сочетал в себе трезвую практичность с неиссякаемым даром юношеского пыла и увлеченности. Он твердо стоял на брэнной земле, ох как твердо! И это ничуть не мешало ему

видеть мир в красках столь привлекательных, что он все снова и снова пленялся им. При этом знаменательно то, что мой друг был не прекраснородушным себялюбом, эстетствующим Петронием, а чем-то вроде радия, неустанно излучающего утешение, доброту, энтузиазм.

Что было самым характерным для него — это бесконечная отзывчивость, какая-то страсть помогать людям и делать им приятное.

Было заметно, что мой рассказ заинтересовал Шава. В этом африканском безлюдье у него, наверное, не было близких сердцу людей, и образ далекого товарища был здесь как капля воды, упавшая на сухой песок. Хотел ли я распалить воображение хозяина?

— Необычный тип, счастливый человек! — признал Шава и вдруг сделался робким, словно был поражен видением чего-то прекрасного.

Он попросил, чтобы я детальнее описал случаи самопожертвования, привел подробности из жизни Томека. Таких случаев я знал множество, и было трудно выбрать. Я рассказал два эпизода, которые давали о нем некоторое представление: во время гитлеровской оккупации Томек, разумеется, принадлежал к числу поляков, которые, несмотря на то что самим было несладко, с опасностью для жизни помогали преследуемым евреям. Всю войну он укрывал у себя маленькую девочку-еврейку, сироту, и, по сути дела, спас ее от смерти.

Само собой, такой человек, как Томек, обладал сердцем голубя и всю жизнь искал свой идеал. Когда он находил, как ему казалось, достойную любви девушку, независимо от того, заслуживала она этого или нет, он превращался в какого-то жреца самопожертвования, был трогательно заботлив, делал все, чтобы облегчить ей жизнь, жаждал дать ей все, что было в нем самого лучшего. Если ей не хватало образования, он считал делом чести (и в то же время находил в этом удовольствие) обеспечить ей возможность учиться дальше, делал из нее стоящего человека...

— А получал ли он за это надлежащую благодарность? — спросил Шава, минуту помолчав.

— По-разному бывало, — ответил я. — Но это несущественно! Значительно более важным оказывалось

его собственное, человеческое удовлетворение оттого, что он был добр к кому-то, что мог что-то давать. И притом давать — подчеркиваю — не от слюнтяйства или прекраснотушия, но с сознанием своей благородной, творческой мужской силы.

— Как слепо вы обожаете его! — воскликнул искренне тронутый Шаво.

— Пожалуй, не слепо, потому что при всех достоинствах Томека я вижу также и его недостатки. Эта впечатлительность иногда играла с ним злые шутки, приводила его, правда редко, в некий разлад с самим собой, что было вполне понятно при его чувствительности. Такие разлады отражались на его близком окружении. Однако это были лишь короткие замыкания; незначительные, редкие, они быстро проходили и мало значили сравнительно с массой его истинных достоинств.

Замолкнув на минуту, мы услышали снаружи отдаленный лай, похожий и в то же время не похожий на собачий.

— Гиены! — сказал Жан-Поль.

Шаво взял со стола бутылку сливовицы и, встряхивая, рассматривал ее содержимое на свет.

— Как красива эта золотистая жидкость! — произнес он с улыбкой. — Сквозь желтый цвет я вижу польского друга... Как бы мне хотелось видеть его наяву!

— Единственная возможность — приехать в Польшу и воспользоваться нашим гостеприимством...

Шаво был так взволнован, что поездка в Польшу не показалась ему невозможной. В это мгновение он забыл о юге и о Нигере, его мысли были заняты севером. Глаза его сияли восторгом. Я отметил это с удовольствием: я отплатил ему добром за добро.

ПТИЦА-НОСОРОГ

На следующий день утром, еще до моего завтрака, Шаво отвез сыновей в школу в Сараю, а возвращаясь, застрелил по дороге крупную дрофу. Я сфотографировал охотника и добычу, после чего бой, Мансале Кули, набрался храбрости и тоже попросил увековечить его.

Я исполнил его желание, а также — аппетит приходит во время еды — и желание жены Шаво. Еще вчера, когда я хотел ее сфотографировать, она энергично трясла головой и сопротивлялась этому дьявольскому искушению, зато сегодня принарядилась в новое платье, яркий тюрбан и надела часы мужа — с такими амулетами она уже не страшилась аппарата.

Потом мы с Шаво поехали на грузовичке на лесопильню. Тем временем солнце успело высушить росу, и на скошенном рисовом поле мы увидели неизменную стайку рыжих обезьян. На их белых физиономиях угрожающе и смешно выделялись черные как уголь брови; это выглядело так, словно актер начал, но не кончил гримироваться под разбойника. Прекрасная погода привела в отличное настроение и меня и обезьян. Рассхалившись, обезьяны резвились и забавно хмурили брови, а мне все время хотелось петь плясовую и повторять на разные лады: прекрасный день, чудесный день!

До лесопильни было добрых десять километров; в этот день нам то и дело попадались по пути знаменитые озорные зверюшки — земляные белки. Во всей Гвинее, равно как и в окрестностях Конакри, было их пропасть, и, что удивительно, они имели обыкновение всегда показываться на дорогах. Поэтому их прозвали «странницами». Шустрые озорницы, столь же широко распространенные, как и обезьяны, бросались в глаза всем автомобилистам. Примелькавшиеся, как стертая монета, и повсеместно любимые, они составляли обычно неизменную деталь здешнего пейзажа. Прошу извинить: их любили только французы, тогда как африканцы, владельцы полей арахиса, имели к ним большие претензии и дали им прозвище, пожалуй весьма справедливое, — «воришки земляных орехов».

Эти белочки пользовались у французов такой популярностью и славой, что получили еще одну кличку — «пальмовые крысы» — *Rats palmistes*, но с этим прозвищем сильно переборщили. Как уверяли меня натуралисты, земляные белки никогда не влезали на пальмы, им было достаточно земли. Однако не будем слишком рьяно торжествовать над неученостью других, в то время как у нас самих, да еще в достопочтенном официальном печатном органе Союза польских писателей

однажды бесцеремонно заставили реку Ориноко тянуться через бразильские дебри.

Земляные белки серые, в остальном же всем своим обликом, и в особенности задранным кверху хвостом, они как две капли воды похожи на наших, европейских. Путешественникам они нравились, так как очень разнообразили дорожные впечатления. У этих белок была своеобразная привычка: когда машина приближается (белка обычно сидит на опушке, укрывшись в зарослях), зверек не спешит спрятаться в чаще, а выскакивает на открытую дорогу и деловито трусит несколько десятков шагов, удирая от автомобиля. Потом непременно приостанавливается на мгновение, чтобы смерить наступающего гиганта испуганным или презрительным взглядом,— и в последний момент ныряет в кусты.

Однажды утром мы увидели не меньше двух десятков белок. Они всегда выскакивали поодиночке. Все переполошенные зверюшки каждый раз проделывали точь-в-точь те же движения, скрупулезно повторяя весь ритуал вплоть до забавного взгляда в заключение. Смешные проказницы.

Лесопильня была небольшая. Ее составляли несколько хибарок и одна хижина получше, круглая, в африканском стиле, которая служила для двух работников спальней и в то же время являлась чем-то вроде бюро. Приспособление для пилки дерева было остроумно собрано из самых различных частей старого трактора, пулемета и вышедшего из строя полевого орудия. Эта кое-как слепленная техника выглядела невероятно убого, но похоже было, что она уже много лет служила вполне исправно и отлично пилила доски.

Нас приветствовали дружным «хэлло!» пятеро молодых, бравых рабочих-мандинго из окрестных деревень. Занятые здесь постоянно, они отлично сработались с Шаво и составляли компанию жизнерадостную и доброжелательную. Будучи механиками, они наверняка зарабатывали больше, чем все земледельцы в округе, и поэтому считали себя современной рабочей аристократией; все они были разбитные парни, особенно их предводитель.

Он сам напросился фотографироваться и был прав. Молодой фронт носил экстравагантную американскую

куртку из толстого манчестера; изящную надпись «Кения» можно было видеть на одной стороне груди, а таинственную круглую нашивку с многозначительным названием «Моррисвилль» — на другой; голову молодца украшала широкополая ковбойская шляпа. Всем своим ослепительным видом он вызывал в памяти лучшие фильмы о диком Западе. Фотографировать его было наслаждением.

С помощью своих подчиненных Шаво привел в движение большой трактор и поехал на нем в чашу за лесоматериалами, а помощники гурьбой последовали за ним на велосипедах. На месте нас осталось только двое: я и один из рабочих, который, впрочем, тут же куда-то исчез. После всеобщей суматохи воцарилась наконец торжественная тишина. Я отправился в жилую хижину, чтобы почитать там зоологию Громье. Но приятная прохлада привлекла туда столько мошек, нахально залезавших в глаза и уши, что читать было невозможно. Не успел я присесть, как меня охватила тоска по солнцу, воздуху и деревьям. Я быстро покинул хижину.

Она стояла несколько вдали от построек лесопильни и была окружена редким лесом, — лишь отдельные деревья полностью сохранили листву. Выйдя из хижины, я обрадовался при виде большой птицы-носорога, которая сидела на верхушке ближайшего дерева. Это было чудище, которое капризная природа наделила как бы двумя клювами, один над другим. В следующий миг птица сорвалась с места и улетела, но недалеко, на вершину другого дерева. Там она уселась с видимым облегчением, так, как измученный старец опускается в кресло. В полете она отчаянно колотила крыльями, — видно, крылья у нее были слишком слабые для такого тяжелого тела.

В этой птице было что-то неестественное. Скорее всего, она представляла собой существо, обреченное на гибель. В прошлом либо этот род задержался по каким-то причинам в своем естественном развитии, не прогрессируя соответственно изменениям условий жизни, либо изменилась не среда, а сама птица как-то выродилась, лишилась жизненных сил. Но почему же это произошло? Почему именно эта птица утрачивала способность жить? Почему природа наделила тысячи

других видов живых существ всем, что необходимо для жизни и развития, сделала возможной их эволюцию, а здесь, в тысяча первом случае, ошиблась, словно ей не хватило творческих сил, отказала железная логика, так замечательно применяемая по отношению к другим существам?

Кто откроет причины этого исключения?

Самые великие умы человечества много веков пытаются познать законы природы и покорить ее. И как, однако, мало совершили они до сих пор, сколько еще работы!

Не исключено, что вскоре мы начнем препираться между собой по поводу того, кому посылать консула на Марс. Однако тем временем проблемы нашей старушки Земли, самые важные, наиболее непосредственно связанные с нашим существованием, самые близкие нам, все еще остаются манящей тайной. Вчера непонятным образом исчезли динозавры, сегодня неизвестно почему природа лишает ни в чем не повинных птиц-носорогов полноценных крыльев, а завтра — кому предначертана гибель?

О Ш И Б К А

Я махнул рукой на всю эту философию: чудный, золотистый день совсем не подходил для гамлетовских настроений. Птица-чудище, неуклюже полетав между деревьями, пропала из виду. Я закинул за спину неразлучную сумку с фотоаппаратом внутри (ах, время, время! Раньше, в эпоху процветания варварской силы, закидывали за спину ружье!) и пошел прогуляться в сторону видневшегося вдали бовалья.

Где-то ворковали дикие голуби. Я видел их много не только в Гвинее, но и позже в Гане; здесь они были так же обычны, как в Азии, во вьетнамской области Сипсонг Чонтаи. Вот ведь как ни рвется душа затеряться в этом африканском безлюдье, ничего не выходит: знакомое мягкое воркование голубей дразнит человека и напоминает ему — хочет он этого или не хочет — о существовании мира. Это птичье радио.

Глазая по сторонам, я шагал кромкой леса по выж-

женной земле бовая. «А где же обезьяны?» — весело спохватился я вдруг. Мне не надо было искать долго: в двухстах шагах впереди меня резвилось несколько проворных обезьянок. Стайка встретила появление человека недовольным ворчанием, давая волю обезьяней досаде, и начала отходить в глубь леса, то и дело останавливаясь. Без паники, но в дурном расположении духа. Скрывшись в чаще, обезьяны тотчас умолкли — как воды в рот набрали.

В этом месте бовая было много грибов-термитников, как обычно на выжженных прогалинах. Характерные холмики так и просились на пленку. Я достал аппарат и начал фотографировать их и себя на фоне бовая.

Еще в начале прогулки я заметил сипа-заушника, который выписывал круги высоко в небе — картина довольно обычная в бресе и саванне. Пока я возился с аппаратом, сип снизился и недвусмысленно заинтересовался моей особой. Я подумал, что это обычное любопытство и птица, убедившись, что падали здесь нет, полетит дальше. Не тут-то было. Сип упал с высоты почти ста метров и продолжал упорно кружить надо мной, не спуская с меня алчных глаз. Кружит и кружит.

Спятил он, что ли? Обычно сипы летают так низко только в том случае, если увидят на земле падаль. Но какой корм углядел негодник здесь? Не меня ли он принял за труп или, может быть, думал, что я — издыхающая птица-носорог и на его глазах протяну ноги? Может, бездельник знал дату моего рождения и в связи с этим у него возникли радужные надежды? Клянусь всеми святыми, я не имел желаний выйти в расчет так рано.

Будучи в отличном настроении, я сфотографировал себя еще раз, чтобы засвидетельствовать документом, похож еще на труп или нет. Какого черта! Явно не похож. На снимке, который я позже отпечатал, между термитниками пружинистым шагом шел живой, здоровый мужчина, а вовсе не какой-нибудь калека или дохляк — пища для пожирателя падали.

Я очень сожалел тогда, что под рукой у меня не было маузера Шаво. Огромный сип медленно кружил надо мной и на такой высоте представлял собой отлич-

ную мишень. Он был даже крупнее, чем орел-скоморох, который появился над усадьбой Шаво, и, пожалуй, вдвое больше, чем мои знакомые южноамериканские сипы урубубу. Настоящий гигант, со светло-серым брюшком, голой головой и шеей, с острым большим клювом и жестоким взглядом, он казался олицетворением грубой силы и хищности.

Когда я чуть позже упаковал пожитки и двинулся в обратный путь к лесопильне, сип ослабил свою воздушную осаду и взлетел выше. Видно, одумался, понял свою ошибку, оставил меня в покое. Признаюсь, я почувствовал некоторое облегчение: хотя он и безумец, помешанный, но все-таки это было не очень-то приятно, когда он так настойчиво кружил надо мной.

Обезьяны, которых я спугнул перед этим, наверняка все время следили за мной, притаившись в чаще, потому что, когда я отошел на несколько десятков шагов, они подняли мне вслед ужасный гомон. Они буквально зашлись от издевательского крика, злорадствуя, выли какими-то необезьяньими голосами, поливали меня немыслимой бранью — наверное, перемыли мне все косточки.

— Ах вы паршивцы! — рявкнул я на них что было силы. — Что я сделал вам плохого?!

Наивный вопрос! Для того чтобы тебя преследовали, совсем не обязательно делать зло.

Обезьяны, испугавшись моего окрика, немного притихли, но только на мгновение. На меня снова посыпался град ругательств, и так продолжалось до тех пор, пока я не отошел достаточно далеко. Что это было — ненависть к человеку или всего лишь озорство обезьян-сорванцов?

До меня явственно донеслось тарыхтение трактора. Шаво и его работники возвращались из глубины бруса. Трактор тянул на цепи невероятно толстый и длинный ствол, которого хватит на несколько дней работы в лесопильне. Люди были возбуждены и смеялись, словно притащили из лесу самую лучшую добычу. Ствол означал для них хлеб, рис, острый соус «фонто» и ласки жен. Их радость бытия была так непосредственна, задорна и так заразительна, что все ошибки природы отступали перед ней на задний план, казались куда менее важными.

О М А Р

К вечеру этого же дня появился на велосипеде вызванный Мамаду Омар, знаменитый охотник и божьей милостью следопыт, готовый отправиться на охоту вместе с нами. Он привел с собой два велосипеда. Омару было за сорок, лицо — умное, тело — жилистое, ружье — жалкое, капсюльное, репутация — в прошлом очень скверная.

Ружье — допотопное, примитивное, убогое, без мушки и прицела — било в цель самое большое с двадцати шагов и всегда было в равной мере опасно как для цели, так и для самого стрелка. Власти в африканских колониях запрещали местному населению хранить и продавать современное огнестрельное оружие. Они разрешали пользоваться лишь жалкой рухлядью и иметь при себе немного обычного черного пороха, чтобы неблагодарные негодяи не вздумали взорвать континент.

— Почему у Омара была дурная репутация? — спросил я у Шаво.

— Ах, это старая история! — шутливо присвистнул Шаво. — Не стоит морочить себе голову! Сейчас я не знаю более достойного африканца, чем Омар!

— А раньше?

— Раньше — черт знает! Может, это были глупые сплетни. Его подозревали в том, что он отрубал людям головы, — ему нужны были человеческие черепа, чтобы охота была удачной...

— Ах, пес его возьми!

— Мандинго уже несколько веков мусульмане, но старые языческие суеверия у многих из них еще прочны, и, может быть, только теперь благодаря современным школам сюда вольется струя свежего воздуха. Люди, особенно из тех племен, в которых силен дух фетишизма, верят в колдовство и тому подобные штуки, которые мы считаем чепухой, а они — сущностью вещей. Не надо далеко искать: здесь, в нашей Гвинее, управляемой прогрессивной Демократической партией, на юге страны, в районе Нзерекоре, обитают племена фетишистов, такие, как тома, герзе, маню. Они неплохо выращивают кофе, сейчас даже довольно состоятельны, но их главным общественным институтом

продолжает оставаться так называемая школа леса. А что это значит? Это средоточие магии, чародейств, демонов, лесных дьяволов, святилище таинственных обрядов, во время которых легко совершались, а может быть, и сейчас совершаются убийства и другие ритуальные преступления.

— А как к этому относится партия?

— Не сразу Рим строился. Партия подавляет из ряда вон выходящие эксцессы, но к религиозным проблемам нужен тонкий подход... не только в Европе, но и в Африке...— добавил Шаво, многозначительно подмигивая.

Тени деревьев в рощице перед нашим домом медленно удлинялись: солнце стояло уже низко. Это было для нас время отдыха. Шаво был не прочь поболтать на тему, всегда захватывающую для европейцев, а именно об африканских обычаях и интеллектуальности.

— Может быть, вам известна история о золоте, которое закопал немец?— спросил он с улыбкой.— Это эксцентричное, но и поучительное происшествие! Ну, и немножко необычное...

— Нет, неизвестна.

Это произошло незадолго до конца первой мировой войны. Войска германского императора в колонии Того, припертые к стене союзными войсками, были вынуждены сдать. Один немецкий офицер, не желая допустить, чтобы значительный золотой запас попал в руки противника, решил закопать золото. Он отобрал пятерых крепких носильщиков, нагрузил их ящиками с золотом и отвел в пустынное место в горах. Там он приказал закопать золото и уничтожить все следы. Чтобы не оставить вообще никаких следов, офицер на обратном пути в нескольких километрах от тайника застрелил всех пятерых помощников — практика, нередко применявшаяся в те времена немецкими властями по отношению к нежелательным свидетелям.

Весть о преступлении довольно быстро достигла местных племен, но — чудо из чудес! — лишь у немногих людей вызвала возмущение. Остальные, причем преимущественно африканцы, отнесли к поступку офицера как к должному, даже с уважением: умный человек поступил разумно! Разумно, так как, убив пятерых носильщиков вблизи от зарытого золота, заста-

вил их души стеречь сокровища. По мнению здешних племен, офицер не мог выбрать себе лучшей охраны, чем эти души.

Офицер действительно «проявил благоразумие», правда несколько иного рода, чем предполагали: он предвидел ход мыслей этих людей и поэтому застрелил несчастных вдали от места, где зарыл золото. Он опасался, как бы какой-нибудь отчаянный человек, который не слишком испугается духов-сторожей, не взялся искать золото там, где лежали убитые, вот и уничтожил их в нескольких километрах от зарытого клада.

— *Se pop è vero, è ben trovato* *, — заметил я.

— Скорее всего *è vero!* ** — заверил Шаво. — Во всяком случае, если речь идет о верованиях в загробную жизнь у африканцев. Ведь еще совсем недавно был распространен обычай — особенно в поясе тропических лесов — убивать после смерти вождя (или вообще почитаемого человека) его невольников, друзей, жен. Их убивали для того, чтобы души жертв служили своему господину и на том свете, так же как здесь, в этой юдоли.

— А существует ли еще людоедство?

— Разумеется, оно не существует как общепринятый обычай, и мне не хочется верить, что оно существует где-то тайно. Но не подлежит сомнению, что еще есть африканцы, которые в прежние времена познали вкус человеческого мяса...

У Шаво вдруг засверкали глаза, видно, он вспомнил что-то необыкновенное.

— Когда я приехал сюда двадцать лет назад, среди моих соотечественников была популярна очень своеобразная история. Она казалась и смешной и в то же время пугала. Послушайте...

В западной части тропического леса, бывшей французской колонии Берег Слоновой Кости, в джунглях живут довольно примитивные племена, у которых дольше, чем у других, сохранилось людоедство. Лишь в последние годы перед второй мировой войной его удалось искоренить. В это время, точнее, в 1934—1935 годах, один представитель французских колониальных

* Даже если это неправда — это неплохо (*итал.*).

** Правда (*итал.*).

властей совершал инспекционную поездку по этим местам в сопровождении своей жены, француженки. Когда он находился на территории племени горо, то получил приказание немедленно отправиться в другую часть дебрей. Жену он на некоторое время доверил заботам вождя, на которого можно было положиться, а сам отправился в путь.

Надо было случиться такому несчастью, что в его отсутствие жена тяжело заболела не то малярией, не то чем-то еще, взвалив на плечи вождя и всего племени тяжкую заботу. Они опасались, что женщина вот-вот умрет и тем самым нанесет мужу материальный ущерб. Они пришли к выводу, что долго она не протянет, поэтому перерезали ей горло, четвертовали тело и под наблюдением вождя и старейшин за хорошую цену продали куски мяса окрестному населению. Как только француз несколько недель спустя вернулся, вождь тотчас честно отчитался в доходах от продажи мяса и выложил кучу продуктов.

Вождь утратил дар речи, когда вместо благодарности увидел ярость мужа белой женщины. Еще более непонятным было то, что вскоре появились солдаты, заковали в кандалы его и многих других горо и поволокли в тюрьму. Вождь, убежденный в своей честности, на долгие годы был заперт за решетку и совершенно утратил веру в справедливость и здравый смысл белых людей...

— Кошмар, правда? — закончил рассказ Шаво.— Однако такая штука могла еще приключиться в те времена...

— А сейчас?

— Как я уже сказал, исключено, что где-либо в Африке сохранилось людоедство. Ритуальное убийство — совсем другое дело. Редко, правда, но с отдельными случаями сталкиваются до сих пор...

Мы вернулись к первоначальному предмету нашей беседы — охотнику Мамаду Омару.

— Раньше ему здорово везло, когда здесь, на Нигере, было еще много слонов. Не знаю, сколько он их убил в своей жизни, наверняка больше двух десятков...

— Из этого своего пугача?

— Другого ружья у него никогда не было. Но охота на слона для местного населения довольно сложная

процедура, стрельба — это лишь один из элементов охоты, важный, но не единственный. Прежде всего надо лишить зверя возможности двигаться; для этого копают большие ямы или подбираются к самому стаду и подрезают у намеченной жертвы вены на задних ногах — и только после этого палят из «пугачей». Перерезать слону вены нелегко; чтобы уберечься от несчастья, охотники вооружаются самыми разнообразными талисманами, гри-гри и тому подобными панацеями, но лучшие охотники, асы, выходя на слона, имеют при себе самый сильнодействующий фетиш, обеспечивающий им власть над этим зверем, — череп человека, убитого только что, перед охотой, специально для того, чтобы охота была успешной.

— И люди не сопротивлялись этому?

— Жертвами, насколько я знаю, обычно были путешественники-чужестранцы, прибывавшие из далеких краев, которые неосмотрительно оказались поблизости от охотника; и гибли они всегда незаметно... Недавно я прочел одну из книг доктора Швейцера, в которой он пишет, что подобная добыча охотничьих фетишей в его краях, в Габоне на реке Огове, еще и сейчас вещь не редкая.

— Так, значит, наш Мамаду Омар и есть такой ас, о котором вы говорите?

— Он был им. Сейчас Омар лишь обыкновенный охотник, и все же отличный...

Отличный охотник, бывший ас, как раз вышел из хижины-кухни, где жена Шаво щедро накормила его бараниной, и подошел к нам, чтобы обсудить программу на ближайшие дни.

КАРАБИН

В тот же день, еще до наступления темноты к нам примчался посыльный из Курусы с предложением Шаво явиться через три дня к коменданту округа по срочному делу о поставках строительного леса. Француз с чувством выругался, но отказать коменданту было нельзя. Наши чудесные планы путешествия на Нигер разлетелись в прах.

В этот вечер мы ужинали в более широком кругу, чем до сих пор, так как с нами был Мамаду Омар. Охотник, довольно бегло говоривший по-французски, был так же огорчен, как и мы,— ведь рухнули его надежды на комиссионные,— поэтому тут же за ужином он предложил нам выход: мы поедем на Нигер, без мосье Шаво, только он и я; он покажет мне все, что есть интересного, и через четыре-пять дней мы вернемся домой.

Я быстро взглянул на француза. Мы, как заговорщики, обменялись многозначительными, смеющимися взглядами. Ведь мы только что обсуждали прежнюю практику Омара и его чудовищное обыкновение добывать фетиши, отрубая головы чужеземцам.

— Чужеземец есть, но в данном случае отсутствует второе неперемное условие — сохранение тайны! — оценил ситуацию Шаво как бы всерьез, что было довольно загадочно для сидящих за столом.— Поэтому риска нет, я советую ехать!

— Без ружья? — спросил я жалостную рожу.

— Я дам мой карабин и штук двадцать патронов!

Итак, мы порешили на том, что я все-таки поеду на Нигер, хотя с одним Омаром. Карабин мог пригодиться в том случае, если какой-нибудь хищник преградит нам путь. Охотиться на другого зверя у меня не было желания, а кроме того, не имея разрешения из Конакри, я мог бы только накликасть на себя беду — немилость местных властей.

Мы выехали на рассвете следующего дня, мощно оснащенные съестными припасами благодаря жене Шаво. Омар все взвалил на свой велосипед и на спину. Он хотел было взять под свою опеку также и карабин, но я решительно воспротивился: карабин был заряжен, хотя и стоял на предохранителе. Но... о слабость духа человеческого! О непостоянство характера! Когда солнце поднялось выше и начало припекать, здоровое самолюбие растаяло и я позволил Омару повесить карабин на плечо. У себя я оставил только бинокль. Охотник был рад, и я тоже.

Переехав железнодорожную линию, мы продолжали двигаться все время на юг. Дорога, вернее тропинка, была трудная, и мы крутили педали не спеша. За железной дорогой миновали две деревни. Во второй

деревушке, которую составляло меньше десятка семей, перед хижиной стояли несколько африканцев. Мы сошли с велосипедов, чтобы минутку отдохнуть. Я велел Омару расспросить людей о слонах и другом звере, но охотнику это пришлось не по вкусу.

— Это последние дураки! — Он окинул жителей деревни презрительным взглядом. — Темные бараньи лбы. Зачем к ним идти? Я не пойду!

Омар смотрел на них свысока, как фанфарон, задавака, как высшее существо. Я не на шутку удивился. Тактичный и уравновешенный до сих пор, он обнаружил какие-то неожиданные черты характера. Он стоял напыщенный, с карабином через плечо и держался обеими руками за ремень от ружья, как за символ власти. Держался судорожно, как будто в нем черпал магическую силу.

Так оно и было. Можно ли удивляться тому, что почтенный Омар упивался, держа в руках оружие, и считал карабин фетишем, обеспечивающим его превосходство, если даже в рафинированной Европе в течение последних нескольких десятков лет наличие оружия не раз переворачивало мозги людям, порождая безумную спесь?

Ради святого покоя я жаждал, чтобы охотник не брал примера с европейцев, поэтому взял карабин из его рук, повесил оружие на плечо и приказал своему спутнику идти вместе со мной к людям.

— Спрашивай, — проворчал я грозно, — где зверь!

Состязание закончилось в мою пользу. Омар был обеспокоен выражением моего лица и моим тоном. Можно было лопнуть со смеху: отобрав у него карабин, я как будто и вправду отобрал у него власть, лишил его тайной силы и принудил к повиновению. Интересно, те, кто ассигнуют миллиарды долларов на разное оружие, тоже испытывают такое же дьявольское наслаждение, как Омар минуту назад?

КАПСЮЛЬНОЕ РУЖЬЕ

Жители деревни, когда мы спросили их, где есть поблизости зверь, мгновенно воодушевились и забросали нас тысячью ценных сведений. Вокруг была про-

пасть всякого зверя — ого, буйволы, кабаны, антилопы шныряли повсюду, здесь, там, ах, аллах эль аллах, далеко, близко — нет, еще ближе; и совсем недавно, вчера, сегодня, в это утро, неправда — час назад, врешь, кум, — минуту назад, это была не циветта, а леопард, за тем пригорком, нет, вот в этих кустах, клянусь, позади моего дома стояло огромное стадо, а я видел еще большее стадо вот здесь, с этой стороны...

На нас обрушилась настоящая лавина противоречивых сведений. Омар переводил мне словесный поток так долго, как мог, но наконец и он не выдержал. Это была истерическая реклама: люди старались друг перед другом, лезли вон из кожи, клялись, бесновались, впадали в иступление. Несомненно, они рассчитывали на щедрый бакшиш, но еще больше им хотелось поразить нас своим темпераментом и богатством окрестностей. Это были мужи со спортивными наклонностями, игроки, актеры и патриоты своей деревни. Безжалостно и наивно они околдовывали нас, заманивали в свой звериный эдем. Видя, как они напевают, возбужденно крича, размахивают руками, сверкают глазами, перебирают ногами и в конце концов оказываются захваченными сумасшедшим ритмом какого-то бешеного танца, можно было подумать, что это некий счастливый гвинейский альянс современной поэзии с рок-н-роллом. Перед моим взором живо возникли полотна странного мастера Тиамы Саны из Конакри.

Вскоре жители деревни несколько выдохлись. Набираясь новых сил, они с уважением и любопытством уставились на мой карабин и люнет*. Тогда Омар приблизился ко мне и, надувая губы, произнес с презрением в голосе:

— Не говорил ли я, что это куча глупцов и креатинов?

— Но они — поэты! — с жаром заявил я.

Омар не знал, что такое поэты, но, видя мой энтузиазм, погасил его, пожав плечами и буркнув:

— Лгуны! Они нас водят за нос! Они все выдумывают, бездельники!

— Мамаду Омар! — торжественно произнес я. — Так именно в этом и состоят привилегии поэтов.

* Оптический прицел на винтовке (прим ред.).

— Ну и что мы имеем от этой болтовни? — фыркнул он, недовольный тем, что я взял окружающих под защиту.— Много крику, много прыжков, тысячи пустых слов, и все напрасно, безрезультатно...

— О великий критик Омар! Точно так же бывает часто и в поэзии!..

Жители деревни после приступа возбуждения быстро остыли. Как бы охваченные легким похмельем, они по-прежнему окружали нас плотным кольцом, но уже были не так стремительны, а утомились, глаза их угасли. В утешение им остался лишь культ моего карабина, вот они и взирали на него, как на божество: их неудержимо влекла его несомненная убойная сила. Если у них самих и было какое-нибудь оружие, то наверняка только «пугачи», вроде ружьяди Омара.

В толпе любопытных стоял пожилой господин с седой остренькой бородкой, который до сих пор меньше всех навязывался и хвастал. Как оказалось, это был староста, глава и патриарх этого селения. Теперь он приблизился к нам с серьезным выражением лица и, указывая на Омара, обратился ко мне на ломаном французском языке:

— Этот тип называть нас кучей гупцов, и он не ошибаться, но его жена — сука, родить ему паршивого щенка... Вы хотите стрелять зверей?

— Хотеть! — с издевкой передразнил Омар.

Патриарх, враг глагольного спряжения, обратился ко мне:

— Я не спрашивать хама, ты отвечать!

— А есть зверь? — спросил я.

— Есть. Близко. Небольшое стадо мин. Четыре...

— Близко-близко! — заржал Омар, до отказа наполненный ехидством.— У них все близко.

— А как близко? — спросил я старца.

— А я получить бакшиш?

— Ну конечно, получите!

— Сколько?

— Сто франков.

Патриарх кивнул в знак согласия и указал на недалекий лесок, расположенный по направлению к Нигеру, то есть на нашем пути.

— За теми деревьями, на бовале,

— Пардон! — вмешался Омар, внося поправку.— Ты получишь сто франков, если, во-первых, покажешь нам мин, во-вторых, если они не будут далеко, в-третьих, если мы подстрелим хоть одну...

— Подстрелить — на это воля Аллаха! — возразил старик.

— Если мы подстрелим хоть одну! — уперся Омар и так глянул на старосту, как будто хотел проглотить его живьем.

Староста заколебался.

— Хорошо! — уступил он, но теперь выставил свое условие.— Подстрелить этим ружьем, а не другим, и подстрелить он сам! — Приведенный в ярость моим товарищем, староста коснулся пальцем моего карабина и моей груди.

Здесь возникли новые трудности, потому что я в свою очередь представил возражения.

— Нет! Мое ружье только для крупных хищников! — объяснил я.— И стрелять буду не я, а он, знаменитый охотник Омар, а бакшиш ты получишь в любом случае!

С враждебным сожалением патриарх оглядел Омара и в конце концов согласился.

На этом закончились напряженные переговоры и торговля, и мы приступили к действиям. Усевшись на велосипеды, мы медленно двинулись в сторону лесочка. У старца были резвые ноги; к нашему удивлению, он не отставал от нас; может быть, опасался, что мы удерем?

На опушке леса мы сложили велосипеды и пожитки под деревом и начали крадучись пробираться сквозь заросли. Через некоторое время староста подал знак, что мы у цели; и правда, через несколько десятков шагов чаща поредела, переходя в боваль, а на другой стороне поляны — черт возьми, глазам не поверишь! — мы действительно увидели в зарослях травы несколько пасущихся антилоп мин. Мы находились в трехстах шагах от них и были хорошо укрыты, а ветер дул благоприятный.

Вот так неожиданность! Я радостно и признательно кивнул патриарху, а он, распираемый самодовольством, уж и не знал, как лучше выразить свое торжество.

Омар подполз ко мне и хотел чуть ли не силой отобрать у меня карабин.

— Дайте мне! — возбужденно выдохнул он.

— Ну нет, браток! Не выйдет!

— Дайте мне! — повторил он умоляюще.

— Отстань! Карабин ты не получишь! — резко осадил я его. — Ты что, на собственное ружье не надеешься?

Омар был задет и что-то пробормотал себе под нос, огрызаясь, но у него не было другого выхода, как подчиниться и покориться судьбе. Он еще раз определил направление ветра и скрылся в зарослях.

Я вручил патриарху заработанные сто франков, после чего он сразу предусмотрительно испарился. Староста предпочитал не ждать результатов охоты и возвращения задиристого охотника.

Довольно долгое время спустя я отыскал в бинокль Омара, который двигался ползком уже по другой стороне бовали, вдоль границы зарослей. Мины продолжали пастись и не чувствовали опасности. Несомненно, Омар был замечательный следопыт и умел подкрадываться к зверю, как редко кто умеет. Я издалека восхищался его ловкостью и мастерством. Он удивительно близко подполз к антилопам — на тридцать, может, на двадцать пять шагов — и только тогда выстрелил.

Поднялась огромная туча дыма, а через мгновение до меня долетел звук выстрела. Какой-то неясный, жалкий, робкий звук. Омар одним прыжком бросился на то место, где стояли мины. Он искал, оглядывался, наклонялся, крутился — напрасно: ни одной убитой антилопы не было.

Когда он вернулся ко мне, его лицо выражало такое искреннее огорчение и было так испугано, что мне стало его жаль. Вероятно, он боялся, что упадет в моих глазах, что я буду считать его раззявой.

— Наверное, порох в ружье был старый, слежавшийся! — сказал я.

— Правда, правда! — Омар оживился, хватаясь за спасительную соломинку.

— Да еще, — продолжал я, — пуля на лету задела ветку и поэтому отклонилась в сторону!

— Ах, господин, как вы все это увидели?

— Я наблюдал в бинокль!

— Да, верно — бинокль!

— А психологический момент, Мамаду Омар? Разве перед этим вы не обидели старика-старосту и разве не мог он пожелать вам зла?

— Правда, истинная правда: он заколдовал меня, он меня сглазил! — Омар так утешился этим открытием, что схватил меня за руку и тряс ее долго, горячо и искренне.

НИГЕР

Нас окружал все тот же пейзаж: сухой, не очень густой лес, местами выжженный, заросли кустарника, бовали с твердой землей и небольшие поросшие травой поляны. Но по мере приближения к реке лес густел и разрастался. Стало попадаться больше болот, влажных зарослей, мхов и больше птиц. Аисты, значительно крупнее наших, бродили в трясины. Когда над нами пролетела стая чибисов с гротескно загнутыми книзу клювами, не осталось сомнений в том, что мы приближались к большой воде.

На берег Нигера мы выехали после трех пополудни. Мы увидели реку с невысокого прибрежного пригорка. Велика ли она? А как же, велика, но, несмотря на это, сначала я почувствовал разочарование, потому что Нигер пользовался такой исключительной славой, был окружен ореолом такой таинственности, что я ожидал увидеть бог знает что. А все-таки, если рассудить здраво, уже здесь, у самых истоков Нигера, едва в двухстах километрах от них, ощущалось его величие: река в этом месте напоминала по ширине Вислу в окрестностях Варшавы. Какова же была она ниже по течению, если тянулась еще на четыре тысячи километров, то есть была более чем в три раза длиннее Вислы, а бассейн имела в четырнадцать раз обширнее?

Насколько хватало глаз, перед нами расстилалась саванна с выгоревшей травой, а среди нее — леса с деревьями без листвы и множество болотистых стариц, где в тростнике было полно водяной птицы. В этом ме-

сте река изгибом подходила к подножию нашего пригорка, образуя на другом берегу длинную песчаную отмель.

Там-то я и заметил подозрительную колоду, лежащую недалеко от воды в песке. Она напоминала мне мои прежние путешествия, особенно по Мадагаскару, и правда, я не ошибся: в бинокль я увидел спящего крокодила средних размеров. Омар толкнул меня и обратил внимание на двух других гадов, которые спали чуть дальше; один из них был редкий гигант более четырех метров в длину с брюхом, раздутым как тюк. От дремлющих на солнце чудовищ веяло допотопной древностью.

— А гиппопотамов здесь нет? — спросил я.

— Есть, только, наверное, не в этом месте, потому что деревня слишком близко...

— А где деревня?

— Там, вверх по реке, за той возвышенностью. С километр отсюда...

Вот он несет передо мной быстрые воды, старый, прославленный Нигер, тот, что тысячелетиями интриговал человечество, лишал его покоя своей таинственностью и только сейчас, недавно, буквально минуту назад, пожелал сбросить с себя этот покров. О существовании загадочной реки слышали древние греки. Римляне, которые никогда не видели этой реки, дали ей ее современное имя, совершенно верно назвав Рекой Черных. Потом в средневековую Европу проникали лишь глухие, смутные вести о сказочном богатстве африканских государств, возникших на берегах Нигера. И верно: все ценное, что когда-либо создали африканцы, зародилось здесь. Сложные государственные организмы — Гана, Мали, Сонгаи — здесь выросли в державы, известные своим величием, здесь африканские цивилизации и культуры расцветали, как пышные цветы, и гибли, разрушаемые иноземными захватчиками.

Удивительно, что, кроме туманных сказок, никакие сведения об этом блистательном мире не достигали Европы того времени. Удивительно потому, что арабы-то отлично знали, что происходило на Нигере. Но вот султан Марокко в 1590 году послал на Нигер свой иностранный легион, состоящий из четырех тысяч ев-

ропейцев — подонков из Испании, Франции, Италии, Греции, даже из Англии. Вся эта шайка, вооруженная до зубов, нанесла сокрушительный удар последней средневековой державе африканцев на Нигере, государству Сонгаи, после чего сама осела здесь, — и ничего, никаких сведений об этом не проникло в европейские хроники. Больше того, на берегу Гвинейского залива уже было полно европейских кораблей и крепостей, алчно скупавших черных невольников и золото, а между тем о великой реке, протекающей в глубине материка, до ушей ретивых торговцев либо ничего не доходило, либо доходил какой-то бессмысленный вздор.

Вплоть до середины XVIII века — века просвещения! — все еще предполагали, что Нигер берет начало в восточной части Африки, течет на запад и разветвляется на несколько рукавов, впадая в Атлантический океан, как реки Сенегал, Гамбия и другие. Но даже в конце того же века, когда Маленький Капрал * видел сны о покорении мира, никто из европейцев не знал наверняка, где истоки Нигера, в каком направлении идет его течение и в какой океан он впадает.

Лишь в это время начались лихорадочные исследования, такие тяжкие, принесшие столько жертв, как будто Нигер и вправду оборонялся с помощью адских сил и преграждал путь к своим берегам злыми чарами. Все началось в 1788 году. Англичанин Джон Ледьярд, едва добравшись до Каира, умер. Затем немец Хорнеманн, пройдя через Сахару, почти достиг Нигера, но, не увидев реки, погиб. Английский майор Хьютон пробивался с запада; он не дошел до Тимбукту, убитый фанатиками-мусульманами.

Все пока что гибли в пути. Самым первым европейцем, который в 1795 году увидел Нигер и доказал, что он течет на восток, был шотландец Мунго Парк. Он открыл реку, но ошибочно предполагал, что она впадает в Конго. Он счастливо вернулся в Англию, написал книгу и лишь во время второй экспедиции на Нигер погиб у его порогов, подвергшись нападению аборигенов. В эту экспедицию он отправился во главе отряда из более чем тридцати европейцев. Все они пере-

* Имеется в виду Наполеон Бонапарт (*прим. ред.*).

несли тяжелые болезни и либо погибли в пути, либо приняли смерть на Нигере вместе с Парком.

Одолев Наполеона, в Европе решили наконец покорить и Нигер. Атака, начатая в 1815 году с трех сторон тремя экспедициями, дала позорную осечку. Позже некий Туккей хотел выяснить соотношение Конго и Нигера, но погиб, ничего не выяснив. Между тем с западного побережья в горы Фута-Джаллон вышли в путь двое смельчаков, Пэдди и Кэмпбелл, но первый, не достигнув гор, умер, второй добрался до них и погиб уже в горах, в стране фульбе. В это время Ритчи и Лайн прорывались с севера, от Триполиса, влекомые строптивой рекой; первый окончил свою жизнь в Сахаре, второй вернулся с пути.

В 1825 году Клапертон добрал от порта Лагос до Нигера в районе Бусы и умер от истощения. В том же году майор Лэйнг, этот первый европеец нового времени, вошел в город Тимбукту, но по выходе из него был убит — тот самый Лэйнг, который тремя годами раньше, будучи в Сьерра-Леоне, более или менее правильно определил местонахождение истоков Нигера.

Все эти смельчаки, за исключением одного немца, были британцами. В свою очередь француз Ренэ Кайе, «картинный тип», как его называли, в арабской одежде прорвался через Сьерра-Леоне к верхнему течению Нигера — примерно в тот район, где я сейчас находился, — достиг окрестностей Тимбукту и, что самое главное, вернулся из этой экспедиции живым и здоровым и описал ее. Когда несколько позже, в 1830 году, англичанин Ричард Лендер и его брат открыли устья Нигера (устья — потому что река образует дельту), можно было вздохнуть с облегчением: наконец-то выносливость человека взяла верх над упорной рекой. Таким образом, пока в общих чертах, были определены истоки, течение и устья Нигера.

Ричард Лендер не избежал типичной для исследователей Нигера судьбы. Через год после памятного открытия устьев он снова двинулся к великой реке, но там в стычке с аборигенами был ранен и умер на острове Фернандо-По. Нигер, даже покоренный, продолжал сопротивляться.

Большинство открывателей, направлявшихся в эти края, гибли от рук местного населения, не слишком

расположенного к европейским пришельцам. Последующее развитие истории Африки доказало, к сожалению, правоту африканцев, яростно защищавшихся от назойливости белых. У них были основания не доверять европейцам, даже когда те появлялись в качестве безобидных исследователей и первооткрывателей с целями, поначалу как нельзя более мирными.

С тех пор изменилось немного. Взволнованно смотрел я на реку. Ее воды бежали так же, как во времена француза Кайе, даже крокодилы были такие же, как тогда, пейзаж и природа были почти те же. Только до чего же изменились люди! Теперь они уже не отгораживались от влияния извне, сегодня они верили в себя.

С переполненным сердцем, уверенный в хорошем приеме, в предчувствии приятных впечатлений, приближался я к деревне.

П Р А В О П О Р Я Д О К

Вскоре мы увидели первые хижины, а потом и всю деревню. Она стояла на бугорке, не заливаемом водой, прямо у реки. Около двух десятков лодок, стоявших у берега, и развешанные сети свидетельствовали о том, что Нигер кормил обитателей деревни.

— Здесь что, живут только рыбаки? — спросил я Омара.

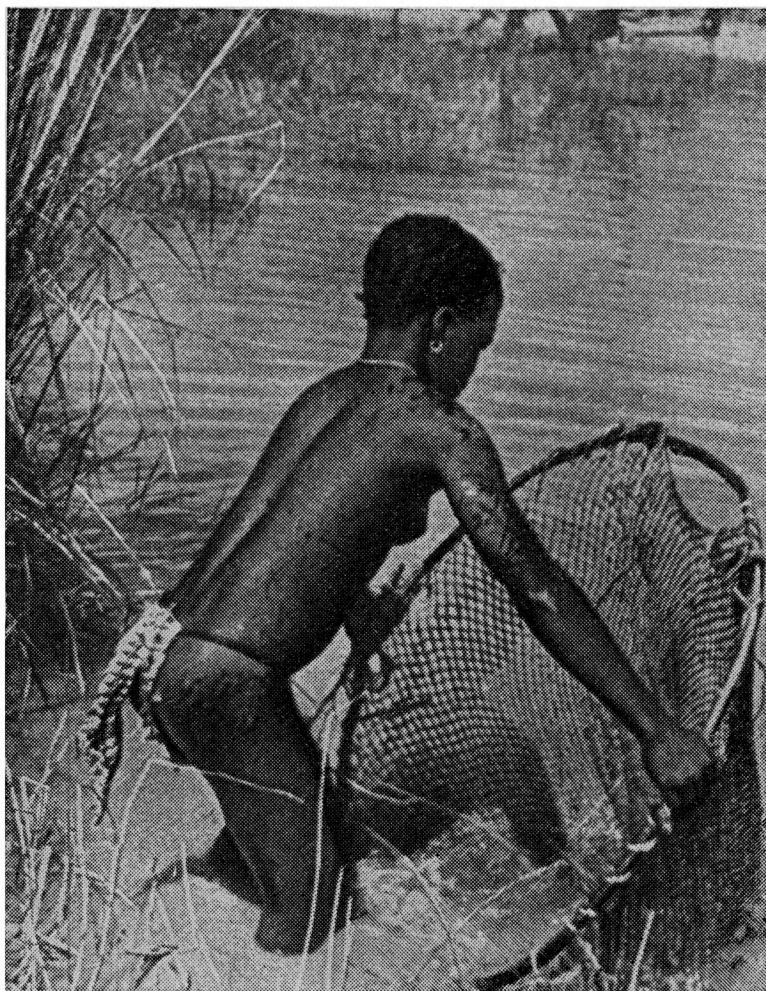
— И-и-и, где там! Два года назад, когда я был здесь, у них на той стороне были свои поля кукурузы и земляных орехов. Однако они нас боятся!

Оживленное восклицание Омара касалось детей, которые, завидев нас, стали удирать в хижины.

— Дикари! — надулся он. — Давно не видели порядочных людей!

— Добавьте: порядочных людей, вооруженных грозными ружьями...

Какая-то женщина шарахнулась в сторону, чтобы не столкнуться с нами, но Омар оставил мне свой велосипед и преградил ей дорогу. Они долго объяснялись, он — оживленно, а она — нехотя и со страхом,



...Нигер кормил обитателей деревни...

пока не подошли еще несколько женщин. Он вернулся ко мне, пожимая плечами, взбешенный.

— Я спрашиваю главу деревни, а они — какого? Спрашиваю — разве их много, они — да, двое. Как это, зачем двое, ведь деревня не очень большая? Они — да, небольшая, но главных двое. Один обычный, другой от комитета. Сам черт тут не разберется!..

Мне припомнилась деревня Камаби с ее партийным комитетом, который имел решающее влияние в деревне, и я объяснил Омару, что здесь, без сомнения, происходило то же самое. Он заверил меня, что знает об огромной роли партии в Гвинее, он сам состоит в ней, но что его удивляет — это существование партийной ячейки в столь отдаленной деревне, в этом вшивом захолустье, на забытом Аллахом пустыре.

— Извините! — комично заявил он, задетый за живое. — Но мне все это кажется просто смешным.

— Смешно или нет, — ответил я, — но согласитесь, что сначала нам надо топать к председателю комитета и представиться!

— Ой-ой-ой! Согласен, я согласен, потопали туда. Аллах акбар!

Пока мы совещались, вся деревня от одного конца до другого уяснила, что явились чужие. Повсюду раздавались предостерегающие возгласы, женщины и дети забегали в бешеной панике, а мужчины группками со всех сторон осторожно начали подкрадываться к нам. Время от времени Омар на их языке вопрошал громовым голосом, как пройти в комитет.

Мы двинулись пешком в указанном направлении, к середине деревни, ведя велосипеды рядом.

— Как называется эта пугливая деревня? — спросил я товарища.

— Откуда я знаю? Когда-то мне говорили, да я забыл.

— Мы славно их перепугали, правда?

Омар наседали на жителей со своими высокомерными вопросами, но недолго, поскольку деревня свою очередь перешла в контратаку. Председатель комитета послал к нам нескольких парней с категорическим требованием явиться к нему.

— Деловой старикан! — одобрительно произнес Омар.

Председатель жил и работал в центре деревни и уже ожидал нас. На классический манер прежних властителей он сидел на скамеечке перед хижинкой, гордо выпрямившись и держа руки на коленях. Я бы охотно его сфотографировал, да было невозможно.

Это был муж в расцвете сил, с непроницаемым лицом и с ничего не говорящим в данный момент взглядом. В окружении двух десятков жителей деревни он угрюмо и сосредоточенно слушал гладкую тираду Омара, излагающего на языке мандинго цель нашего прибытия. Когда Омар кончил, председатель приказал принести две скамеечки и широким жестом пригласил нас сесть, после чего не менее красноречиво, чем Омар, приветствовал нас не меньше получаса. Это было какое-то холодное, официальное приветствие, в голосе говорившего я напрасно пытался уловить дружескую нотку. Как видно, председатель хотел не только продемонстрировать и жителям деревни и нам, пришельцам, недюжинные способности произносить длинные речи, но заодно и дать почувствовать всю значительность своего поста.

Когда председатель на мгновение замолчал, я с беспокойством спросил Омара:

— Он хорошо понял, что я приехал сюда как друг и писатель, который намерен написать о стране дружескую книгу?

— Он хорошо понял! — ответил вместо Омара сам председатель почти по-французски.

Эта приятная неожиданность чрезвычайно обрадовала меня, но председатель не хотел разговаривать со мной непосредственно и снова перешел на мандинго. Омар сразу переводил мне его пожелания:

— Председатель понял цель вашего прибытия в Конокоро (так называется деревня), а именно что вы хотите увидеть здесь диких зверей бруса, и он ничего не имеет против, если вы опишете этих зверей в своей книге. Но председатель желал бы в то же время, чтобы вы написали также о законных властях и о строжайшем порядке в стране, которая до недавнего времени утопала в море анархии.

— Ну разумеется, я очень охотно напишу об этом! — воскликнул я. — Только пусть нам дадут постель!

— Не спешите, господин, не так прытко! Сначала надо закончить кое-какие формальности. Председатель просит показать ему разрешение.

— Какое разрешение?

— Разрешение на проезд в Конокоро.

— Но у меня его нет. Мне никто его не давал. Я просил Министерство информации в Конакри, чтобы мне дали какую-нибудь бумагу, но там сказали, что не надо, что сами известят коменданта округа в Даболе о моем путешествии.

Это неприятно поразило Камару Кейта (ибо именно так звучало имя председателя), который заявил, что в целях соблюдения порядка он будет вынужден запросить коменданта округа в Курусе, что со мной делать.

— Как это? — Я остолбенел. — Для чего запрашивать? Ведь я приехал в деревню всего на два-три дня и вернусь в Сараяу, а потом в Даболу.

— Пусть европейский друг извинит нас, — Камара Кейта пожелал обратиться ко мне, — но деревня Конокоро принадлежит к округу Куруса, а не к Даболе, следовательно, о его прибытии должен получить рапорт округ Куруса и Куруса примет решение о его дальнейшей судьбе.

— Округ Куруса обо мне ничего не знает, он не был извещен Министерством информации о моем приезде!

— Ничего не могу поделать, — ответил председатель совершенно невозмутимо. — Европейский друг подождет у нас, пока мы не получим инструкцию от вышестоящих властей.

— Сколько же это продлится?

— По всей вероятности, не больше четырех-пяти дней. Я попрошу коменданта дать решение как можно быстрее.

— Значит, до этого времени я должен оставаться здесь?

— Не иначе. Тем самым будет соблюден правопорядок.

— А вдруг это протянется дольше, чем пять дней? — воскликнул я.

— Все возможно! Это от нас не зависит.

— Но у меня нет столько времени! Если вы создаете

те мне такие трудности, я завтра же утром возвращаюсь в Сараю — и конец!

Усердный председатель мерно и энергично покачал головой в знак отрицания, дав понять, что такой конец его не устраивает, и устало возвестил:

— Неприятные последствия ожидают того, кто противится обязательным предписаниям и без письменного разрешения властей позволяет себе путешествовать по стране так, словно это безлюдная пустыня, дикое место, без законов и правопорядка...

У меня зашумело в голове от ярости: в славную ловушку я попал! Я показал два документа, какие были у меня при себе, а именно паспорт и разрешение Министерства информации на фотографирование. Паспорт, тщательно изученный, произвел на председателя соответствующее впечатление, так как там была виза полицейского управления в Конакри. Удовлетворенный муж что-то одобрительно пробормотал. Документ Министерства информации обрадовал его еще более, но, к сожалению, на минуту.

— Собираемся фотографировать диких зверей, а? — ехидно заметил он, критически глядя то на документ, то на меня.

— Если подвернется удобный случай — то и диких зверей! — подхватил я шутку и добродушно прибавил: — Но это трудное дело!

— Э-э, не такое уж трудное. Все европейцы знают, что в Гвинее полно диких зверей, даже в предместьях Конакри! Правда? Так давайте же фотографировать львов, носорогов, леопардов, змей, обезьян и... людей.

— Ха! — выпалил я и едва удержался от словечка «аминь».

К сожалению, запас пытливости председателя еще не был исчерпан: с помощью Омара он попросил показать мой охотничий билет, позволяющий отстрел зверя.

— У меня его нет, так как я не собираюсь охотиться, — ответил я.

— А для чего же это прекрасное оружие? — удивился Камара Кейта. — Может быть, для того, чтобы через люнет любоваться дикими зверями?

— Отчасти.

Когда председатель, ко всему прочему, узнал, что

я вообще не имею разрешения на ношение оружия, он оцепенел от огорчения, а потом обвел озабоченным взором стоящих вокруг жителей деревни, как бы приглашая их быть свидетелями столь неслыханного нарушения.

Тем временем собралось не менее тридцати человек. Они с интересом наблюдали за ходом необычного дела, но мне показалось, что не все были на стороне председателя. Некоторые относились к его усердствованиям явно скептически и не скрывали своего неудовольствия. Были даже такие, которые начали роптать, когда возник вопрос о карабине.

Камара Кейта решил отобрать у меня оружие и держать его у себя, пока не получит из Курусы решения властей. Возражать было трудно, и я согласился отдать ему ружье, но прежде вынул из него все патроны. Я решительно воспротивился требованию председателя отдать ему также и патроны. В конце концов я настоял на своем, и Камара Кейта уступил, видя мою непреклонность в этом вопросе.

День медленно склонялся к вечеру. Камара Кейта выделил нам помещение для гостей и позволил свободно передвигаться только среди хижин, но не разрешил выходить за пределы деревни. Мы могли свободно покупать себе продукты у кого хотели.

— Я мог бы увидеться с главой деревни? — приказал я спросить еще у председателя.

— С каким главой? — Камара сделал большие глаза.

— Со старостой.

— Ах, с Мамари Диара? Пожалуйста, ничего не имею против.

Вот так второй раз в жизни я попал в кутузку: первый раз несколько дней просидел на знаменитом Эллис Айленд, направляясь в Мексику, когда был проездом в США, а теперь меня задержали в менее известном, но тоже неприветливом Конокоро на Нигере.

Мамаду Омар скрежетал зубами от ярости и досады. Странно, но я не совсем разделял его волнение.

ЗАГОВОРИКИ

В конечном счете это было приключение, немного дурацкое, правда, и досадное, но приключение. Когда Омар пошел в деревню, чтобы раздобыть какой-нибудь еды, я бросился на ложе в нашей хижине, чтобы успокоиться. Я утешал себя тем, что посыльный, отправленный в Курусу, наверное, застанет там Шаво и весь инцидент закончится благополучно в самое короткое время. Личность самого председателя партийного комитета, по правде говоря, ставила меня в тупик, и я терялся в догадках, почему этот маньяк взялся допекать меня. До сих пор гвинейские власти всегда шли мне навстречу, а тут вдруг все пошло насмарку, полетело кувырком — я наткнулся на странную враждебность. «В чем дело?» — спрашивал я себя.

Вскоре из деревни вернулся Омар, с пустыми руками, но с радостным огнем в глазах.

— Деревня нам сочувствует! — засмеялся он, сверкая зубами. — Деревня на нашей стороне.

— И поэтому нам ничего и не продали? — буркнул я в ответ.

— И поэтому нас пригласили в деревню на ужин! — торжествуя возвестил Омар.

— Кто пригласил?

— Брат старосты. Надо идти туда сейчас же!

Так же как и Омар, я был рад благоприятному обороту дела, но столь же интересные новости принес охотник о председателе комитета. Этот человек, уроженец здешних мест, уехал отсюда много лет назад, еще во времена господства французов, и кое-чему научился. Когда Гвинея стала независимой, он уже был членом партии, затем, кажется, выполнял какие-то важные функции, но что-то там натворил и несколько месяцев назад был выслан в Конокоро на пост председателя местного комитета. Деревня его не любила, так как, обманувшись в своих честолюбивых надеждах, обозленный своими неудачами, он отыгрывался на жителях и докучал им на каждом шагу. Здешние люди были сыты по горло его деспотическим самоуправством и недавно послали в Курусу петицию с просьбой убрать его из Конокоро.

Сейчас мне стали отчасти понятны причины озлоб-

ленности председателя, который, попав в немилость к начальству, срывал свою досаду даже на мне. В то же время я понял всю щекотливость своего положения между молотом и наковальней. Это были их внутренние распри, и я, посторонний гость, не смел совать в них нос.

Я сказал об этом Омару.

— Что?! — перепугался охотник и практически рассудил: — Вы что же, не хотите идти на ужин к брату старосты?

Он был прав; мы были голодны и поэтому пошли. На всякий случай мы взяли с собой все наши пожитки, в том числе и велосипеды.

Вечерний мрак уже спустился на деревню. Омар шел впереди. Идти пришлось недалеко, но только теперь в мышцах ног, отвыкших от велосипеда, ощущалось напряжение целого дня езды.

Хижина, в которую мы явились, была просторная, круглая, как все они здесь, скверно освещенная двумя копилками на рыбьем жире и до отказа наполненная людьми, как бочка сельдями. Их было по меньшей мере двадцать. На мое оживленное «добрый вечер» — одни приветливо ответили по-французски, другие — на языке мандинго, некоторые поднялись с земляного пола, чтобы позвать нам руку и дать место, а Бамба Сори, упитанный хозяин дома, и его седой брат, староста Мамари Диара, расплывшись в дружеской улыбке, протиснули нас на середину хижины.

Сидящие на земляном полу немного потеснились, на освобожденное место бросили циновку и тотчас внесли пищу для нас двоих: вареный рис, вареную рыбу и острый соус «фонто» в мисках. Кроме того, нам подали две ложки. Было замечательно вкусно, а во время еды мы попривыкли к страшной духоте и полумраку в хижине.

С самого начала я не сомневался, что мы попали на собрание заговорщиков, и мне показалось совершенно естественным, что во время нашей трапезы все что-то страстно говорили. Страстно, но не беспорядочно. Видно, у людей накопилось много злобы, они были раздражены, но свой великий гнев изливали, как опытные ораторы, и совсем не галдели. Ни дать ни взять парламентарии из глухой деревушки на Нигере.

И хотя я ни слова не понимал, мне было приятно слушать, как они один за другим брали слово, один — запальчиво и крикливо, я бы сказал, как наш Путрамент, другой, с лицом греческой маски, — плавно, гладко, как Ивашкевич, третий — хмуро, серьезно, как Кручковский *. Каждый выражал свое недовольство в собственной манере.

— Да они ничего не оставят от него! — обратился я к Омару, когда мы кончили есть.

— От кого? — спросил охотник.

— Ну, от председателя.

— Да ведь говорят совсем не о нем!

— Так кого же они так поносят?

— Обезьян.

— Что?!

— Обезьян, киноцефалов! — добавил он по-научному, так как французы иногда называли павианов по-гречески — собакоголовыми.

— Киноцефалов? — потрясенно повторил я и окинул взглядом людей; я был захвачен врасплох абсурдной неожиданностью.

Дело же обстояло совсем просто. Оказалось, что своим главным врагом жители Конокоро считали не Камару Кейта, а обезьян. Наглые павианы стали страшным несчастьем для деревни; это они, сущие дьяволы, наполняли людей желчью, отравляли им жизнь.

Действительно, Конокоро обработала себе в последний год несколько участков под земляные орехи; урожай был неплохой, но теперь, когда пришла пора созревания и сбора, всевозможные обитатели бруса обрели вкус к орехам.

Днем и ночью охраняли жители поля, распугивали вредителей как только можно и действительно разогнали весь сброд, весь, за исключением этого дьявольского отродья павианов.

От этих тварей не было защиты, так как хитрость дурных людей соединялась в них с звериной изворотливостью. Поблизости от деревни обитало несколько больших стай.

* Путрамент, Ивашкевич, Кручковский — польские писатели (прим. ред.).

— Как велики стаи? — прервал я Омара.

Омар обратился с вопросом к людям, потом ответил мне:

— Самые большие насчитывают свыше пятидесяти штук, другие — около двух десятков...

Их нападения можно было ожидать в любое время дня от восхода до захода солнца, и они были такие хитрые и коварные, что всегда появлялись там, где их меньше всего ожидали. Женщин они совсем не боялись, собак тоже. Нескольких наиболее дерзких собак они загрызли в первые же дни, и теперь все дворняги боялись их панически. Когда мужчины стреляли из ружей, обезьяны страшились по крайней мере шума (из пугачей далеко не выстрелишь), но от человека, вооруженного палкой, непокорные обезьяны убегали лишь на длину палки, самое большое — на расстояние броска.

Омар узнавал настоящие чудеса об изощренной сообразительности воинственных обезьян — и тут же все переводил мне. Например, их излюбленным маневром была замечательная имитация нападения в одном месте, в то время как на самом деле стая наносила удар совершенно в другом. Они делали это так ловко, что всегда надували людей. Когда одураченные люди с криком бросались на это другое место, было уже слишком поздно. Впридачу к разбойничьим ухваткам павианы выработали у себя молниеносную быстроту: напав на поле, они как безумные сгребали орехи и наполняли ими защечные мешочки, в мгновение ока хватали целые охапки стеблей, после чего с полными руками добычи удирали в чашу. Все это занимало несколько секунд.

Обезьяны объявили людям жестокую войну, и, судя по тому, что я слышал, можно было думать, что победу одержит не человек. Мне припомнилась фраза доктора Альберта Швейцера в одной из его книг, что если Европа — это страна людей, то Африка до сегодняшнего дня осталась континентом животных, на котором человек все еще живет как незванный гость, где стада слонов — речь шла о Габоне — еще часто громят деревни местных жителей, где африканец ни за что на свете не войдет в чашу, занятую гориллой, а во многих реках единственными хозяевами являются крокодилы

и стада гиппопотамов. Огорченные лица людей в хижине и их мрачные рассказы в известной мере подтверждали слова Швейцера.

— Почему жители деревни не организуют серьезной охоты на обезьян и не прогонят их из окрестностей? — спросил я Омара.

— А чем? У них есть несколько жалких капсюльных ружей, но кончился порох, а в Курусе они не могли достать.

Мы досыта наелись, люди поплакались о своих несчастьях, «путраменты» и «ивашкевичи» добросовестно отвели душу, и наступила некоторая разрядка. Тогда среди собравшихся произошла перегруппировка: более молодые, которые сидели вокруг нас, отодвинулись, а их место заняли старшие во главе со старостой и его братом, окружив нас плотным кольцом. Староста Мамари Диара обратился ко мне с торжественной речью, и из многих слов, которые переводил мне Омар, я понял, что деревня просит меня о помощи.

— Чем же я могу помочь? — бесконечно удивился я.

— У вас хороший карабин с люнетом! — ответил староста. — Мы знаем, что это отличное оружие.

— Где оно у меня? — фыркнул я. — Вы же знаете, как поступил со мной Камара Кейта, ваш уважаемый председатель.

— Камара Кейта будет вынужден покориться под влиянием необходимости.

— Какая же это необходимость?

— Обезьяны.

— Вы хотите сказать, что из-за обезьян Камара Кейта вернет мне карабин?

— Да, мы заставим его! Клянемся Аллахом, что будет так! Он вернет вам, господин, карабин и вообще перестанет вас допекать, если вы исполните нашу просьбу.

— Какую?

— Небольшую просьбу, которую легко исполнить, — застрелите нам несколько обезьян.

Я невольно вздрогнул, такое отвращение испытывал я к убийству животных. Но я тотчас сообразил, что это была единственная возможность быстро выпутаться из истории, в которую я попал из-за окаянного

председателя. Под решительным давлением деревни он, несомненно, должен был бы подчиниться воле большинства: ведь речь шла о спасении урожая. Что же касается проблемы убийства животных, то разве это не был исключительный случай, необходимая защита человека от нападения наглых павианов?

Но здесь осталась еще одна деталь — повышенная подозрительность властей к иностранцам; предположим, что я бы согласился, а Камара Кейта не имел бы ничего против того, чтобы я застрелил нескольких обезьян; не сочтут ли это власти в Курусе или выше пренебрежением к гвинейским законам, преступной охотой без охотничьего билета?

Когда я поверил свои опасения присутствующим в хижине и подал в то же время мысль, что великий охотник Мамаду Омар должен взять на себя честь убить из карабина вредителей, вся хижина страстно воспротивилась этому: как видно, собравшиеся не доверяли способностям Омара. Они просили, чтобы стрелял обязательно я. Староста Мамари Диара заверил, что он и вся деревня выправят мне письменное свидетельство, подтверждающее, что я охотился по прямому желанию старосты и старейшин, а уничтожение обезьян было для деревни крайней необходимостью.

— Крайней и экономической! — по-ученому добавил Бамба Сори, брат старосты.

— Если так, то я подчиняюсь крайней необходимости! — воскликнул я. — Но что на это скажет председатель?

— Не морочь себе этим голову! — заявил Мамари Диара, переходя на радостях на «ты». — Он скажет: хорошо.

Вся компания в хижине впала в бурное веселье, расшумелась, словно у нее камень с души свалился, и как будто уже видела разгром павианов, а тон задавал Омар, самый шумный из всех. Время от времени он объяснял мне, что договаривается о плане завтрашней охоты, но я подозревал кое-что другое: пройдоха торговался с деревней о вознаграждении и, по всей видимости, требовал сполна заплатить за каждого убитого в будущем павиана.

Когда мы возвращались в отведенную нам обитель,

охотник был в отличном расположении духа. Он просто сиял от удовольствия, напевал себе под нос и в доказательство своего великодушия не разрешал мне утруждать себя велосипедом: сам вел оба.

ДУХИ

Почти вся ночь в деревне прошла в большом возбуждении. Бесперывно гудели два-три там-тама в различном ритме — и воинственном и кротком, раздавались песни, которые временами звучали, как молитвы и заклинания, то ближе, то дальше слышался топот ног. Деревня не щадила отчаянных усилий, чтобы подкупить добрых духов, напугать злых демонов и набраться сил и уверенности. Она старалась от всей души, но своими стараниями прерывала сон ни в чем не повинного человека с десятков, а то и больше раз.

Вскоре после полуночи Мамаду Омар, мастер магии, сорвался с ложа и, буркнув мне, что он сделает это лучше, чем здешние недотепы, пропал на несколько часов. Он считал себя более квалифицированным заклинателем духов.

После его ухода я почувствовал себя страшно одиноким, на мгновение меня охватила неприятная судорога беспокойства, какого я еще никогда не чувствовал в Африке. С неискренним юмором я представил себе весь клубок прелестей, которыми отличалась Конокоро, и мне пришло в голову, что именно в такой тревоге, в таком смятении ума расставался здесь с жизнью не один европеец еще несколько десятков лет назад. Теперь это было исключено, тем более что в сегодняшнем -предприятии — походе на обезьян — мне была предназначена главная роль, но верно и то, что груз настроений и чувств, приводящих в исступление жителей деревни, сегодня был тот же, что и несколько десятков лет назад.

Под утро деревня уgomонилась, стало тихо. На расвете долину Нигера окутал густой туман, а когда немного развиднелось, я был буквально засыпан подарками судьбы и милостями людей. Прежде всего перед хижинной поставили большую миску горячей воды, что-

бы я как следует вымылся и гладко выбрился. Затем появился завтрак: дымящийся рис, рыба, «фонто» и сладкий кофе — пальчики оближешь... С лица Омара не сходила благородная торжествующая улыбка, так как он чувствовал себя причастным к тому, что на нас пролился этот ливень благ.

Я еще не окончил пить кофе, когда громовой голос приветливо пожелал нам доброго дня. Кто же это стоял передо мной с лицом, подобным сияющему солнцу, с нежной улыбкой и карабином в протянутых руках? Камара Кейта — председатель местного комитета — своей собственной, сердечно преданной персоной.

— Вот оружие! — обращаясь непосредственно ко мне, сказал он по-французски так радостно, как будто вручал мне букет цветов.— Покажите нам, на что оно способно! Вы сделаете полезное общественное дело! Смерть киноцефалам, врагам национальной экономики!

— Смерть, смерть! — подхватили мы с Омаром.

Затем я с чувством заявил:

— Но пусть председатель прикажет людям пригнать киноцефалов прямо в деревню!

— Как это? Зачем? Прямо в деревню?

— Да, именно к первым хижинам. Ведь мне же нельзя выходить за пределы деревни!

— Ну, что там! Все прежние распоряжения отменены. Гражданин может свободно передвигаться хоть до самой границы Сьерра-Леоне!

— Благодарю. Однако председателю известно, что у меня нет разрешения ни на охоту, ни на владение оружием...

— Глупости, чепуха! Я подтверждаю письменно, что это было категорическое требование момента, надо было спасти урожай деревни в исключительных обстоятельствах.

— Экономическая необходимость,— гаркнул я.

— Да, да: экономическая! — радостно подхватил Камара Кейта, и мы оба в порыве волнения пожали друг другу руки (кстати говоря, впервые).

Председатель хотел еще узнать, сколько у меня патронов и сколько, на мой взгляд, должно пасть киноцефалов. Но его любопытство привело в сильное раздражение подозрительного Омара, который решил,

как видно, вершить дела с деревней единолично, без дележа с каким-либо соперником, и охотник, не дав мне ответить, довольно решительно заявил, что мы никому не можем раскрывать охотничьих тайн, ибо лишь тогда духи будут милостивы, а охота — успешной.

— Кроме того, — угрожающе глянул он исподлобья в сторону председателя, — дело уже решено с жителями деревни. Решено окончательно!

Он произнес это гневным тоном, и Камара Кейта, еще вчера такой надменный и грубый, сразу сник и примолк. Черт возьми! Что же произошло сегодня ночью, почему он стал таким тихим? Может, он испугался духов, которых так усердно вызывали жители деревни? А может, деревенским духам помогли другие, более выразительные доводы?

И У Д А

Вскоре явился староста Мамари Диара и принес для меня чалму и бубу, здешнюю одежду из полотна. Я должен был переодеться в них на время охоты, чтобы сообразительные обезьяны преждевременно не признали во мне европейца. Даже карабин было решено обернуть старой тряпкой и открыть его только в самый последний момент.

Из имеющихся в деревне капсюльных ружей Омар выбрал то, что показалось ему наиболее подходящим. Он зарядил его собственным порохом и пулей и решил взять с собой в качестве запасного ружья.

Мы вышли из деревни через два часа после восхода солнца, когда туман начал медленно рассеиваться. Нас сопровождали лишь Бамба Сори, брат старосты, и двое его сыновей. Большая часть жителей отправилась на поля немного раньше нас и там ожидала.

Люди знали привычки павианов как свои пять пальцев, и соответственно обдумали план охоты, в принципе очень простой. Посевы кукурузы и орехов не располагались в одном месте, а были разбросаны отдельными островками среди бруса. Ближайшее поле лежало тут же за усадьбами, другие — немного даль-

ше, а самые дальние — почти в семи километрах от деревни. Обезьяны посещали все участки и грабили даже этот ближайший, простирающийся у стен хижин; но по мере удаления от деревни они вели себя, разумеется, все более дерзко.

Наш план заключался в том, чтобы на всех полях устроить засады из вооруженных дубинками людей, на всех, за исключением самого дальнего участка, который был умышленно оставлен без охраны. Мы надеялись таким образом обмануть бдительность грабителей и задать им неожиданную трепку.

Вспаханые поля располагались примерно на одной линии, между собой их связывали тропки. Когда мы добрались до четвертого или пятого поля, туман совершенно рассеялся, небо окончательно прояснилось и солнце начало подсушивать росу.

Поле, которое занимало, наверное, гектара два, стерегли около десятка мужчин и женщин да еще несколько собак — охрана что надо. В тот момент, когда показалось солнце, вся компания подняла крик. В этом кошачьем концерте людские голоса, гонги, погремушки и собаки соревновались в усердии и были способны устроить всех дьяволов на свете, а не только обезьян.

— Как только высыхает роса, — велел сообщить мне Бамба Сори, — наступает время обезьян.

— Далеко ли нам еще до цели?

— Нет, близко. Следующее поле. Один километр.

Мы покинули кричащих людей и поспешили дальше. Заросшая тропка свидетельствовала о том, что по ней ходили редко; она то взбиралась на легкие возвышения, то слегка опускалась. Лес, поредевший местами, здесь был мощный, с густым подлеском — прекрасное укрытие для крупного зверя.

— Здесь есть слоны? — спросил я по дороге.

— Попадаются.

— Часто?

— Часто.

Бамба Сори был в дурном настроении. Его угнетала более тяжкая забота, чем слоны, — павианы.

На половине пути к поляне — короткая передышка. Я набросил на себя бубу, мне повязали чалму. Мы еще раз проверили оружие, капсюли и ветер — он был бла-

гоприятный. Карабин, все еще замаскированный, я взял в руки.

С этого места мы крались на цыпочках, соблюдая полную тишину. Вскоре деревья поредели — впереди виднелась опушка леса. Прежде чем войти в заросли, мы еще раз остановились и прислушались. На ближних деревьях щебетали невидимые птички, дальше в чаще старательно ворковал голубь, совсем рядом с нашими головами жужжали осы, но со стороны поля не доносилось ни одного подозрительного звука.

В молчании мы продвинулись к последним кустам, следя, чтобы и носа не было видно из зарослей. Поле, длинное и узкое, насчитывало, возможно, метров двести в длину. Мы стояли на одном его конце. Открытое, залитое солнцем пространство словно изнемогало от зноя.

Омар вдруг подтолкнул меня локтем и показал глазами на противоположный конец поля. Там что-то двигалось в тени деревьев. Я посмотрел в бинокль: павианы! Четыре, пять, шесть! Они находились на опушке леса и, наверное, как раз собирались выйти на поляну. Удивительно: мы пришли сюда раньше и неплохо укрылись в зарослях, а каналы все-таки нас заметили. Они бросали подозрительные взгляды в нашу сторону и колебались, не зная, что делать. Они были встревожены. Я это ясно видел в бинокль.

— Для выстрела слишком далеко! — сообщил я. — Что будем делать?

Омар и Бамба Сори невооруженным глазом видели все так же хорошо, как я в бинокль. Опытные ребята быстро составили план и тотчас приступили к его осуществлению. Прежде всего, уже не было смысла прятаться. Поэтому двое сыновей Бамбы Сори свободно вышли из укрытия и начали оживленно суетиться и громко разговаривать, как будто работали в поле. Надо было, чтобы они отвлекли внимание павианов на себя. Тем временем Бамба Сори, Омар и я крадучись выбрались из кустов, сделали крюк в чаще и снова вернулись на опушку поляны, но уже значительно ближе к стае.

К счастью, там лежало на земле дерево, наверное сваленное бурей. Под прикрытием его ствола мы подползли к самой кромке зарослей, а так как над нами

возвышался кустарник, мы были совершенно невидимы в его тени.

Павианы все еще находились на том самом месте, что и раньше, на опушке леса; ближайšie — менее чем в ста шагах от нас. В них можно было бы стрелять, но мне были видны не все обезьяны, а так как многие из них неподвижно сидели на задах, трудно было отличить главного самца. Он должен был стать моей основной целью. Гибель вожака, несомненно, вызвала бы растерянность всей стаи и облегчила победу над ней.

Павианы были заняты двумя людьми, которые работали на другом конце поля, и то и дело бросали туда внимательные взгляды. Они не чувствовали ни близкого врага, ни нависшей над ними опасности. На опушке леса было лишь несколько животных; чуть в глубине, в кустах, их мелькало больше.

Так мы ждали с четверть часа. Я не решался даже приложить к глазам бинокль, чтобы не выдать своего присутствия случайным блеском стекол. Но в бинокле и не было необходимости. Что я чувствовал в этот момент? Только охотничий азарт. Во время нашего марша меня еще охватывали слабые сомнения, но я легко подавлял их, говоря себе, что помощь людям необходима. Сейчас я не ощущал ничего, кроме жажды уничтожения. До чего же легко возродить варвара в самом себе!

Обезьяны в конце концов поняли, что со стороны крестьян, которые находятся в отдалении, им ничто не угрожает. Они постепенно начали двигаться и вертеться. Среди них раздались возгласы и гортанный говор, примерно как в группе людей, которые решили выйти на улицу. Несколько павианов мелкими шажками выскочили на поляну, и первый из них, резвясь, начал обрывать орехи.

При этом печальном зрелище Бамба Сори в порыве глубокого горя не мог удержаться от громкого сопения и делал мне отчаянные знаки, чтобы я стрелял в обжору. Но это был небольшой павиан, и Бамба Сори получил от Омара жестокого тумака в бок, после чего успокоился.

Тем временем около двух десятков обезьян сразу выскочили из зарослей, и среди них два экземпляра

огромных размеров, гигантские, как волкодавы. Великаны бросались в глаза. Первый, которому я выстрелил в грудь, упал. Близкий гром выстрела буквально парализовал на мгновение всю стаю. Одним рывком затвора сумел я выбросить гильзу из ствола, вложил новый патрон, прицелился в другого гиганта и снова выстрелил, прежде чем стая опомнилась от страха и как безумная ринулась бежать.

Другой павиан тоже упал как подкошенный, но тотчас поднялся и, покачиваясь, тяжело потащился вслед за другими. Бамба Сори не выдержал. Он выскочил из укрытия и в несколько тигриных прыжков достиг зверя. Толстой дубиной он огрел его по голове, но не убил. Павиан рванулся из последних сил и вонзил страшные зубы в ногу человека. Бамба Сори свалился на землю. К счастью, теряющее силы животное не добралось до горла человека, но продолжало судорожно сжимать зубами его ногу.

Видя это, Омар выскочил из-за ствола и бросился на помощь. Подбежав, он почти вплотную приставил дуло ружья к голове обезьяны и выстрелил. Павиан осел на землю.

Сцена с раненым зверем разыгралась молниеносно. Тем временем стая кинулась было в лес, но потом, смекнув, что с двумя упавшими павианами случилось что-то ужасное, внезапно остановилась. Более того, она повернула назад и, издавая адский визг и вой, как бы готовилась наброситься на нас. Павианов было больше двадцати штук. Все они — вне себя от ярости; их охватило безумное бешенство. Несмотря на ярость, они не спешили нападать и пока не отваживались подбегать ближе чем на два десятка шагов. Но, разъяряясь все сильнее и сильнее, они становились все более дерзкими.

При таких обстоятельствах два следующих выстрела показались мне просто детской забавой; они ловко свалили двух наиболее нахальных. У меня в стволе остался только один, пятый патрон, а потом — лишь приклад для защиты. Но стая не вынесла страшного грохота и такого количества смертей — это было уже слишком. Близкая к победе, она дрогнула. Издавая безумные вопли и стоны, мечась в панике, обезьяны исчезли в кустах. Минутой позже тишина властвовала

над полем и лесом, тишина и резкий запах пороха. Во время стрельбы Омар открыл огонь еще и из другого ружья, однако без видимого успеха.

Бамба Сори, несмотря на кровоточащую ногу, радовался и был буквально на седьмом небе. Его пьяные от счастья глаза сверкали, когда он смотрел в сторону обезьяньих трупов и на меня, героя. А между тем герой чувствовал себя нехорошо, он чувствовал себя иудой. Воинственный варвар исчез, улетучился, мне стало не по себе.

Не стыдно ли признаться в том, что было после? Герой перекинул карабин через плечо и, чувствуя тошноту, молчком смылся в лес. Там, под прикрытием зарослей, вдали от превозносящих его свидетелей, он грустно вытащивал остатки деревенского завтрака, отдавая природе Иудин сребреник.

Ч У Д О В И Щ А

Вторую половину этого дня мы провели в деревне, а вечер запомнился мне тем, что я увидел, наверное, самую странную птицу на свете — так называемого четырехкрылого козодоя. Чудовище, разумеется, обладало не четырьмя крыльями, а двумя, но они были такой формы, что даже самый понурый флегматик и последний разиня, увидев птицу в полете, пораженный, выпучил бы глаза.

Лучшим доказательством склонности человечества к истерии служит его многовековое отношение к козодоям. Так как эти птицы таинственно появляются в пору вечерних сумерек и не боятся людей, древние греки, римляне и другие народы суеверно приписывали им бог знает какие демонические качества и истребляли их как могли. Это странное отношение к ни в чем не повинным козодоям продолжалось и в более поздние века, оно отразилось и в наименовании птицы у разных народов. Погрязшие в средневековых предрассудках англичане называли ее *goatsucker*. Даже немцы, которые всегда были лучшими исследователями природы, совершили ту же самую ошибку со своим *Ziegenmelker*. Мы, разумеется, пошли вслед за нем-

цами и уже просто на честное слово приняли это «козодой».

Арабы ошибочно приписали той разновидности козодоя, которую я видел в Конокоро, четыре крыла, но наука доверчиво приняла это да еще прилепила козодою по латинской номенклатуре ошибочный эпитет «длиннохвостый» — *Longipennis*. Чтобы не было сомнения в том, что орнитологи — это не какие-нибудь мелочные формалисты и педанты, скажу: у моего козодоя никогда не было длинного хвоста. Правда, что-то у него там позади болталось, только это был не хвост. В конце концов, козодои сами отчасти виноваты в таких неправдоподобных подозрениях. У этих таинственных существ странные, подозрительные манеры. Мне припомнился один знойный вечер в бразильском лагере Парана. Я возвращался с охоты с зоологом Антониом Вишневым. Было уже почти темно, когда примерно в двадцати шагах от нас беззвучно, как дух, что-то сорвалось с дороги и исчезло во тьме. Это что-то пролетело лишь несколько десятков шагов и снова село на дороге. Когда мы приблизились, загадочное существо повторило свой маневр и снова перепорхнуло на небольшое расстояние. Так повторялось несколько раз; птица-привидение — мы были уверены, что это крупная птица, — своим таинственным появлением и исчезновением как бы хотела околдовать нас или как-то странно подшутить над нами. Пугливый человек мог бы подумать, что это призрак, классический упырь. Вишневский выстрелил в птицу. Несмотря на темноту, он попал в нее, и оказалось, что мы получили для коллекции великолепный экземпляр южноамериканского козодоя.

В этот вечер я прогуливался с Омаром вдоль берега реки. Тогда-то мы и увидели птицу. Было уже не слишком светло, но, несмотря на это, мы тотчас узнали козодоя по неуверенному, неровному, как бы мягкому полету, так характерному для всего семейства. Но что это — разрази ее гром, — сколько же все-таки там летело птиц, три или одна? Похоже, что три: в середине одна большая, а по бокам, немного сзади, — две маленькие. Они проделывали в точности те же зигзаги и повороты, что и большая птица, и представляли собой ее надежный, неотступный эскорт. Невольно я

вспомнил морских рыбок-лоцманов, которые следуют за некоторыми крупными рыбами.

Нет, это была одна птица, прославленный козодой четырехкрылый. Одна кость в каждом его крыле — девятая кость, поверим на слово орнитологам — обезумела и выросла чрезмерно, выступая далеко за крыло в виде голого, как стебель растения, отростка. И лишь на самом конце, почти в полуметре от крыла, этот отросток оброс пышным веером перьев. Он-то и производил впечатление отдельной птички, летящей здесь же, вслед за козодоем, — впечатление тем более обманчивое, что во мраке не было видно тонкого отростка.

Птица, ловя в воздухе насекомых, несколько раз пролетела над нами. Козодой вообще тяжело летают, а «четырёхкрылым» два эксцентрически удлиненных пера еще более затрудняют полет и тем самым добывание корма — мошек.

Это был самец; самки, я знал это, не обладали удлиненными костями на крыльях. Многие другие птицы-самцы отличаются изысканным щегольским нарядом, но здесь снобизм рода явно переборщил и затруднял самые важные жизненные функции, стесняя свободу движений. До сих пор я думал, что такой снобизм и такое легкомыслие — исключительная привилегия человека.

Какой взлет творческой фантазии! Козодой четырехкрылый достиг того, о чем напрасно мечтает современная живопись: своей странностью он воспламеняет человеческое воображение и возбуждает удивление.

Ужинать нас пригласили, как и накануне, в хижину Бамба Сори; снова собралась целая куча ораторов и советчиков. Был также и Камара Кейта, председатель комитета. И снова пережевывалась та же тема. «Герою» дня объяснили, что деревня решила отпугнуть павианов, вывесив на каждом поле по одному обезьяньему трупу, закрепленному на высоком шесте, чтобы сохранить от ночных хищников.

— А от сипов днем? — спросил я.

— Мы будем сторожить целый день! — успокоили меня.

Но так как деревня имела больше чем четыре поля,

ей требовалось больше обезьяньих трупов. Уже был обдуман новый план охоты на следующий день, обещающий столь же добрые результаты, как сегодня, то есть...

Прежде чем ораторы перешли к изложению подробностей, я охладил их пыл, твердо заявив, что не могу больше убивать обезьян.

— Как это? Почему нет? — Со всех сторон раздалось враждебное ворчание; в меня вперились сверкающие быстрые взгляды, жители Конокоро не могли допустить, что я обману светлые надежды деревни.

— Не могу, — твердо объяснил я, — потому что таков суровый закон, который многие поколения царит в моей семье: мне нельзя преступить число четыре!

— Ах, ах! — отовсюду раздались полные понимания и уважения голоса. Они слишком хорошо знали, что это такое — закон рода.

Тут все стали более пристально поглядывать на Омара и наконец спросили его, не может ли он застрелить несколько павианов.

— Если бы я получил в собственные руки карабин с люнетом — нет ничего легче! — ответил польщенный охотник, гордо выпятив грудь.

Все снова обратили ко мне вопрошающие взгляды. Я был приперт к стене, и мне не оставалось ничего иного, как благосклонно согласиться:

— Я не знаю в Гвинее более знаменитого охотника, чем Мамаду Омар. Я одолжу ему на завтра карабин с люнетом и дам пять патронов.

— Падет пять киноцефалов! — с благородной скромностью ответил на это Омар.

— Этого будет достаточно! Вполне достаточно! — вскричали собравшиеся с умеренностью, равной скромности Омара.

Был составлен новый план действий на завтра, похожий на сегодняшний, только поле было другое, и мы пошли спать.

На следующий день я чувствовал себя как на каникулах. В то время как больше половины жителей деревни поспешили с Омаром на охоту, я отдыхал, беззаботно шатаясь по закоулкам селения.

В Конокоро водилась масса веселых ящерок агама, проворных, как мелкие воришки. В тропической

Африке обитает множество видов этих ящериц, многие из них имеют красивую окраску и в большинстве своем отличаются ярко-красной головкой. Однако конокорские агамы более скромные и предпочитают, по крайней мере в это время года, ржаво-серые головки. Но в остальном — какой темперамент, словно в них сидит тысяча чертей!

Полезные создания пожирают мух и тому подобную гадость; они шныряют только в самом близком соседстве с людьми, охотнее всего прямо среди хижин. В бресе их нет совершенно. В то же время они так панически убегают от людей, что мне не удалось ни к одной из них подойти ближе чем на три шага. Дальше трех шагов все — дружба, любовь, братство, солидарность, кокетство; меньше трех шагов — мгновенный страх, холодная война и спасайся, кто может: дружеские чувства испаряются, и агамы тоже.

Все без исключения взрослые люди нравятся им, а вот куры и дети — сомневаюсь. Факт остается фактом: агамы любят людей, но рассудительно, на безопасном расстоянии.

Удирая, они обычно молниеносно прячутся на ближайшее дерево. Они скрываются за ствол и высовывают из-за него головку, чтобы не выпускать из виду «друга». Именно в это время они проделывают то, что принесло им громкую славу, если не всеобщую, то наверняка во всем арабском и мусульманском мире: верхней частью тела и головой ящерицы как бы отвешивают поклоны. Это несколько напоминает движения молящихся мусульман, когда они совершают утренний и вечерний намаз.

Ревностные мусульмане многие века не могут простить этого агамам. Они подозревают, что в агамах таится дьявол, который насмехается над набожностью правоверных и приказывает адским ящерицам передразнивать движения молящихся — преступление, которое карается смертью. Но как тут убивать бессовестных агам, если все знают, что при всей своей подлости они успешно уничтожают насекомых в деревнях правоверных? Как тут разграничить их вину и их заслуги? Так невинные ящерицы своими поклонами приносят дополнительные огорчения смятенным душам правоверных, как будто у них нет других забот.

К счастью для гвинейских агам, здешние мусульмане не были фанатиками и не высматривали дьявола на каждом шагу. Агамы в Конокоро шмыгают то и дело и, отбежав в сторону, раскачивают головками. Никто их не преследует. Они очень забавные, легкомысленные, странные, так что и я с некоторых пор, правда наполовину в шутку, стал смотреть на них несколько подозрительно, хотя я и не мусульманин. Не имело ли это беспрестанное покачивание головкой какого-то особого значения? На воре шапка горит: может быть, здесь была символическая связь с вчерашней охотой? Может быть, смысленные агамы качают головками с презрительной жалостью к предателю Иуде?

Разумеется, это были глупости, но, черт возьми, мне было совсем не до смеху, когда незадолго до полудня издали донесся глухой гром ружейного выстрела, словно укор совести. А мгновение спустя прозвучал второй, третий и четвертый. Омар убивал павианов.

С Л О Н Ы

Омар убил двух павианов. Ненасытной деревне этого было все еще мало, но теперь я взбунтовался. Вежливо, но непреклонно я заявил во время ужина, что на следующий день мы покинем Конокоро, так как возвращаемся в Сараю,— и мы действительно покинули деревню.

Деревня дружески прощалась с нами, даже Камара Кейта был очарователен. Мне хотели выправить обещанное письменное свидетельство об охоте, но так как мы застряли бы при этом на несколько часов, а может быть, и на целый день, я отказался, при условии что деревня даст свидетельство в случае необходимости.

Мы бросили последний взгляд на Нигер с пригорка, откуда несколькими днями раньше я увидел его впервые. Час назад туман растаял, и дневной зной уже заливал землю, а на песчаном берегу на другой стороне реки грелись на солнце несколько крокодилов.

Они лежали, похожие на бревна, словно олицетворение древней Африки: при виде их невольно возникал вопрос: долго ли еще?

— Они приносят вред людям? — спросил я Омара. — Представляют угрозу для них?

— И еще какую! — ответил он.

— Так почему же их не уничтожают? Разве это так трудно?

— Трудно. Люди думают, что это демоны. А кроме того, чем их уничтожать? Пугачами?

Колониальная администрация, которая не допускала распространения современного оружия среди африканского населения, имела в виду прежде всего собственную безопасность; тем самым она способствовала и сохранению диких животных от истребления.

— Любопытно, гиппопотамы живут далеко от деревни?

— Говорят, что за ближайшим поворотом реки вверх по течению. В нескольких километрах от деревни.

— Черт бы побрал эту охоту на павианов! — в сердцах скрипнул я зубами. — Из-за них мы ничего не видели.

— Но мы обогатили свой опыт! — произнес Омар с воодушевлением. По его тону легко можно было догадаться, что он обогатил не только опыт.

Мы отошли от реки и углубились в брус. Как и везде в этих краях, он был очень разнообразен: редкий лес сменялся густыми зарослями, поляны, покрытые кустарником, переходили в голые бовали. Ровная в основном поверхность и хорошо протоптанная тропинка облегчали езду на велосипеде. Людей здесь совсем не было. Две одинокие деревни, которые мы проехали по пути к Нигеру, были расположены поблизости от железной дороги, более чем в тридцати километрах на север отсюда. Перед нами протянулась огромная полоса безлюдья.

На краю какого-то боваля мы увидели издали стадо крупных антилоп. У них были необычные гривы и длинные хвосты. Я без труда узнал антилоп гну. Очень чуткие, они, едва завидев нас, скрылись в кустах.

Примерно через час после того, как мы покинули

берег Нигера, мы уже ехали по густому лесу. Здесь росли могучие деревья, покрытые густой листвой, в их тени царил зеленый полумрак. Вдруг Омар, который ехал впереди меня, заметил что-то из ряда вон выходящее. Он резко затормозил, делая мне знак рукой остановиться. Омар очень тихо соскочил с велосипеда, я — за ним.

Омар приложил палец к губам и едва слышно шепнул мне:

— Слоны!

В волнении я стал пристально смотреть в глубь леса, следуя за взглядом Омара. Слава богу — они! Я остолбенел, поняв, что мы оказались среди стада слонов. Серые колоссы окружали нас со всех сторон.

Колоссы! Меньше чем в двадцати шагах от нас вздымалась какая-то огромная серая масса, наполовину скрытая в чаще, не то чья-то туша, не то громадный камень. Это была часть слоновьего зада, сам зверь был закрыт зеленью. Но уже то, что я увидел, показалось мне невероятным, опрокидывало все обычные зрительные представления, нарушало привычные пропорции.

В другом месте, тоже в нескольких шагах, была видна только спина слона. Она почти достигала последних ветвей верхушки дерева, словно спина фантастического чудовища! Может быть, близкое расстояние и густота деревьев так исказили размеры?

Стадо, испуганное нашим появлением, неподвижно замерло, так же как и мы. Наше положение было не из приятных, может быть даже угрожающее. Если разозлится какой-нибудь самец или какая-нибудь мать пожелает защитить своего малыша, думая, что он в опасности, то нам придется туго. Кроме того, что я испытывал вполне понятный страх, я был еще и необычайно поражен величиной животных. Ведь я лицезрел чудища, несоразмерные с современным миром, каких-то страшных властителей заколдованной страны из волшебных сказок, какой-то плод капризной фантазии По, Гофмана или Свифта, только не настоящих животных.

Когда я стоял так, охваченный удивительными впечатлениями, Омар прикоснулся ко мне, приглашая взглянуть в сторону чащи, где мгновение назад вид-

нелся зад слона: животного уже не было. Стадо ускользнуло так тихонько, что, несмотря на близкое расстояние, я не слышал даже легкого шелеста или хруста самой маленькой веточки. Чудесное исчезновение этих толстокожих животных, таких неуклюжих на вид, было для меня еще одной неожиданно.

Встреча со слонами потрясла меня до глубины души, и во время дальнейшего путешествия я оставался под впечатлением этого приключения, а так как мне не надо было следить за дорогой, поскольку я спокойно ехал вслед за Омаром, я мог уноситься мысленно туда, куда влекло меня мое воображение.

В Германии живет интересный, симпатичный человек, доктор Бернгард Гжимек, зоолог, родом из Силезии, директор зоопарка во Франкфурте-на-Майне, который после второй мировой войны несколько раз посещал Африку и написал несколько книг.

Одна из них, «Нет места для диких животных», приобрела мировую известность и положила начало кампании по охране диких животных Африки от истребления.

Я не читал этой книги, написанной в годы, когда колониальная система еще казалась нерушимой как железобетон, но на основании того, что я о ней слышал, могу предположить, что она была адресована главным образом европейцам и их колониальным властям. С благородной пылкостью выступает доктор Гжимек против несправедливости по отношению к диким животным и требует их решительной защиты, если они еще совершенно не уничтожены вследствие хищнического отстрела, браконьерства. Это был страстный призыв к великому и справедливому походу, нашедший — повторяю — заслуженный отклик обществственности Западной Европы и Америки.

Сейчас, когда человек — другое, терпящее более серьезную несправедливость существо — успешно начал срывать с себя колониальные оковы, еще недавно громогласный призыв к спасению животных звучит более приглушенно. Он утратил первоначальное значение даже в Восточной Африке, которая до сих пор продолжает оставаться раем для охотников, где пока

еще удерживающимся у власти европейцам вскоре встанут костью в горле более серьезные проблемы, чем защита животных.

С середины 1960 года в крупных иллюстрированных журналах Запада стали появляться эффектные жалобы по поводу будущей грустной судьбы животных в Африке. Отличающиеся по своему духу от искренних предостережений доктора Гжимека, эти статьи, обычно великолепно иллюстрированные цветными снимками, чуть не до небес возносили слонов, львов, носорогов, буйволов, жирафов и других животных, роня горячие слезы по поводу их скорого истребления — неизбежного, если допустить к власти вечно голодный негритянский сброд и тем самым позволить непочтительным варварам истребить под корень гордость африканской природы. В статьях предусмотрительно не ставились точки над «и», чтобы читатель сам мог сделать вывод: даже в этом отношении, в вопросе о животных, таком близком сердцу каждого цивилизованного человека, будет нанесен непоправимый вред человечеству, когда управление Африкой попадет не в те руки.

Дни крупных диких животных в Африке, к сожалению, действительно сочтены независимо от того, кто, что и с каких позиций писал об этом или будет писать. Неумолимая судьба постигнет диких животных в результате естественного хода событий, как следствие того, что в настоящее время происходит в Африке. Я со всей ясностью понял это, точно прозрел, когда нас окружили в лесу гигантские слоны.

Захват африканцами власти над своей судьбой и землей уже осуществился или осуществляется во многих странах; он повлечет за собой два последствия: бурный прирост населения и приобретение современного оружия. Вся современная медицинская промышленность и знания о гигиене обрушатся на Африку, как на обетованную землю, и не исключено, что уже на протяжении одного поколения население увеличится вдвое.

А как с современным оружием? Капсюльное ружье было унижительным, навязанным африканцам символом колониализма. Африканец не только отбросит его

с чувством отвращения, но, идя семимильными шагами вперед, приобретет, конечно, хорошее ружье, чтобы сохранить свои поля от вредителей. Пожалуй, ничто не доказывает такой необходимости лучше, чем события, пережитые нами в Конокоро.

Часами крутя педали, неслись мы по брусу, то пышному и зеленому, то бесплодному и высохшему, и нигде не было и следа человека. В этом пустынном краю познаешь слегка пугающее ощущение, столь знаменательное для Африки, что вот сейчас, впервые от сотворения мира, человек идет по девственной стране. Но так же легко вообразить и то, что это последний день ее девственности.

Судя по африканским темпам, можно реально предположить, что через пятнадцать — двадцать лет теперешние пустоши оживут от присутствия сотен земледельцев. Некоторые из них наверняка будут обладателями хороших ружей. Защищая свои поля, человек перестреляет всех слонов, буйволов и крупных антилоп и сильно истребит более мелкого зверя. И это будет не дикое, варварское уничтожение, жертвой которого пали стада бизонов в Северной Америке, а элементарная самооборона.

Это будет так же неизбежно, как истребление свирепых туров в древней Польше, медведей в Швеции или волков на французской равнине. Правда, в Африке эта драма разыграется более бурно, в лихорадочном напряжении, с неслыханной торопливостью.

ТУМАНЕЯ

Я возвращался в Сараю, как в другой мир, к близким мне душам. Шаво только что прибыл из Курусы. Он и вся семья приветствовали меня как дорогого друга.

Два дня спустя Шаво привез меня на своем грузовичке обратно в Даболу. По пути нам надо было посетить два знаменитых места — городок Дингирае и деревню Туманею, находящихся недалеко друг от друга. Они связаны с именами двух выдающихся создателей африканских государств, ал-Хадж Омара (се-

редина XIX века) * и вождя Самори (конец того же века), которых французы сумели одолеть лишь после тяжелых войн.

В то время как ал-Хадж Омар происходил из Сенегала и в городе Дингирае, столице своего государства, был чужаком, Самори Туре был урожденным гвинейцем из племени мандинго и, как я уже упоминал, предком теперешнего президента Гвинеи Секу Туре.

В деревне Туманея, которая расположена на левом, западном берегу реки Тинкисо, километрах в пятидесяти на северо-восток от Даболы, жили люди племени диалонке, связанного дальним родством с мандинго. Здесь находилась когда-то самая западная крепость Самори, которая дерзко возвышалась на покоренной территории прямо под носом фульбе. Она была сооружена настолько основательно, что кое-где до сих пор сохранились ее стены, у которых люди строят свои жилища.

Около десяти часов утра мы въехали на большой деревянный мост, переброшенный через Тинкисо, значительно более широкую в этом месте, чем Варта у Познани. На другой стороне мы увидели деревню Туманею, а за ней, у самой воды,—нескольких женщин и девушек, занимающихся ловлей рыбы. Так же как изготовление посуды, этот простой способ ловли рыбы принадлежал к числу женских работ: женщины в фартуках входили в воду на метр или полтора от берега, не теряя под ногами дна, и каждая погружала в воду сачок, вытягивая всякую мелкую рыбешку, которая была так неосторожна, что давала себя поймать.

* Ал-Хадж Омар (род. ок. 1797 — ум. 1864) — крупный африканский государственный деятель. После паломничества в Мекку, где он получил звание хаджи, Омар основал на территории Фута-Джаллонского государства братство «завийя» (военно-религиозную общину). В 1850 г. Хадж Омар обосновался в построенной им крепости Дингирае, ставшей столицей созданного им государства. Омар пытался объединить под своим руководством небольшие государства Западной Африки, но эти попытки были безрезультатными, так как многие вожди в борьбе с ним обратились за помощью к французам. Ал-Хадж Омар погиб в столкновении с восставшими мусульманами-фульбе из Масины (прим. ред.).

— Возможно, что это внуки Самори! — усмехнулся Шаво, указывая на женщин.

Самори, как африканский вождь старого склада, имел бесчисленный гарем. По крайней мере одна дочь каждого покоренного им царька, вождя или просто старейшины опустошенной деревни автоматически становилась одной из его жен; по подсчетам французов, у него было более двухсот сыновей и около сотни дочерей.

Я присмотрелся к женщинам внимательнее: среди них были молоденькие девушки.

— Если это семья Самори, — сказал я, — то в таком случае здесь не только внуки, но и правнучки.

— О'кей, пусть будет так!..

Туманея насчитывала около двадцати хижин. Войти в деревню можно было через ворота, построенные, как туннель, внутри бастиона, когда-то служившего для защиты. Сейчас стена, некогда окружавшая крепость, частично развалилась, но там, где она еще стояла, служила опорой хижинам. В деревню можно было попасть с любой стороны, но мы вступили через ворота и сразу оказались в укромном уголке, где нам открылась мирная картина домашней жизни: на площадке, окруженной шероховатыми стенами старой крепости, приветливо улыбающиеся женщины сидели у нескольких очагов и готовили в горшках пищу.

В деревне Туманея у Шаво была своя хижина, которую он в шутку называл охотничьим домиком; здесь он ночевал, если у него возникало желание (что бывало, правда, редко) поохотиться в округе; тут иногда появлялись стада антилоп гну. Жители деревни приветствовали Шаво как хорошего знакомого. Пройдя немного, мы встретили нескольких мужчин, которые вышли поздороваться с нами. Каждый гордо нес ружье, разумеется капсюльное, словно они хотели показать, что живы еще старые, воинские традиции деревни.

— Интересно, — спросил я Шаво, — они что-нибудь помнят о Самори?

— Сами они не могут помнить, так как слишком молоды! — ответил француз. — Редут построен примерно году в 1885-м, а позже Самори отступил на во-

сток и юг под напором французских отрядов. Зато их родители или деды наверняка знали Самори.

— Спросите, пожалуйста, что они знают о нем?

Шаво обратился к мужчинам на языке мандинго, так как здесь никто не знал французского, и сразу посыпалось столько слов, воинов охватило такое оживление, словно сунули палку в муравейник. Они пылко сообщали важные новости, указывая на себя, их голоса, глаза и жесты выражали страстное возбуждение. Шаво слушал их, почти остолбенев, не скрывая своего удивления, а потом обратился ко мне с лукавым блеском в глазах:

— Я и не предполагал, что акции Самори подскочили в Гвинее так высоко!

— Да ну?

— Они все без исключения клянутся, что состоят в родстве с Самори, один — даже внук по прямой линии, а все остальные — тоже одной с ним крови... Как видно, для внуков Самори появилась хорошая конъюнктура...

— А тем самым и для кузенов президента! — добавил я весело.

Славная деревня Туманея припасла для меня еще один сюрприз. Большинство жителей находились где-то далеко, на полях; покидая хижины, они запирали их на здоровенные висячие замки. Эта мера предосторожности, не виданная мною до сих пор в Гвинее, безмерно удивила меня.

— Да, — подтвердил Шаво, — на такие замки у нас большой спрос. Это импорт из Польши.

— Откуда? — я не верил собственным ушам.

— Из Польши. Они недурны, люди их хвалят.

Сердце мое затрепетало от гордости при мысли о том, что мы в глазах гвинейцев пользуемся славой борцов против воровства. Чехи прислали сюда трактора, мы — висячие замки.

Однако вернемся к Самори.

САМОРИ

Самори Туре родился около 1840 года в Сананкоро, километрах в ста пятидесяти на юг от города Канкан. В молодости, так же как и его отец, Самори был

разъезжим купцом. Несмотря на то что вся внутренняя Западная Африка еще долгие годы оставалась вне политической «опеки» европейцев, которые пока еще сидели только на побережьях, их опыт XVII—XVIII веков — торговля невольниками в крупных масштабах — продолжал практиковаться и в XIX веке: каждый властитель и каждый царек считал делом чести поправлять свой бюджет посредством захвата невольников у более слабых соседей, а в оборотистых скупщиках ходового товара никогда не было недостатка от Нигера до границ Аравии. Однажды во время такой облавы головорезы правителя из Канкана напали на родную деревню Самори и увели его мать в рабство.

Когда Самори отправился в Канкан, чтобы выкупить ее, он также был насильно схвачен и включен в число воинов деспота. Способный, полный энергии и творческой фантазии юноша вскоре проявил себя в военных рейдах и стал отличным предводителем в войске властителя Канкана. Возвращаясь однажды после нескольких лет такой службы из дальней экспедиции с большим количеством пленников, он одарил ими своих воинов, а по возвращении в Канкан поднял бунт, правителя умертвил и сам встал у власти. Это был 1874 год.

Честолюбивый вождь, альмами строил великие планы, мечтал о создании новой державы Мали и, несомненно, добился бы цели, будь то другие времена. Но в конце XIX века три европейские державы — Франция, Англия и Германия — сговорились поделить Африку между собой; в этом разделе Судан на верхнем и среднем Нигере достался Франции. Железный кулак Европы опустился на Африку; в течение двадцати четырех лет Самори метался по территории около миллиона квадратных километров, как загнанный зверь, прежде чем сдался.

Это была война жестокая, беспощадная, война, которая обратила в прах и целиком опустошила огромные территории страны. Кого не постигла гибель, тот попадал в рабство. Покорив несколько мелких соседних государств, Самори двинулся на север, к реке Сенегал, но здесь наткнулся на французские отряды, направлявшиеся на Нигер и, разумеется, значительно лучше вооруженные, чем его собственные. Произошло

неизбежное столкновение. Самори нападал неожиданно и наносил жестокие удары противнику, но и сам нес огромные потери. В конце концов он предпочел заключить с французами мир и признал границу по Нигеру и Тинкисо: французы оставили за ним территории, расположенные на восток и юг от этих рек, понимая, что это лишь временно.

При заключении мира Самори отдал французам в качестве заложника, как свидетельство доброй воли, своего любимого сына Карамоко. Французы привезли молодого человека в Париж, показали ему свои богатства, ошеломили численностью армии на параде в день 14 июля и вскоре вернули его отцу. Ловкий маневр — кто-то назвал его дьявольским — вполне удался. Ослепленный юноша, рассказывая чудеса о мощи Франции, сеял сомнения в рядах мандинго, и отец обрек его на смерть. Государственные соображения взяли верх над отцовскими чувствами.

— Варвар! — провозгласили опекуны Карамоко.

В течение десятков лет Судан был беден, население жило в нужде, единственной ценностью страны, хотя и сомнительной, были люди. Самори, который нуждался в деньгах для закупки современного оружия, чтобы не сдать на милость европейцев, был вынужден стать последним крупнейшим в Африке охотником за рабами. Трагическая, самоубийственная необходимость. Он опустошал Судан, хватал невольников, продавал их фульбе, арабам и либерийцам, а взамен приобретал оружие.

Правитель государства Кенедугу в страхе перед агрессией Самори попросил французов установить над его страной протекторат, на что те поспешно согласились. Это было нарушением мира, заключенного с Самори: Кенедугу лежало на юг от Нигера. Самори, чувствуя свою силу, переправился через Нигер, вторгся на французскую территорию и перенес войну на запад.

— Возмутитель спокойствия! — воскликнули французские полковники, довольные, что зверь сам идет в расставленную для него ловушку. Французы по-прежнему обладали лучшим оружием, полевой артиллерией, а кроме того, были отлично подготовлены. Но, несмотря на то что они не щадили сил, цели они не достигли. Самори, как хитрая лиса, ускользал из всех

их ловушек — это было для них непостижимо. Он успешно переправился через Нигер и двинулся на север, чтобы убедиться, что и здесь его ждут. У него осталась единственная возможность — повернуть на юго-восток, к Берегу Слоновой Кости. Там, поблизости от тропических дебрей, он разбил укрепленный лагерь.

Лишь годы спустя выяснилась тайна неуловимости Самори в этой кампании: у него была бесценная разведка. Во все полевые кухни, в которых питались французы, он заслал в качестве ординарцев своих шпионов. Он ловко использовал привычку французов неосмотрительно распускать язык за столом. Офицеры любили благодушно распространяться о своих приказах, а на следующий день, к своему удивлению, наносили удары по пустому месту.

Самори, хоть и вытесненный из Судана, не засел в своем лагере, как в мышиной норе, а высылал во всех направлениях отряды и допекал врага, как сто дьяволов. Когда важный торговый центр Конг, находящийся недалеко от его лагеря, вошел с французами в мирное соглашение, Самори приказал уничтожить весь город вместе с мечетями, а население истребить. Его отряды добирались до самого Золотого Берега, докучая также и англичанам.

В 1897 году Саранкегни Мори, один из сыновей Самори, ликвидировал целый отряд французов. Такого позора нельзя было вынести, и французское командование решило любой ценой раздавить нахала. Ввиду того что с севера и северо-запада двинулись значительные силы врага, Самори свернул лагерь и, чтобы быть ближе к границе Либерии, откуда он получал оружие, углубился в тропическую чащу, держа путь через дебри на запад.

С ним было еще несколько тысяч воинов и около ста двадцати тысяч мирного населения, потому что, опасаясь мести французов, он вел за собой все свое племя. Перенаселенный лагерь в последние месяцы уже страдал от недостатка продуктов, а когда Самори углубился в чащу, голод стал настоящим бедствием. Люди не держались на ногах от истощения и падали, чтобы уже никогда не подняться. Лагерь все медленнее продвигался к западу, оставляя за собой на каждом привале сотни умирающих призраков. За

несколько месяцев мучений Самори потерял больше половины людей, а живые двигались, как тени.

Утром 29 сентября 1898 года на поляну, где разбил лагерь Самори с остатками своего войска, выскочили из чащи двадцать вооруженных людей — белый офицер, несколько унтеров и несколько сенегальцев. Беззвучно, как демоны, неслись они к шатру, минуя окаменевшие от неожиданности многочисленные группы воинов, — вождя они узнали по более богатой одежде. Самори опомнился первый и в панике побежал в сторону зарослей. Французы и сенегальцы бросились за ним, как гончие псы.

— Самори! Стой! Самори! — ревели они то и дело ему вслед.

Самори было шестьдесят лет, им — по двадцать с небольшим. Задохнувшись, он споткнулся и не успел подняться, как французский сержант настиг его и схватил за шиворот.

— Убей меня! — прохрипел Самори. — Убейте меня!

Подбежавший офицер приказал немедленно тащить Самори назад, в его шатер.

Все это произошло молниеносно, на глазах нескольких сотен воинов мандинго, пораженных страшным событием. Однако воины быстро опомнились и уже приготовились сокрушить до смешного ничтожную горстку нападающих, когда их остановили последующие события. Из чащи в образцовом порядке, строгими боевыми рядами, отбивая шаг, вышел отряд французских солдат, за ним — второй, третий, как бы передовые части крупных вооруженных сил, скрытых в гуще леса. В то же время из шатра донесся громкий голос Самори, который приказывал своим подчиненным отказаться от всякого сопротивления.

Французский офицер держал у его виска револьвер и угрожал, что застрелит, как крысу, если он не отдаст нужного приказания. Зато в награду за повиновение Самори была обещана жизнь. Указав на появившийся из зарослей отряд французских солдат, офицер убедил плененного вождя, что лагерь окружен.

Самори уже не хотел погибать, он жаждал жить. И в испуге исполнил приказание, а его потрясенные

воины подчинились. Пораженные происходящим, они были неспособны к бунту и покорно сдались.

Благодаря этой лихой, дерзкой выходке, увенчавшейся таким успехом, капитан Анри Гуро приобрел мировую славу, тот самый Анри Гуро, который много лет спустя в качестве командующего четвертой французской армией способствовал победе союзников в первой мировой войне. Эпизод в африканской глуши был тем более необычаен, что грозный Самори и около двадцати тысяч его воинов были взяты в плен капитаном Гуро, который стоял во главе... двухсот солдат.

Удивительная и безумная операция оказалась возможной только потому, что шатер Самори был разбит недалеко от зарослей и чаща скрывала до смешного ничтожные силы французов. Если бы воины Самори знали, сколько было французских солдат в действительности, они могли бы даже голыми руками с легкостью передавить их всех. Но они не знали. Чаща скрывала грозную тайну, и целый день мандинго послушно сносили свое оружие и помогали его уничтожать. А уничтожив, измученные и покорные, двинулись на север как пленники. За ними тащилось все их племя.

Когда несколько позже воины Самори сообразили, что пали жертвой столь жалкой горстки врагов, было уже слишком поздно: со всех сторон от французских застав спешно подходили подкрепления, чтобы сообщать конвоировать несметные толпы пленников.

Так разбились гордые планы мандинго, которые стремились возродить новое государство Мали. Их вождь, последний великий альмами доколониальной Африки, печально брел навстречу рабству. Он был последним серьезным препятствием на пути захватчиков. Победители никогда не простили ему этого. Они не только одержали над ним военную победу, не только сломили его физически, но и не пожалели труда, чтобы всячески унижить и беспощадно очернить его. Даже такой замечательный солдат, как Гуро, не мог удержаться от соблазна осрамить Самори. В своих записках этого времени капитан приводит случай, который якобы свидетельствует о жестокой бесчеловечности вождя мандинго.

В печальном шествии пленников на север были, как я уже упоминал, и остатки племени, а между ними—многочисленная семья Самори, его жены, дети и внуки. Среди жен была одна молодая и красивая, но неверная. Во время продолжительного похода ветренная красotka увлеклась красавцем Саранкегни Мори, сыном Самори, достойным победителем в не одной стычке с французами. Старый вождь, узнав об этом, пришел в безумную ярость, словно в этот момент у него не было на душе бóльших забот. Он попросил капитана Гуро, чтобы тот принял его для официальной беседы, и совершенно серьезно потребовал отсечь голову преступному сыну. Гуро, разумеется, отказал.

Несколькими месяцами позже в Каесе на реке Сенегал цивилизованные европейцы организовали демонстративный процесс над «африканским варварством». Самори, Саранкегни Мори и другие вожди были осуждены французским военным трибуналом на пожизненную ссылку на каком-то острове в Габоне. Куда конь с копытом, туда и рак с клешней: генерал Трентиньян, председатель военного суда, «защитник угнетенной Африки», счел необходимым еще раз унижить Самори перед всем миром:

— ...Больше двадцати лет он расправлялся с неграми, обращался с ними, как дикий зверь, он давно заслужил смертную казнь, но, поскольку отважные французы, которые взяли его в плен, обещали сохранить ему жизнь, мы осуждаем его лишь на ссылку...

В ссылке Самори прожил недолго.

Интересно, что в последующие годы именно семья Самори Туре служила французским колонизаторам классическим доказательством их успешной цивилизаторской миссии и огромной притягательной силы Франции. Род Туре, несомненно, был предприимчив, это был род воинов. Через несколько лет, когда страсти немного улеглись, многие сыновья Самори охотно вступали во французские войска, чтобы стать профессиональными солдатами и даже добиться золотых нашивок поручика. Шестеро из них погибли на фронте во время первой мировой войны.

— Отец,— кичились тогда многие поборники колониальной системы,— был упорным врагом Франции, а

его сыновья сложили головы на полях славы, защищая ту же Францию; французский колониализм оказался великим, добрым волшебником.

Но как в таком случае оценить позицию отважного Секу Туре, который так энергично стряхнул с себя чары волшебства?

НЗЕРЕКОРЕ

В Конокоро, в Сарае и в Даболе царил в это время года, в январе, знойная сушь. Воздух был настолько горячий и сухой, что пот не выделялся, а на руках и губах лопалась кожа. Я тосковал по влажной амазонской чаще, где, правда, обливаешься потом, зато не лопаются кожа. Такая же чаща была в Нзерекоре, на юго-востоке Гвинеи.

Я хотел прервать путешествие в Нзерекоре, остановившись на несколько дней в Канкане, первой столице вождя Самори. Однако город так неприветливо встретил меня, что, переночевав там одну ночь, я помчался дальше. Едва я вышел в Канкане из поезда, на меня, единственного белого человека на перроне, яростно, как на преступника, набросился полицейский и потребовал показать документы. Когда я сделал это, он приказал мне зарегистрироваться на следующее утро в комиссариате.

Я приехал в Канкан вечером и сразу приказал отвезти вещи в отель «Селект бар». Здесь, в ресторане, сидели только белые, много белых с претенциозно одетыми европейками. Все они выглядели как типичные авантюристы. Это были преимущественно французы, и пили они преимущественно шампанское. В то время как на вокзале распоряжались гвинейцы, здесь еще процветал старый режим. В этой части Гвинеи находились алмазные рудники, которые до сих пор оставались в руках белых, и подгулявшие дельцы сорили здесь деньгами и заливали вином свой страх перед близким концом.

Я оказался в каких-то чертовски фешенебельных джунглях, и, пожалуй, трудно было подобрать для них лучший символ, чем божок — покровитель воров.

Древнеафриканская деревянная скульптура этого божка стояла на территории отеля «Селект бар», и огромные зубы в широкой пасти символизировали его алчность. Когда на следующее утро я фотографировал божка, притаилась собака, которая жила при отеле, и улеглась тут же рядом. Ее поза выражала настороженное внимание, словно и правда она стерегла подозрительного типа. Может быть, этот пес был стражем общественного порядка?

Бармен, корсиканец, издали наблюдавший эту сцену, был охвачен необыкновенным энтузиазмом.

— *C'est magnifique!* * Мосье удалось сделать великолепный снимок: собака, стерегущая черных воров!

— Черных? — притворно удивился я.

Когда час спустя я канителился в комиссариате, регистрируя свое прибытие, то был уже сыт этим Канканом по горло, поэтому сразу же и выписался и двумя часами позже летел самолетом на юг в Нзерекоре.

Здесь, на аэродроме, меня уже приветствовал посыльный полицейского комиссариата, и, прежде чем он успел заполнить регистрационный бланк (грозный насмешник заполнял его подробно, даже с датой моего вступления в брак), спутники-французы давно уехали в отель и заняли все номера, а на мою долю досталось всю ночь испытывать свою волю на стульях. В отеле, как и следовало предполагать, меня снова ожидала процедура заполнения регистрационного бланка.

Нзерекоре — это, в сущности, влажные дебри во всем своем великолепии плюс резкие контрасты и сплошные чудеса. Здесь полно язычников-фетишистов из герзе и других племен. А поскольку местность влажная и прекрасно годится для выращивания высших сортов кофе, французы приказали аборигенам разводить кофе. Теперь здесь современные плантации, а люди буквально сидят на деньгах, имеют банковские счета и продолжают слепо верить в самых страшных лесных дьяволов, в демонов, которым время от времени нужны человеческие жертвы, и в священные леса.

* Это великолепно! (франц.).

Каждая более или менее крупная общность людей в делянках имела свой священный лес, обычно здесь же, поблизости от деревни. Сюда под страхом смерти не мог войти ни один непосвященный, в особенности женщины и дети. В этих лесах находились тайные школы молодежи, где юноши обучались реальным наукам и самой реальной в их понятии вещи — магии, где рождались тайные общества и вселяли ужас страшные маски духов и прорицателей. Эти заклинатели — зого — ночью часто перевоплощались в своем понимании в леопардов и крокодилов и поступали при этом с соответствующей жестокостью, а днем обычной работой на своих плантациях кофе впрягались в великий механизм производства мировой продукции. Поразительный парадокс!

Достопримечательность Нзерекоре — пруд у подножия холма, на котором стоял мой отель. Три гектара поэтически сонной воды, прелестные девушки, стирающие белье на песчаном берегу, где даже сейчас, в зимнее время порхают изумительные бабочки и растет кустарник.

Это был священный пруд жителей города, не совсем обычный: еще очень недавно, в колониальные времена, люди-крокодилы каждый год тайно топили в нем девушку.

Это делалось для благополучия города, как раз в том самом месте, где я сфотографировал сегодня улыбающуюся молодую прачку. Когда французскому коменданту наконец опостылел этот неприятный обряд, совершаемый прямо у него под носом, он пригрозил всему населению Нзерекоре самыми страшными карами, если ритуальные убийства в пруду не прекратятся. И население послушалось его: очередную девицу утопили не в пруду, а в ручье, который вытекал из пруда.

На следующий день по прибытии в Нзерекоре, движимый чувством страха или, наоборот, в порыве самоотверженности, я решил, что не стоит обходить логово льва.

И вот с министерским разрешением на фотографирование я отправился прямо к комиссару полиции и спросил его, могу ли я фотографировать здесь все, что захочу. Нзерекорский лев был в восторге от

моего визита и воодушевленно ответил, что я могу фотографировать все, за исключением военных казарм и их окрестностей (казармы были построены французами по соседству с моим отелем), далее — резиденции районных властей и властей окружных, а также жилой резиденции коменданта, ну и, разумеется, за исключением каких-либо публичных торжеств государственно-административного характера, если таковые будут происходить в это время.

— И что еще запрещается? — тревожно спросил я.

— Пожалуй, больше ничего! Кроме этого, мосье может все фотографировать, все! — заключил комиссар с широкой улыбкой. Я вежливо поблагодарил его. Мораль ясна: не обходить логова льва.

Несомненно, самой интересной личностью и достопримечательностью Нзерекоре был датчанин Ольсен. Много лет назад он приехал сюда с женой, способной писательницей и автором интересной книги об их путешествии по Либерии. Однако Ольсен заболел в Африке «любвиной лихорадкой» — его влекло разнообразие оттенков кожи, поэтому его жена вернулась в Данию одна, а он, уже навсегда, остался в Нзерекоре. Страстный природовед, Ольсен собирал необычных насекомых, отличающихся своеобразной формой или величиной, закупоривал их в коробочки со стеклом и сбывал белым чиновникам, недурно на этом зарабатывая.

Помимо всего, Ольсен был обаятельный человек, редкий теперь тип цивилизованного цыгана, полиглот, знающий французский, английский, немецкий языки, и блестящий знаток не только семейств бабочек, но и здешних племен. Он знал, в каких деревнях еще верят в дьявола и где можно увидеть интересные обряды и пережить захватывающие приключения. Я охотно взял бы его в путешествие, но у него не было времени, так как он жил в нужде. Поэтому мне оставалось лишь приглашать его в отель на ужин и божественные беседы.

В двенадцати километрах к востоку от Нзерекоре находилась деревня Карана, населенная людьми племени манго. Деревня славилась своими акробатическими танцами в исполнении молоденьких танцовщиц

и мощных атлетов: сильный мужчина подбрасывал девочку высоко в воздух и готовился принять ее на острия ножей, которые держал в обеих руках. Падающая девушка, казалось, неизбежно должна была напороться на острия ножей, но в самый последний момент мужчина в мгновение ока чуть-чуть подавал ножи вперед и подхватывал ее на предплечье, в сантиметре от ножей и на волосок от смерти.

По каким-то мотивам ритуального характера такая девушка, кажется, была заранее обречена на смерть, предназначалась в жертву духам, о чем, однако, ни она, ни ее родители не знали до самого момента жертвоприношения.

Год назад Ольсен привез в Карану двоих приезжих австрийцев, и жители деревни за три тысячи фунтов устроили танец с ножами. Австрийцы были так потрясены, что назвали это зрелище самым поразительным в своей жизни. Ольсен показал мне несколько фотографий упомянутой акробатики с ножами: они и вправду выглядели жутко.

— Если вам пригодятся эти фотографии, я могу уступить, — сказал он.

— Нет, спасибо. Я сам поеду в Карану.

— О, это самое лучшее!

Я поехал туда на автобусе в обществе юноши Фассу, который был боем Ольсена. Но, когда мы приехали в деревню, оказалось, что с прошлого года многое изменилось: Гвинея меняется молниеносно. В деревне был новый староста, существовал местный комитет партии, жители сначала было согласились показать танец с ножами — три тысячи франков не шутка! — но потом категорически отказались, так что из нашей затеи ничего не вышло. Еще до полудня мы возвратились в город, расстроенные, разочарованные. Фассу был явно огорчен: у него из-под носа ускользнул обещанный бакшиш.

— Надо будет зайти за фотографиями Ольсена, — буркнул я.

Но Фассу, неутомимый комбинатор, уже строил новые планы, и, едва автобус достиг Нзерекоре, он открылся мне: в деревне Кунала по дороге в Масенту за небольшую плату можно было увидеть и сфотографировать настоящего лесного дьявола. Он, Фассу, знал

это навверное, так как сам жил невдалеке от этой деревни. Если он сейчас поедет туда на велосипеде и договорится с дьяволом на завтра, то дьявол нас не поведет.

— А в Кунале есть партийный комитет? — меланхолически спросил я.

— Есть, но он нам не помешает! — убеждал Фассу с такой горячей верой, что и меня охватила надежда.

— Дьявольское дело... — заколебался я. — Я спрошу господина Ольсена, что он об этом думает.

Ольсен думал, что ехать стоит, и Фассу мигом укатил на велосипеде. К вечеру он вернулся победителем.

— Будет дьявол!

ТРИУМФАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ

Как всякий мудрый поляк, я, обжегшись в Каране на молоке, старательно дул на воду и, как только усердный Фассу уехал в Куналу, отправился к коменданту округа и очень решительно и еще более вежливо попросил секретаря организовать мне не терпящую отлагательства беседу с начальником. Я просил решительно потому, что до сих пор местный глава и хозяин жизни, а может быть, и смерти, чуя носом, что хлопот со мной будет много, не допускал меня до своей особы.

Но на этот раз допустил. У коменданта было предписание центральных властей в Конакри оказывать мне помощь, а кроме того, он уже знал о моей самовольной поездке в Карану и о намерении встретиться завтра с лесным дьяволом в Кунале. Пройдоха Фассу, возможно, не так уж преувеличивал, вознося до небес влияние этого дьявола: комендант, вместо того чтобы поднять меня на смех, как я ожидал, отнесся к этому мероприятию совсем по-деловому и как будто серьезно. Он понял, что в Куналу я поеду любой ценой, и поэтому хотел, чтобы я поехал туда под присмотром властей. Он обещал дать мне грузовичок и проводника и еще какого-то полуофициального ассистента для обеспечения безопасности. Я был очень обрадован всем этим.

На следующее утро я пунктуально прибыл к комендатуре округа строго в назначенное время. Остальные тоже оказались довольно пунктуальными — они опоздали лишь на час. Сопровождавший нас в качестве моего личного адъютанта Фассу явился при параде: к шортам цвета хаки он надел длинные, белые, шерстяные, нарядные гольфы, какие носили только отчаянные франты из европейцев. Своими гольфами он уложил всех нас на обе лопатки.

Моим проводником был упитанный, охотно улыбающийся господин с веселым лицом, директор школы в Нзерекоре, Жан Гоззага. Он был герзе, родом как раз из Куналы, один из немногочисленных представителей этого племени, которые пошли по пути европейского просвещения, — правда, дорога не была очень длинной и широкой, но все-таки вывела его из дикой чащи. Я опасался, что мои спутники окажутся скучными ворчунами, которых обяжали отбыть неприятную службу. Ничего подобного — какая неожиданность! Они ехали бодро, как на массовку, готовые повеселиться. В машине царила веселая, дружеская атмосфера. Всем было любопытно, как нас встретят в деревне.

— Куналу известили о нашем приезде? — спросил я.

— Ну конечно! — улыбнулся Гоззага. — И не только Куналу, но и старост других деревень на нашем пути — тоже.

— Там, может быть, приготовлены флаги и речи? — съязвил я.

— Не знаю. Но не исключено, что будут и флаги, и речи, и песни, и барабаны...

— И танцы обнаженных девушек и юношей! — продолжал я в том же тоне.

— Ой, нет, это нет, это нет! — посерьезнел Гоззага, словно я коснулся больного места. — Обнаженных девушек не будет. Этого уже нельзя показывать, особенно, — он лукаво взглянул на меня, — уважаемым гостям из Европы!

— Почему это? — я засмеялся, но почувствовал себя задетым. — Я видел в Конакри замечательную книгу о Западной Африке «Люди танца» — «Les hommes de danse», она издана в 1954 году и полна снимков прекрасных нагих танцовщиц...

— Ее издали, наверное, наши враги!

— Может быть, и враги,— заметил я не без ехидства,— но ваш министр Кейта Фодеба написал к ней восторженное предисловие...

Гоззага на минуту умолк, как видно, задумавшись над тем, сколь несовершенно наше представление о человеческих ценностях. Примолк и я, какой-то назойливый бесенок грустно шептал мне на ухо:

— Adieu, лесные дьяволы! Пока, осколки старой Африки! Привет, старье, обреченное на смерть!

Я украдкой взглянул на Фассу, который слышал весь разговор, но по выражению его лица понял, что он истово верил и надеялся. Своей мимикой он как будто заверял меня в том, что дьявол будет, что он еще жив, что эти тут знают свое, а лес — свое...

Сразу за последними хижинами Нзереборе начался густой влажный лес, который уже ничем больше не прерывался. Природа тотчас взяла самый высокий тон: нас окружало такое же насыщенное испарениями буйное царство зелени, как на Амазонке, как в устье Ориноко или на восточном берегу Мадагаскара.

После десяти или более километров езды по сносной дороге чаща впереди нас поредела, мы приближались к деревне с многочисленным населением. Отличная церковь среди хижин сразу бросалась в глаза, но здесь же, на опушке, приковывало внимание кое-что более интересное — вход в священный лес. Вдоль дороги на протяжении нескольких десятков метров поднималась сплетенная из сухой травы стена, высотой метра в два. Входа не было видно. Вероятно, ритуал предписывал укрывать его от взглядов непосвященных, хотя сам факт существования травяной стены свидетельствовал о том, что вход в священный лес был именно где-то здесь.

Языческое святилище занимало в чаще примерно три километра в длину и столько же в ширину. Оно было не только школой, где готовили юношей для посвящения в жизнь племени, и не только оплотом тайных союзов и своего рода святыней, но также и мозгом племени. Здесь обсуждались все важнейшие проблемы жизни вообще и проблемы жизни близлежащей деревни в частности.

Священный лес был прежде всего опорой реакции.

С неслыханным упорством, с фанатической яростью он защищал все старое, все, чем жили предки. Лес был окружен таинственностью, здесь процветали мистика, магия и колдовство. Он ограждал свое племя от влияния чуждого мира всеми средствами, какими только мог: духи, демоны, фетиши, танцы, чудовищные маски, тайные ритуальные убийства — все служило одной цели. Отсталость и сопротивление языческих племен новым веяниям объяснялись главным образом властью священного леса над африканцами.

Я приказал остановить машину, и мы с Гоззагой вышли на дорогу. Мы остановились перед травяной стеной на расстоянии примерно десяти шагов от нее, чтобы не нарушить какого-нибудь запрета. Здесь царил полная тишина и неподвижность, ничто не свидетельствовало о близком присутствии людей. Стена была в отличном состоянии, видимо, ее совсем недавно сплели. Было заметно, что о ней постоянно заботятся и почитают как святыню.

— Раньше люди верили, что мальчиков, которые уходят на несколько лет в священный лес для посвящения, проглатывает какой-нибудь дух или лесной дьявол, а потом снова выплевывает и отпускает. Это поверье сохранилось? — спросил я Гоззагу.

— Сохранилось, а как же! — оживленно ответил мой спутник. Но сразу же, словно смутившись, счел нужным пояснить:

— Я — католик!

Я посмотрел на виднеющуюся неподалеку церковь.

— А это что? — спросил я.

— Хорошая церковь! — засмеялся Гоззага. — Богатейшая, каменная, величественная, доблестная, стойкая...

— Так что же здесь сильнее — церковь или священный лес?

— Конечно, священный лес.

— Значит, церковь проигрывает?

— Пока проигрывает. Она хотела с налета, силой овладеть душами наших язычников, но люди из священного леса оказались более ловкими.

Гоззага, католик, но все-таки герзе, не мог не обнаружить своего удовольствия.

Фассу увековечил Гоззагу и меня на фоне травя-

ной стены, и мы двинулись дальше. Теперь, когда я узнал о том, какую роль продолжали играть священные леса у герзе, во мне вновь ожила надежда увидеть лесного дьявола в Кунале, хотя я ни на минуту не забывал о всевластной правительственной партии в Гвинее. Партия была грозным противником обскурантизма, более грозным, чем католическая церковь со своим непрошеным вмешательством. Мои непрерывные сомнения — будет дьявол или не будет? — были очень смешны.

Проехав еще несколько километров, мы увидели у дороги, в тени гигантских деревьев шеренгу мужчин (их было около двадцати) с ружьями в руках. Когда мы подъехали, они подняли ружья и начали торжественно палить, приветствуя меня. Машина уже оставалась. Выскочив на землю, как из пращи, я во всю глотку крикнул стреляющим:

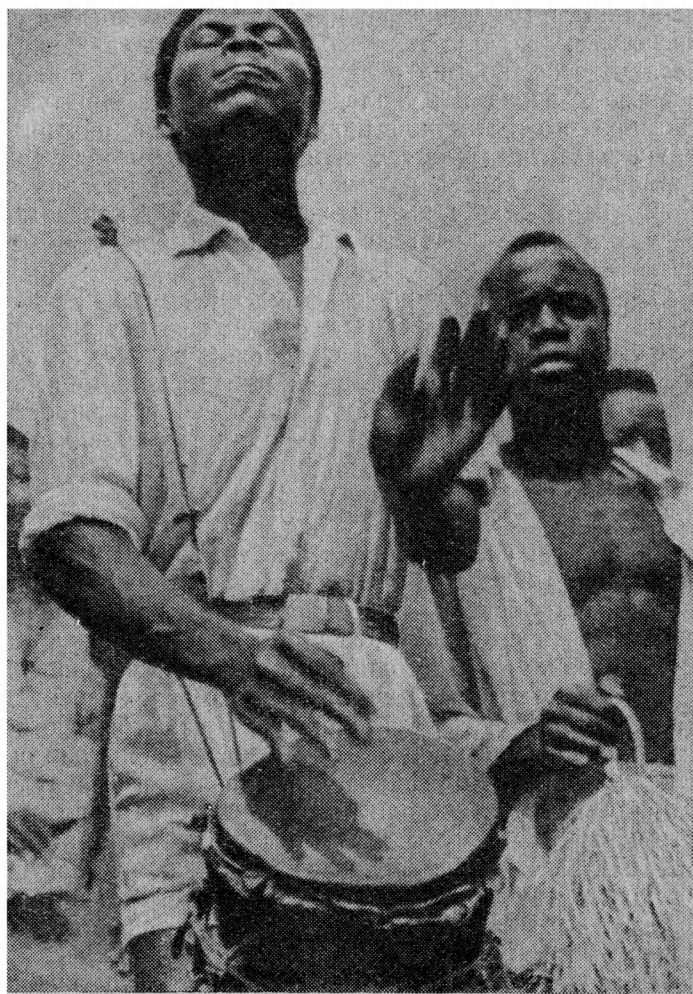
— Подождите! Не стреляйте!

И сразу же устыдился своей бестактности: мой голос оказался сильнее, чем их жалкая, хоть и поднятая из добрых чувств пальба.

Они остолбенели от неожиданной выходки почетного гостя и со страху перестали палить, но, когда я подлетел к ним с фотоаппаратом в руках и попросил, чтобы они открыли огонь по моей команде, просияли. Те, у которых еще были заряжены ружья, быстро построились передо мной в ряд. По моему знаку они выстрелили, я сфотографировал их, после чего всунул в лапищу первому стрелку сто франков, второму — пятьдесят, третьему и четвертому — по двадцать, а остальные не получили ничего. Остальными и были как раз самые усердные, которые без промедления шарахнули первыми, — такова уж несправедливость этой жизни!

Благодаря манифестантов, я заявил, что эхо их выстрелов долго будет звучать в моем сердце. Гоззага, переводя мои слова, сказал в пять раз больше. Затем мы отправились дальше.

Мы приближались к деревне Гуэла; вскоре нам снова пришлось выйти из машины. На этот раз меня приветствовала делегация женщин. Их было больше десяти, все празднично одетые и все солидные матроны. Они пели, двигаясь в ритме танца. Две из них,



...Барабанищик, высоко задрал голову, самозабвенно отбивал ритм...

которые пели громче всех, получили по сто франков (снова превратности судьбы).

В самой Гуэле все население деревни во главе со старостой высыпало на дорогу и приветствовало нас грохотом барабанов, стуком погремушек, радостными возгласами, жестами, выражающими желание танцевать. Среди собравшихся было много молодежи обоего пола. Некоторые красотки еще только заканчивали причесываться. Все одетые, ни одного голого. Староста Мориба Уабиу Нуга, герзе огромного роста, был тут каким-то гвинейским Радзивиллом. Его отец основал деревню, таким образом, Мориба получил от него в наследство людей, сан и деревню и жил под боком у комитета партии, как удельный князек. Он пригласил нас на пальмовое вино, и мы обещали зайти на обратном пути.

В веселой толпе бросался в глаза страстный музыкант, барабанщик, который, высоко задрав голову, самозабвенно отбивал ритм, ничего не видя вокруг. Он так и просился на пленку. Получив сотню франков за сеанс, он так обрадовался, что тотчас пришел в себя и сделался совершенно неинтересен.

Жители деревни Гуэла искренне веселились, не смотря на то что это был спектакль, организованный по желанию начальства. Когда мы уехали из чудесной деревни, у меня почти не осталось сомнений относительно лесного дьявола. Акции этой нечистой силы скакали то вверх, то вниз, как бумаги на бирже во время самого ужасного кризиса. Меня угнетало сознание того, что при такой тщательной режиссуре из программы деревни Кунала будут исключены все дьявольские номера.

БУДЕТ!

К моему удивлению, Кунала, деревня богатая и многолюдная, не встречала нас ни отрядами стрелков, ни делегациями матрон, ни даже звуками барабана. Когда мы оказались среди первых хижин, вокруг стояла почти пугающая тишина. Даже Жан Гозага ощутил легкое беспокойство.

Мы остановились на обширной площади посреди деревни, перед одной из наиболее крупных хижин, из которой тотчас вышел староста деревни Кунала, Теодор Марибо, мужчина лет сорока, из племени герзе. Он тепло приветствовал нас и пригласил в большое помещение для гостей, где стояли кабинетные кресла — наследство, оставшееся от какого-то француза.

Все объяснилось: вчера Кунала была извещена о моем намерении посетить ее сегодня, но час приезда не был указан. Деревня находится в состоянии готовности, сию секунду все соберутся и окажут мне достойный прием.

— Что же интересного вы мне покажете? — умильно улыбнулся я хозяину.

— Будет весь актив деревни, — ответил Марибо с нескрываемой гордостью.

— Актив?

— Да, будут члены партии, союз молодежи и женский союз.

— Но ради бога! — воскликнул я, воздевая руки в знак протеста. — Я же не какой-нибудь сановник!

— Зато европейский писатель! — польстил мне шеф.

— А это значительно больше, чем какой-нибудь сановник! — добавил Гоззага, желая показать, что и он кое-что смыслит в этом деле.

— Вы необыкновенно любезные хозяева, — дружески изливался я, — но мне жаль, что я доставляю вам столько беспокойства. Так скажите же мне, что я здесь увижу? — заходил я и так и этак.

— Наш прогресс! — ответил Марибо коротко и ясно.

Не подлежало сомнению, что старосты деревень Гуэла и Кунала получили из комендатуры округа определенные и ясные указания, что делать. Это была официальная линия. Мой адъютант, пройдоха Фассу, по необходимости избрал другой путь, неофициальный и, по существу, нелегальный. Я слушал двух ревностных чиновников, которые дали мне возможность глубоко прочувствовать влияние правящей партии в этих краях, а образ лесного дьявола съезжился в моем воображении, печально таял, пока наконец не

превратился, как в классических произведениях искусства, в легкий дымок и не исчез.

Тогда в дверях появился Фассу и сделал мне знак, чтобы я вышел на улицу.

— Дьявол будет! — произнес он с интонацией ловкого импресарио.

— Как? — ошеломлен я. — Будет? Правда будет? Когда?

— Сейчас! Может быть, через четверть часа!

— Где он? Прячется в лесу?

— Не в лесу!

— В какой-нибудь хижине на окраине деревни?

— Нет, нет! — решительно уверял меня Фассу. — Здесь, на площади, посреди деревни. Он придет сюда и будет танцевать! Только надо сколько-нибудь заплатить!

— Разумеется! Я заплачу!.. Но, Фассу, — я еще не верил, — это будет дьявол в настоящей маске?

— В самой настоящей! Никакого жульничества!..

Фассу, радуясь тому, что все так хорошо складывается, опять побежал к своим, а я вернулся в хижину.

— Радостное известие, господа! — торжественно, с удовольствием провозгласил я. — Я увижу здесь танец лесного дьявола!

Я опасался, что это известие произведет на моих спутников неприятное впечатление. Однако этого не произошло, они приняли весть весьма спокойно. Гоззага был немного удивлен; вероятно, слухи о закулисных действиях Фассу в Нзерекоре до сих пор не достигли его ушей (а осведомленный о моих планах комендант округа ничего ему не сказал). Зато староста Марибо отозвался со снисходительной улыбкой:

— Европейцы это любят, для них это экзотика... Я знаю, знаю об этом. Мне доверительно сообщили вчера, что они хотят показать этого своего дьявола. Его властители — это самые отсталые реакционеры, у нас с ними много забот...

— Властители дьявола?

— Да. Это темные люди, колдуны, заядлые защитники всего того, что пахнет суеверием. Они боятся, что почва уходит у них из-под ног. Они хотят удержать Африку на месте. А этот танцующий дьявол — их ма-

териальный символ, это как бы знамя их заговоров и махинаций.

— Но очень колоритное знамя! — заметил я.

— Верно, колоритное и древнее. Однако мы тоже покажем сегодня танцы, песни...

Я был недоволен собой. Эти два гвинейца отнесли ко мне с исключительным доброжелательством, честно, как к другу, а чем я плачу им? За их спиной я вступаю в сговор с их врагом, с темной реакцией.

— Я предлагаю, — заявил я, — отменить весь спектакль с лесным дьяволом. Я не хочу его видеть.

Они приняли мои слова с благодарностью, это было видно по их лицам, но ничего не ответили. Они взглянули друг на друга, как бы советуясь, а через мгновение Марибо произнес с неопределенной улыбкой:

— Нет, пусть лучше дьявол покажется!

«Может быть, и они боятся дьявола, — подумал я. — А если не самого дьявола, то людей, стоящих за ним? Разве силы реакции были здесь настолько значительны, что с ними надо было в такой мере считаться?» События, которые вскоре разыгрались на площади Куналы, частично подтвердили мои догадки.

ТОРГОВЛЯ

Так как мне надоело ждать в хижине, я спросил старосту Марибо, нельзя ли мне прогуляться по деревне. Разумеется, он ничего не имел против. Поэтому я вышел на улицу, а наш шофер — приятный и предупредительный молодой человек — присоединился ко мне. Я нигде не мог доискаться непоседливого Фассу.

Площадь уже не была так пуста, как раньше. Здесь и там небольшими группами собирались люди, как это обычно бывает перед большими торжествами. На боковых улицах также царил оживление: видимо, приближалось время манифестации. Жители Куналы занимались разведением кофе, отсюда известный общий недостаток. По мере удаления от центральной пло-

щади я все чаще видел кофе, которое сушили на солнце. Зерна лежали прямо на земле между хижинами.

Мы уже почти достигли окраины деревни, когда наше внимание привлекло необычное движение впереди: собравшаяся детвора, крича, в панике бросилась бежать в нашу сторону, так, словно со стороны леса приближалась опасность. Минуту спустя мы увидели то, что было причиной их страха, — лесного дьявола.

Под одеждой и маской не было видно человека. Маска черная, деревянная, с узкими щелями для глаз, вокруг которых — гротескные белые ресницы. Над маской торчал плюмаж из длинной белой шерсти, наверняка обезьяней. Ноги скрывал широкий кринолин из сухой травы, а верхнюю часть тела, до самой маски, — нечто вроде просторной темной пелерины, охваченной на уровне шеи ожерельем из мелких ракушек каури. Страшилище и вправду выглядело довольно внушительно, даже жутковато. Следом за ним шел нормально одетый мужчина со слоновьим хвостом или чем-то похожим в руках. Этой метелкой он размахивал в воздухе вокруг дьявола, как бы отгоняя что-то, наверное враждебных духов.

Раньше такой дьявол обычно появлялся в деревне ночью в качестве вестника тайного союза, и страх перед ним был небезоснователен. Демон жестоко избивал попадавших к нему людей — особенно доставалось женщинам и детям, — и не раз предвещал он смерть облюбванной тайным союзом жертве. Дети, которые в страхе бросились бежать от дьявола в Кунале, не притворялись: страх — естественное наследство старых времен — был у них в крови.

Дьявол бегом миновал нас в нескольких десятках шагов, и, хотя он был далековато, я все-таки сфотографировал его. Он колесил только по боковым улицам, не сворачивая на главную площадь, появлялся то тут, то там и снова пропадал из виду, чтобы через мгновение промчатся с другой стороны, сея смятение среди детей. Потом он словно сквозь землю провалился.

В этот момент я увидел Фассу, который спешил ко мне. За ним шли трое немолодых мужчин, не скрывавших своего недовольства. Я как раз сидел на пороге



...В своем великолепном просторном бубу Марибо выглядел, как феникс, как орел, как павлин, как зебра в бело-голубую полоску...

одной из хижин и перекручивал пленку в аппарате. Фассу был взволнован, как и те трое, и, подойдя ко мне, раздраженно выкрикнул:

— Ты видел лесного дьявола?

В возбуждении он говорил мне «ты».

— Видел! — ответил я, сбитый с толку его неожиданной горячностью и враждебным блеском глаз тех троих.

— Они обвиняют тебя в том, что ты фотографировал дьявола без их согласия!

— А что это за противные типы, эти трое?

— Это властители дьявола! Не смей говорить о них плохо!

— А почему они так на меня уставились?

— Потому что ты фотографировал дьявола без их согласия!

Как видно, трое старых неудачников считали меня преступником и обманщиком, так как я осмелился фотографировать их дьявола, предварительно не заплатив. Вот они и куражились и корчили рожи передо мной, точно их муха укусила. Тем временем я, сохраняя полное спокойствие, заряжал фотоаппарат и, лишь кончив, с угрозой поднял глаза на Фассу и троих чудаков.

— Что им от меня надо, сто тысяч чертей?! — крикнул я. — У меня голова болит от их визга!

— Они хотят, чтобы ты заплатил!

— Заплачу, если смогу сделать хорошие снимки дьявола. Сколько они хотят?

— Они говорят: пять тысяч франков.

В соответствии с принятым обычаем я должен был немедленно впасть в бешенство, потерять самообладание, вскочить как ошпаренный и вопить. Но было около одиннадцати часов, небо источало жестокий зной, мне еще предстоял утомительный день, так что я не завопил. Напротив, я проворчал вполне мирно:

— Скажи им, Фассу, что они спятили! Скажи этим сумасшедшим, что кое-где в Гвинее я видел значительно лучшие и более страшные маски, чем эта игрушка для наивных детей. Скажи беднякам, что тюрьмы в Конакри еще не переполнены.

Они поинтересовались, сколько бы я дал.

— Пятьсот франков и ни сантима больше,— сообщил я.

Тут их охватил приступ безумия, вернее, они отлично разыграли сцену бешенства. Один из них начал осыпать меня проклятиями и, чтобы придать им большую силу, стал отбивать такт на небольшом барабанчике. Тем временем двое его приятелей потихоньку поносили меня и пронизывали убийственными взглядами, от которых при других обстоятельствах у меня, наверное, побежали бы мурашки по коже.

Через некоторое время они исчерпали свой репертуар, заклинания не оказали должного действия. Поднимаясь с места, я пригласил их на главную площадь посмотреть танцы и песни, организованные старостой Марибо. Они поняли, что я не обмякну и не уступлю.

— Ну, давай пятьсот франков! — вдруг покорно согласились они.— За один час!

— И дьявол целый час будет танцевать? — спросил я для верности.

— Будет танцевать...

Так я купил гвинейского дьявола за пятьсот франков. Когда властители дьявола уходили, Фассу признался мне:

— Дьявол все равно танцевал бы, даже без ваших денег!

— Что ты болтаешь!

— Он будет танцевать назло Марибо...

ДЬЯВОЛ

В это время с главной площади донеслись все учащающиеся удары барабана, и причем не одного, а нескольких сразу. Каждый отбивал свой ритм. Одновременно несколько групп запели на разные лады. На площади мы увидели массу людей. Не оставалось сомнений, что здесь собралось все население Куналы, люди выстроились вдоль всех четырех сторон площади, как на военном параде, оставляя середину сравнительно свободной.



...Женщины чуть-чуть напевали — кокетливо, несмело, с растерянными улыбками...

Ту сторону площади, которая примыкала к хижине главы деревни и считалась наиболее почетной, занимали несколько десятков членов партии. Они стояли с достойным видом, построившись в длинную шеренгу, над которой величественно развевалось трехцветное знамя Гвинеи. На шумной площади лишь они были сплоченным, исполненным ощущения власти монолитом. Среди этих празднично одетых людей поистине царским одеянием выделялся Марибо. В своем великолепном просторном бубу, называемом здесь гбауи, он выглядел, как феникс, как орел, как павлин, как зебра в бело-голубую полосу.

Сбоку, справа от членов партии, стоял союз женщин. Ярко одетые женщины делали какие-то невыразительные, неопределенные танцевальные движения: они слегка притоптывали, жестикулировали, чуть-чуть напевали — все это кокетливо, несмело, с растерянными улыбками.

Представители Союза молодежи стояли по другую сторону от партийной шеренги, застыв, как в почетном карауле. Эти не могли придумать, как представить себя соответствующим образом. Девушки из союза несколько раз начинали петь, но их голоса трепетали мгновение, как раненые птицы, и тотчас грустно умолкали. Зато юноши всю свою энергию вкладывали в игру на барабанах. Отбивая ритм, изо всех сил действуя пальцами, молодые люди пытались заглушить посторонние звуки, бросая гневные и настоженные взгляды в ту сторону, откуда доносились враждебные мотивы.

По ту сторону четырехугольника кипела бурная жизнь. Там царило веселье, было шумно, разгорались страсти, раздавались задорные песни и топот ног. Там хозяйничала оппозиция и реакция, хорохорились сторонники лесного дьявола, важничали почитатели старых обрядов и суеверий. Там было болеелюдно, чем где-либо, а женщины, так же ярко одетые, как и представительницы союза, танцевали более оживленно, кричали громче, даже в барабаны, казалось, били усерднее.

Когда дьявол трусцой выбежал на площадь, барабаны его друзей приветствовали его безумным ритмом, однако и союз молодежи стяхнул наконец с себя

сонливость и выразил свой протест громовым пением. Надрывались главным образом юноши.

Дьявол между тем вел себя нахально и, пробегая мимо членов партии, демонстративно поворачивался к ним спиной. Он подбежал к нашему грузовику, бросил в его сторону заклинание и вернулся на середину площади.

Я был поражен его выносливостью. Под маской, в такой одежде парню должно было быть страшно жарко. Тем не менее он носился без усталости, кружился, словно в танце, а проходя мимо меня, смешно вертел головой, как опытная кокетка. Потом мы вместе сфотографировались.

— Эй, браток! — весело обратился я к нему. — Не хватит дурака валять?

Неожиданно оказалось, что хватит: дьявол так устал, что был вынужден сесть на землю, чтобы отдохнуть. От его грозного вида почти ничего не осталось.

Как только дьявол уморился, у его пособников как-то сразу пропал весь задор. Их самоуверенность точно испарилась, а веселье, которое царило здесь до сих пор, как бы перешло на сторону противника. Из-за шеренги членов партии на середину площади внезапно выскочили два танцора. На них были сплетенные из сухой травы юбочки, в руках они держали палки. Подпрыгивая в танце, они начали лупить палками по земле там, где только что откалывал свои номера лесной дьявол. Все понимали, что так они изгоняют нечистую силу.

Тут зашевелился и союз молодежи. Барабаны перешли на другой ритм, и тотчас люди образовали танцевальный круг, такой типичный для африканцев. Танцующие двигались по кругу медленно, один за другим, все в одном направлении, делая маленькие шажки в такт музыки. Вскоре круг увеличился до нескольких десятков танцоров и танцовщиц. Это было классическое африканское зрелище. В памяти всплывали многочисленные иллюстрации, виденные в книгах, и кадры из фильмов. Отличие было только в одежде. Здесь, в Кунале, в соответствии с пуританскими устремлениями молодой республики все тщательно прикрыли тела одеждами, чтобы, не дай бог, не видне-

лась грудь или кусочек тела не выглянул на свет божий, тогда как на этих недавних снимках и в фильмах в кругу танцевали только обнаженные люди, а нагие женщины были изображены и в памятной книге с предисловием министра Кейты Фодобы.

Хоровод союза молодежи вдохновил его противников на новые усилия. Лесной дьявол поднялся с земли и снова начал метаться по площади, повторяя свою программу. Женщины из его лагеря снова распались и танцевали как одержимые, пели что было мочи, лезли вон из кожи, а рядом с ними неистовствовали обезумевшие барабаны. Буря безудержной страсти разразилась над площадью. Но что это? Лучшая организация взяла верх. Все сейчас лило воду на мельницу руководства; незыблемый круг танцующих все рос и ширился, становился более плотным; на фоне всеобщего неистовства явно выигрывали приверженцы нового, а не их противники.

Тем временем матроны из союза женщин так разохотились, что образовали свой круг, закружившийся дьяволу на погибель. Одну наиболее ретивую даму из их числа охватило особое вдохновение. Она стянула с себя блузку и одна на всей площади плясала с обнаженной грудью. У нее были обвисшие груди многодетной матери. Танцуя, она движениями рук хвастливо показывала мне, что они будут еще длиннее, и заверяла в своей песне, как мне объяснили позже, что родит для родины еще не одного сына. В ней было что-то трогательное и патетическое.

Вот так на площади в Кунале разыгрывались странные события. Здесь я собственными глазами увидел, какое необычайно важное значение для африканцев имеет танец. Танец вошел в их быт как основная форма самовыражения, и кто знает, не является ли он таким же средством общения, как и язык. В движениях тела люди проявляли свой гнев, доказывали свою правоту, вели борьбу.

А борьба была не пустяковая: две силы — реакция и прогресс, Африка старая и Африка новая — столкнулись друг с другом. Одни стремились сохранить старину и остановиться на месте, другие хотели двигаться вперед. И вот металась тела, огнем горели глаза, гремели песни. Жители Куналы танцевали, брани-

лись и кричали, ссорились, насмехались друг над другом, давая выход своим страстям, желаниям, обидам.

Только одна группа не принимала участия в общей суматохе, хотя внимательно наблюдала за всем, что происходило вокруг. Это члены партии. Они продолжали стоять в строю, дисциплинированные, сдержанные, верящие в победу. Если не для себя, то для своих сыновей. Мальчуганы выстроились впереди старших и жадными глазами следили за столкновением на площади. Это было столкновение двух Африк.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Предисловие	3
Лоцманы	12
Ниспровержение	15
Конакри	18
«Отель де Франс»	21
Гвинейцы	25
Гвинейки	28
Дороговизна	34
Победа	37
Прорезаются зубы	39
Бабочки	43
Магия	48
Торговцы	52
Французы	57
Помощь	61
Эскапизм	66
Сабли	71
Птица	76
Гриот	80
Безопасно	86
Павианы	88
Благородство	93
Сераль	98
Produce of Poland	103
Все течет, все изменяется	108
Невежа	110
Хижина	115
Племя кониаги	118
Несокрушимые	124
Деревня-крепость	129
Дисциплина	133
Автомотриса	137
Шимпанзе	143
Шаво	147
Таити	153
Орел-скоморох	158
Мандинго	161
Страх	167
Томек	171

Птица-носорог	176
Ошибка	180
Омар	183
Карабин	187
Капсюльное ружье	189
Нигер	194
Правопорядок	198
Заговорщики	205
Духи	211
Иуда	213
Чудовища	218
Слоны	223
Туманя	228
Самори	231
Нзерекоре	238
Триумфальное шествие	243
БудетI	249
Торговля	252
Дьявол	256

Аркадий Фидлер
НОВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ: ГВИНЕЯ

*Утверждено к печати
Секцией восточной литературы РИСО
Академии наук СССР*

*

Редакторы *Н. Н. Водинская, Н. Я. Северина*
Художник *А. П. Плахов*
Художественный редактор *И. Р. Бескин*
Технический редактор *Л. Ш. Береславская*
Корректор *Р. П. Ошоват*

*

Сдано в набор 26/IV 1968 г.
Подписано к печати 25/X 1968 г.
Формат 84 × 108¹/₃₂. Бум. № 1
Печ. л. 8,25. Усл. п. л. 13,86
Уч.-изд. л. 13,14. Тираж 50 000 экз.
Изд. № 1837. Зак. № 1513
Цена 70 коп.

*

Главная редакция восточной литературы
издательства «Наука»
Москва, Центр, Армянский пер., 2

Типография «Красный пролетарий»
Москва, Краснопролетарская, 16

Сканирование - *Беспалов, Николаева*
DjVu-кодирование - *Беспалов*



70 коп. 1365/21-88

068



А. ФИДЛЕР



НОВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ:
Г В И Н Е Я

